

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2024

№ 78

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Дериглазова Л.В.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор ист. наук, профессор. E-mail: dlarisa@inbox.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сигэт, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Днев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Deriglazova L.V.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviev A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Гущин И.А., Козырева О.А. Эпистемологическая интерпретация установок <i>de se</i>	5
---	---

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Берестов И.В. Редукция прохождения открытого интервала к прохождению замкнутых и её озадачивающие следствия (реплика на статью Е.В. Борисова)	15
Кочнев Р.Л. Смерть Эпикура и гильотина Юма	26
Целищева О.И. Неопрагматизм против эпистемологии: нужно ли было Канту ставить философию на безопасный путь науки	35
Alexandrov E. Beauty from Schopenhauer and Nishida to Plotinus and al-Farabi	46

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Ардашкин И.Б., Ардашкина А.И. К вопросу о дисциплинарном статусе и предметной области терминологии: социально-философские основания и социолингвистический подход	68
Овчинников А.В. «Семейный хронотоп» и местная («локальная») история в памяти иммигрантов в Республике Татарстан (по материалам полевых исследований 2022–2023 гг.)	84
Петров В.В. Социальное мифотворчество в виртуальном образовательном пространстве	94
Чмыхало А.Ю., Жаркова М.А. Концептуализация грамотности в условиях развития смарт-технологий: к постановке проблемы	105
Шатунов П.Г., Найман Е.А. К вопросу об идеологических основаниях мифа о грамотности	118

СОЦИОЛОГИЯ

Барышев А.А., Кашпур В.В., Барышев Г.А. Взаимоотношения сетевой и дискурсивной структуры сообществ экологистов и вакцинистов в социальной сети «ВКонтакте»	129
Глухов А.П., Соломина И.Г. Факторы киберсоциализации и цифровая грамотность обучающихся	146
Гневашева В.А. Особенности определения феномена «социального счастья» и «социального одиночества» в оценках женщин России	157
Дидковская Я.В., Нотман О.В., Трынов Д.В., Лугин Д.А. Молодежные креативные локальности в среде мегаполиса: условия и барьеры развития	168
Негуль С.В., Быков Р.А., Быкова Е.Ю. Организационная культура и вовлеченность руководства и сотрудников в высокотехнологичной компании (исследование опыта предприятия наукоемкого бизнеса)	179
Пирогов С.В. Возможности применения теории аутопойезиса к анализу города как «живой системы»	195

ПОЛИТОЛОГИЯ

Лисенкова А.Д. Атомная энергетика в Европейском Союзе в условиях кризиса в отношениях с Российской Федерацией	206
Панкевич Н.В. Центральность государства в мировом политическом пространстве: след пандемии	215
Торопчин Г.В. Лестница нуклеаризации: градиенты порогового состояния	227
Погорельская А.М., Погодаев Н.П. Модернизация высшего образования в Таджикистане и особенности образовательного сотрудничества с Россией в 2022–2023 гг.	239
Федотова В.А. Влияние политических установок на формирование гражданской идентичности россиян	249

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Gushchin I.A., Kozyreva O.A. The epistemological interpretation of <i>de se</i> attitudes	5
--	---

HISTORY OF PHILOSOPHY

Berestov I.V. A reduction of the passage of an open interval to a sequence of passages of closed intervals and puzzling consequences of this reduction (a reply to Evgeny V. Borisov's article)	15
Kochnev R.L. The death of Epicurus and Hume's guillotine	26
Tselishcheva O.I. Neopragmatism versus epistemology: Did Kant need to put philosophy on the safe path of science?	35
Alexandrov E. Beauty from Schopenhauer and Nishida to Plotinus and al-Farabi	46

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Ardashkin I.B., Ardashkina A.I. On the disciplinary status and subject field of terminology: Socio-philosophical foundations and a sociolinguistic approach	68
Ovchinnikov A.V. "Family chronotope" and the local history in the memory of immigrants in the Republic of Tatarstan (based on the materials of field research in 2022–2023)	84
Petrov V.V. Social myth-making in the virtual educational space	94
Chmykhalo A.Yu., Zharkova M.A. Conceptualization of literacy in the conditions of smart technology development: Formulating the problem	105
Shatunov P.G., Nayman E.A. The ideological foundations of the literacy myth	118

SOCIOLOGY

Baryshev A.A., Kashpur V.V., Baryshev G.A. Relationship of the network and discourse structure of communities of ecologists and vaccinationists on the social network VKontakte	129
Glukhov A.P., Solomina I.G. Factors of cybersocialization and digital literacy of students	146
Gnevasheva V. A. Female happiness or female loneliness: Aspects of the definition	157
Didkovskaya Ya.V., Notman O.V., Trynov D.V., Lugin D.A. Youth creative localities in a metropolitan environment: Conditions and barriers to development	168
Negrul S.V., Bykov R.A., Bykova E.Yu. Organizational culture and involvement of management and employees in a high-tech company (research on the experience of a knowledge-intensive business enterprise)	179
Pirogov S.V. The possibilities of applying the theory of autopoiesis to the analysis of the city as a "living system"	195

POLITICAL SCIENCE

Lisenkova A.D. Nuclear energy in the European Union in the context of the crisis in relations with the Russian Federation	206
Pankevich N.V. The state's centrality in the global political space: The trace of the pandemic	215
Toropchin G.V. Nuclearisation ladder: Threshold state gradients	227
Pogorelskaya A.M., Pogodaev N.P. Modernization of the higher education system in Tajikistan and the features of educational cooperation with Russia in 2022–2023	239
Fedotova V.A. The influence of political attitudes on the formation of the civic identity of Russians	249

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья
УДК 165.0
doi: 10.17223/1998863X/78/1

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УСТАНОВОК *DE SE*

Илья Андреевич Гущин¹, Ольга Александровна Козырева²

^{1,2} Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия,

¹ gushchin.ilya.66@gmail.com

² olgakozyreva@mail.ru

Аннотация. Рассматривается эпистемологическая интерпретация различия между установками *de se* и *de re* посредством разграничения способов обоснования для каждой из них – интроспекции и обращения к внешним источникам соответственно. Отмечаются два основных условия для установок *de se* и конструируются контрпримеры, демонстрирующие недостаточность интроспекции как способа обоснования убеждений *de se*.

Ключевые слова: установка *de se*, перспектива от первого лица, интроспекция, эпистемология, обоснование

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке Уральского гуманитарного института УрФУ (программа «Мой первый грант»).

Для цитирования: Гущин И.А., Козырева О.А. Эпистемологическая интерпретация установок *de se* // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 5–14. doi: 10.17223/1998863X/78/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

THE EPISTEMOLOGICAL INTERPRETATION OF *DE SE* ATTITUDES

Ilya A. Gushchin¹, Olga A. Kozyreva²

^{1,2} Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

¹ gushchin.ilya.66@gmail.com

² olgakozyreva@mail.ru

Abstract. The article deals with the epistemological interpretation of *de se* attitudes proposed by Igor Douven. He suggests this interpretation as a skeptical solution to the problem of the difference between *de se* and *de re* attitudes. Classical solutions to this problem are based on

the revision of fundamental concepts such as the concept of belief and the concept of proposition. Douven's skepticism is less radical and does not need this revision. The first part of the article focuses on explicating Douven's position. He accounts for the *de re/de se* distinction by pointing out the difference between the types of justification used for such beliefs. Introspection is enough for an individual to be justified in believing a proposition *de se*, while consulting external sources is necessary for him to be justified in believing a proposition *de re*. The second part of the article presents our objections to Douven's epistemological interpretation. We start by pointing out some terminological difficulties, mainly with the concept of introspection, due to the lack of its explicit definition. Then, we construct several examples in order to demonstrate that introspection is not sufficient to justify beliefs when an individual self-ascribes a property. Put differently, if one understands *de se* attitudes as a self-ascription of a property, Douven's account faces an inevitable issue. After that, we argue that even if one understands *de se* attitudes as a self-ascription based on the first-person awareness of having some property, we still can find examples when introspection is not enough to justify such ascriptions. In the third part of the article, we propose a slight modification of the epistemological interpretation by appealing to epistemic contextualism, i.e., we argue for the context-dependent nature of the justification procedures. The modified interpretation does not need to revise the basic structure of *de se* attitudes and allows us to reserve the crucial role of introspection as a way to justify such beliefs. When introspection is not sufficient, the justification of *de se* beliefs comes from context parameters.

Keywords: *de se* attitudes, first-person perspective, introspection, epistemology, justification

Acknowledgements: The research funding from the Ural Institute of Humanities of the Ural Federal University ("My First Grant" Program) is gratefully acknowledged.

For citation: Gushchin, I.A. & Kozyreva, O.A. (2024) The epistemological interpretation of *de se* attitudes. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 5–14. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/1

Одной из важных тем на стыке философии языка и философии сознания является проблема *de se* прочтений высказываний с пропозициональными установками (далее – установкам *de se*). Речь идет о следующих высказываниях: 1) в которых индивид сам сообщает о наличии у него какой-либо пропозициональной установки, например, Ольга говорит о себе: «Я убеждена, что я участвовала в прошлогодней конференции»; 2) в которых третье лицо сообщает о наличии такой пропозициональной установки у индивида, например, Илья говорит об Ольге: «Ольга убеждена, что она участвовала в прошлогодней конференции».

Проблема с высказываниями подобного вида заключается в том, что они допускают два прочтения: стандартное *de re* прочтение и указанное выше *de se* прочтение. Первое представляет собой простое приписывание некоторого свойства некоторому агенту, в данном случае Ольге, второе предполагает, что у Ольги также имеется дополнительная осведомленность о том, что приписывание происходит именно ей.

В философской литературе сложилось явное противопоставление двух основных позиций в отношении проблемы установок *de se*: с одной стороны, есть те, кто считают, что установки *de se* не сводимы к *de re* прочтениям пропозициональных установок (далее – установки *de re*), с другой стороны, есть те, кто эту несводимость отвергает. Последних зачастую именуют скептиками в отношении установок *de se*, однако следует разграничивать два вида скептических позиций, существующих в литературе по обсуждаемой проблематике [1. Р. 87].

Первый вид скептицизма возникает в качестве возможного ответа на вопрос, существует ли какое-то особое специфическое содержание установок *de se*, связанное с выражением в них перспективы от первого лица, которое не тождественно содержанию, выражаемому в высказываниях, сделанных из перспективы от третьего лица. Иными словами, скептическая позиция первого вида отрицает наличие содержательной разницы между референцией к самому себе в случае приписывания ментальных состояний себе и референцией к другим индивидам в случае приписывания ментальных состояний уже им. Второй вид скептицизма затрагивает вопрос о необходимости внесения изменений в стандартную теорию пропозициональных установок для объяснения разграничения между *de re* и *de se* прочтениями: в этом случае скептическая позиция заключается в отрицании подобной необходимости и признании того, что объяснить специфику установок *de se* можно уже имеющимися теоретическими средствами.

В настоящей статье мы планируем рассмотреть одно из таких скептических решений второго вида – предложенную И. Дувеном [2] эпистемологическую интерпретацию установок *de se*, которая не требует отказа от стандартной концепции пропозициональных установок – и продемонстрировать его недостатки. Наш основной аргумент против подхода И. Дувена заключается в том, что интроспекция не может считаться достаточной для обоснования убеждения индивида. В качестве возможной модификации указанного подхода мы предлагаем обратиться к эпистемическому контекстуализму, где вопрос о стандартах обоснования может быть осмысленно поставлен только при указании контекста, в котором оценивается некоторое утверждение.

Эпистемологическая интерпретация

И. Дувен предлагает проводить дистинкцию между установками *de se* и *de re* посредством обнаружения принципиальной разницы между тем, каким способом обосновываются отчеты индивидов об этих двух видах убеждений (belief reports). Для фиксации этой разницы он предлагает обратиться к теории симуляции [3].

Согласно этой теории, люди обладают способностью «симулировать» ментальные состояния себя и других людей через представление их и себя в определенных ситуациях. Подобная способность позволяет людям предсказывать свое и чужое поведение. Например, представление ситуации, в которой Илья сообщает Ольге, что ее решение некоторой проблемы содержит противоречие, позволяет ему предсказать ее реакцию на это сообщение и, как следствие, скорректировать то, как он будет сообщать ей об этом завтра, и помочь понять, почему онаотреагирует именно так, какотреагирует.

Согласно Р.М. Гордону, семантика для таких ситуаций может выглядеть следующим образом:

(1) сделаем симуляцию ментального состояния Ольги. Готовы? Илья участвовал в прошлогодней конференции;

(2) Ольга убеждена, что Илья участвовал в прошлогодней конференции.

В соответствии с позицией Р.М. Гордона, (1) и (2) означают одно и то же, что не кажется самому И. Дувену обоснованным. Например, если кто-то утверждает (1), то неочевидно, что его утверждение является также утверждением и об Ольге, а не только об Илье, в то время как в (2) утверждение об

Ольге присутствует в более явном виде. Также И. Дувен критикует и всеобщую значимость симуляции для обоснования отчетов об убеждениях. Он утверждает, что она не является ни достаточной (недостаточно просто представить себе кого-то, чтобы иметь о нем достоверные сведения), ни необходимой для обоснования (вместо симуляции может использоваться сообщение человека о его убеждении). В отношении обоснования индивидом отчетов о своих собственных убеждениях симуляция тоже не незаменима, более того, намного чаще для такого обоснования используется интроспекция. Иными словами, для И. Дувена теорию симуляции следует дополнить возможностью использования индивидом интроспекции как способа обоснования его убеждений.

Идея о том, что обоснования отчетов о своих убеждениях отличаются от обоснования отчетов о чужих убеждениях тем, что первые являются непосредственными (т.е. основанными только на интроспекции), а вторые – опосредованными (т.е. основанными на внешних по отношению к индивиду источниках), кажется, на первый взгляд, тривиальной. Однако мы можем встретить нестандартные случаи таких отчетов об убеждениях. Так, если Илья придет в задымленный и плохо освещенный бар, сядет на барный стул и увидит перед собой человека, который смотрит прямо на него, у него может сформироваться вполне обоснованное убеждение, которое можно сформулировать следующим образом: «человек, на которого я смотрю, убежден, что за ним наблюдают».

Проблема в этом случае заключается в том, что никакого другого человека нет: это отражение самого Ильи в зеркале. И тогда процедуры обоснования этого убеждения будут отличаться друг от друга до момента того, как Илья осознает, что это его отражение в зеркале, и после этого момента. До осознания Илья должен будет погрузиться в процесс симуляции, после него – этот процесс не будет иметь никакого смысла, так как Илья может просто спросить себя, убежден ли он в том, что за ним наблюдают. Таким образом, оказывается, что интроспекции недостаточно для обоснования приведенного выше примера убеждения – сначала требуется обратиться к внешним данным. Таким образом, именно возможность использования интроспекции в качестве обоснования вместо симуляции и обращения к внешним источникам отличает убеждения *de se* и *de re*.

Развернуто суть эпистемологической интерпретации можно представить так: для любого агента S и любой пропозиции p , в которой S убежден и в которой агенту S^* приписывается свойство P , если для обоснования такой пропозиции агенту S необходимо (но, возможно, недостаточно) обращаться к внешним источникам или использовать ментальную симуляцию, тогда убеждение S в отношении S^* является убеждением *de re*, даже в случае $S = S^*$. Если же для обоснования такой пропозиции интроспекции достаточно, то убеждение S является убеждением *de se* [2. Р. 279–280].

Подводя итог, можно сказать, что эпистемологическая интерпретация позволяет выразить разницу между установками *de se* и *de re* исключительно за счет сопоставления процедур обоснования в ситуациях соответствующих приписываний и не требует внесения изменений в понятия пропозиции и убеждения.

Несколько терминологических замечаний

Первое замечание касается того, почему интерпретация, предлагаемая И. Дувеном, носит название эпистемологической, хотя он везде говорит об отчетах об убеждениях *de re* и *de se*, при этом полностью вынося за скобки понятие знания. Однако нам не кажется, что такое терминологическое несоответствие – ведь в этом случае корректнее было бы именовать подход не эпистемологическим, а доксистическим – является серьезным недочетом. Более того, наша позиция, скорее, заключается в том, что в рамках обсуждения И. Дувеном различия между установками *de se* и *de re* проведение отличий между знанием и убеждением оказывается несущественными.

Традиционное представление о различии между знанием и убеждением связано с понятием обоснования: если убеждение истинно и обоснованно, то оно является знанием. Так как И. Дувен предлагает разграничивать убеждения *de se* и *de re* посредством обнаружения различий в способах обоснования этих убеждений, то он неявно предполагает, что у них уже наличествует достаточное обоснование, а, значит, такие убеждения можно рассматривать как знание. Иными словами, предлагаемую И. Дувеном интерпретацию установок *de se* вполне обоснованно можно именовать эпистемологической.

Второе замечание затрагивает понятие интроспекции, которое является центральным для эпистемологической интерпретации установок *de se*. Поскольку это понятие в современных исследованиях зачастую понимается поразному¹, факт того, что И. Дувен не дает ему эксплицитного определения, порождает неоднозначность прочтения основных положений его аргументации. В связи с этим в дальнейшем при анализе подхода И. Дувена мы будем пользоваться обобщенным представлением об интроспекции как о процедуре обоснования индивидом своих убеждений без обращения к данным внешнего мира, не вдаваясь в детали того, как осуществляется эта процедура.

Не является секретом и то, что интроспекция традиционно подвергается разнообразной критике. Сам И. Дувен ограничивается только ответом на бихевиористскую критику интроспекции, указывая на то, что эта критика уже была преодолена [2. Р. 277], но данный вариант критики не является единственным². В рамках данной статьи мы не будем выдвигать возражения позиции И. Дувена, исходя из критики интроспекции. Мы собираемся показать, что даже если предположить, что интроспекцию в ее обобщенном виде удастся спасти от критики, то его эпистемологическая интерпретация все равно нуждается в значительной ревизии.

Возражение эпистемологической интерпретации

Для того чтобы продемонстрировать слабость эпистемологической интерпретации, предлагаемой И. Дувеном, начнем с указания двух обязательных условий, которые должны одновременно соблюдаться для установок *de se*:

1) *S* убежден в том, что *p*, при этом в *p* некоторому *S** приписывается свойство *P*;

¹ Для обзора современных подходов к интроспекции и ее критике см. [4].

² Отдельно следует отметить критику интроспекции как представления об обращении «внутрь себя» Г. Эванса [5] и как представления по аналогии с восприятием объектов внешнего мира С. Шумейкера [6].

2) S убежден в том, что $S = S^*$.

Например, Ольга убеждена, что ей понравилась пицца, которую она ела в 2022 г. Она помнит об этом и может обнаружить у себя это воспоминание при помощи интроспекции, а также Ольга убеждена в том, что она сама является Ольгой, что тоже доступно ей при помощи интроспекции. Данный пример полностью укладывается в эпистемологическую интерпретацию И. Дувена: Ольге достаточно интроспекции, чтобы обосновывать оба своих убеждения, обращение к внешним источникам ей не требуется, следовательно, перед нами действительно случай установки *de se*.

Изменим в этой ситуации одну деталь: Ольга не помнит о том, что ей понравилась пицца, которую она ела в 2022 г., ей об этом напомнил Илья, которому Ольга сообщала об этой понравившейся ей пицце в 2022 г. Добавим также, что Илье постоянно приходится напоминать Ольге об этом обстоятельстве, так как она постоянно о нем забывает. Тогда оба условия все так же выполняются, и мы должны признать, что перед нами все тот же случай установки *de se*. Но в нем очевидно уже нельзя утверждать, что Ольге не требуется обращение к внешним источникам (таким для нее выступают слова Ильи), а это, в свою очередь, значит, что интроспекции оказывается недостаточно для обоснования ее убеждения.

И если предложенному контрпримеру достаточности использования интроспекции для обоснования убеждений *de se* еще можно возразить, сказав, что *когда-то*, между актами забывания, Ольга все-таки помнит о понравившейся ей пицце, и поэтому в такие моменты ее убеждения действительно представляют случай *de se*, то более сильной версии этого контрпримера возражения представить гораздо труднее.

Представим, что некоторый человек совершил преступление, и в силу состояния своего организма (например, находясь под воздействием определенных веществ в момент совершения преступления) он не помнит о том, что совершал его. Однако момент совершения преступления оказался записан камерами видеонаблюдения. Когда в зале суда этот человек видит самого себя на видеозаписи, он видит, как он сам совершает это преступление, т.е. он приобретает убеждение о том, что человек, совершивший преступление, и он сам являются одним и тем же человеком (второе условие). Дополнительные сложности для суда создает то, что у данного человека есть редкая особенность – он не может запомнить ничего, что он видит на видеозаписях. Во время просмотра видеозаписи он является убежденным и в том, что некоторый человек совершил преступление, и в том, что этот человек – он сам, но, когда запись выключается, он теряет второе убеждение. Такой человек никогда не сможет при помощи интроспекции установить, что преступление совершил именно он, ему всегда будет требоваться внешний источник – воспроизведение видеозаписи. Таким образом, во время воспроизведения видеозаписи оба условия для установок *de se* выполняются, но необходимым условием для этого является постоянное обращение к внешнему источнику, а, значит, основное положение эпистемологической интерпретации о достаточности интроспекции для обоснования убеждений *de se* оказывается ложным.

Можно попытаться защитить эпистемологическую интерпретацию, разграничив случаи установок *de se*, которые использовались ранее, и те, кото-

рые условно можно назвать «подлинными» случаями установок *de se*. Сделать это позволяет существующая понятийная неопределенность в рамках существующих исследований по проблематике установок *de se* [7]. Контр-примеры, приведенные выше, становятся не релевантны, если мы будем считать, что для случаев убеждений *de se* необходима непосредственная осведомленность агента о самом себе, а все остальное будет рассматриваться как случай убеждений *de re*.

Например, индивид оправданно убежден в том, что он добрый. Это убеждение он обосновывает при помощи интроспекции: у него просто есть такое внутреннее ощущение. Тогда перед нами случай убеждения *de se* в рамках эпистемологической интерпретации, и никаких затруднений, как кажется, не возникает. Но что если этот индивид окажется в социальной среде, где этические стандарты, в том числе в отношении доброты, многократно выше, чем принято в обществе, в рамках существования которого у индивида сформировалось это внутреннее ощущение? Предположим, что представители этого гипотетического сообщества настолько этически развиты, что доброта в представлении нашего индивида там добротой в принципе не является, а оказывается в лучшем случае «нейтральностью». Наш индивид, конечно, может продолжать пользоваться только интроспекцией, но тогда он будет достаточным образом обосновывать ложное убеждение, значительно расходясь в представлениях о себе с представителями того сообщества, в котором он оказался. Однако рациональный агент в подобных ситуациях все же склонен обращаться к внешним источникам, чтобы сопоставлять свои внутренние ощущения с той действительностью, в которой он находится. И тогда интроспекции вновь оказывается недостаточно для обоснования: истинность или ложность убеждения индивида о том, что он добрый, будет зависеть от того, в каком сообществе – «нормальном» или «сверхэтичном» – он находится.

Данный феномен возникает не из-за размытости понятия «доброта», как может показаться изначально. Представим, что некоторый индивид оправданно убежден в том, что он знает теорему Пифагора. Как и в прошлом примере он обосновывает это свое убеждение при помощи интроспекции, не обращаясь к внешним источникам, на основании наличия у него такого внутреннего чувства, например, на основании того, что он может вспомнить формулировку этой теоремы, вспомнить, как решал задачи в школе на уроках геометрии и т.д. В случае с таким убеждением ситуация, позволяющая сформулировать контрпример, даже более реалистична, чем в предыдущем примере: теперь наш агент оказался на научной конференции, посвященной пифагорейской школе, а конкретно – на отдельной секции, посвященной истории и теории именно теоремы Пифагора. Наш агент, если он будет использовать только интроспекцию, все еще будет убежден, что он знает теорему Пифагора. Но действительно ли он ее знает в рамках того сообщества, в котором он оказался? Например, будет ли рациональным с его стороны, зная только ее формулировку, пытаться участвовать в дискуссии о различных способах ее доказательства?¹

¹ Применительно к математике классическое определение знания как истинного обоснованного убеждения в отношении теорем также предполагает знание и процедуры их обоснования, т.е. доказательств.

Эти два контрпримера показывают, что даже в случае с внутренними ощущениями одной только интроспекции не всегда достаточно для обоснования убеждений *de se*.

Контекстуалистское решение

Приведенные выше контрпримеры показали, что попытка провести четкое разграничение между установками *de se* и *de re* посредством разграничения процедур обоснования – интроспекции и обращения к внешним источникам – оказывается неудачной. Однако это не означает, что сама идея о том, что можно представить эпистемологический критерий для такого разграничения, невозможна.

Ключевая проблема интерпретации И. Дувена состоит в том, что в ней используется эпистемология, которая не предполагает выражения зависимости достаточности обоснования убеждения от условий, в которых это обоснование происходит. Именно это является основной причиной затруднений как в примерах с добротой и знанием теоремы Пифагора, так и в примерах о событиях прошлого. Однако эта проблема может быть решена, если вместо классического универсалистского подхода в эпистемологии занять позицию эпистемического контекстуализма¹, а именно – интерпретировать достаточность обоснования с привязкой к эпистемическому контексту, в котором происходит это обоснование.

Традиционно считается, что в рамках эпистемического контекстуализма различные эпистемические контексты предполагают различные стандарты в отношении обоснования. Попробуем тогда проинтерпретировать два обязательных условия для установок *de se*, которые мы сформулировали ранее, в рамках эпистемического контекстуализма. Так, для первого условия требования к обоснованию будут связаны с тем, насколько оправданно приписывать свойство *P* некоторому *S**. Например, в контексте с невысокими эпистемическими стандартами можно оправданно приписать своему коллеге свойство «быть тем, кто получит повышение» с обоснованием в виде слов президента компании о том, что именно этот коллега вскоре займет более высокую должность. Но в контексте с высокими эпистемическими стандартами (например, при работе с опасными биоматериалами) не является оправданным приписывать своему коллеге, которого только сегодня взяли на работу, свойство «быть способным справиться с любой сложной задачей» с обоснованием в виде его собственных слов.

Для второго условия контекстная зависимость процедуры обоснования «работает» схожим образом. В контексте с низкими эпистемическими стандартами мы не требуем от человека развернутых обоснований того, что это именно он обладает каким-то свойством – например, в случае совершения им высказывания «это именно я включил свет». В контексте с высокими эпистемическими стандартами от агента будут требоваться значительные усилия для обоснования того, что речь идет именно о нем: например, если встанет вопрос об авторском праве на какое-либо художественное произведение.

¹ Эпистемический контекстуализм представляет собой позицию относительно проблемы природы знания, но, как мы отмечали ранее, в интерпретации И. Дувена знание и убеждение оказываются неразличимыми понятиями.

Следует отметить, что обращение к контекстной зависимости обоснований убеждений с необходимостью требуется в тех проблемных примерах, которые мы привели ранее. Так, примеры, связанные с первым условием, – примеры с добротой и со знанием теоремы Пифагора – построены на том, что от индивида требуется дополнительно обосновывать и пересматривать свои убеждения в отношении наличия у себя каких-то свойств в зависимости от контекста, в котором он оказался, что приводит к постоянному смещению интроспекции и обращения к внешним источникам как процедурам обоснования. Благодаря тому что мы ввели понятие контекстной зависимости процедуры обоснования, можно избавиться от этого затруднения. Тогда у индивида в принципе не может быть убеждения вида «я добрый» или «я знаю теорему Пифагора»: у него могут быть множества убеждений вида «я добрый» и «я знаю теорему Пифагора» для каждого контекста, в котором он может оказаться. Таким образом, пока он находится в рамках конкретного контекста, он обосновывает истинность своих убеждений при помощи только интроспекции, но в тот момент, когда он перемещается между контекстами, он обращается к внешним источникам, чтобы проверить, изменились ли его убеждения о себе самом, после чего снова прибегает к интроспекции. В таком случае мы можем утверждать, что интроспекции достаточно только для случаев убеждений *de se* при нахождении внутри контекста, а в момент перехода между контекстами индивид обязан для всякого своего убеждения *de se* обратиться к релевантным внешним источникам.

В проблемных примерах, связанных со вторым условием, – примерах с воспоминанием о понравившейся пицце и с преступлением – контекстная зависимость процедуры обоснования не поможет сохранить интроспекцию как способ обоснования убеждений *de se*. Напротив, контекстная зависимость помогает описать данные случаи как те, в которых интроспекция для обоснования убеждений *de se* не требуется. В обоих случаях контексты предполагают, что агенту для обоснования того, что речь идет именно о нем, не требуется непосредственно иметь воспоминания о соответствующих событиях. Предполагается, что контекст с убеждением о понравившейся пицце предусматривает готовность принимать обоснование в виде чужих слов, так как Ольга доверяет словам Ильи о том, что было в 2022 г. Таким образом, Ольга вполне может иметь убеждение о том, что именно ей понравилась пицца в 2022 г., хотя и не помнит этого непосредственно. Аналогично контекст с заседанием суда предполагает высокие стандарты отбора доказательств и выносимых решений, и поэтому действительно совершивший преступление человек может иметь убеждение о том, что именно он совершил это преступление, хотя он и не помнит об этом и не помнит, что ему показывали на видеозаписи.

Таким образом, в эпистемологической интерпретации установок *de se*, дополненной нами эпистемическим контекстуализмом, интроспекция продолжает играть значительную роль, но не оказывается необходимым условием для описания феномена *de se*. Когда необходимо обращаться к интроспекции, а когда можно обойтись без нее или добавить к ней обращение к внешним источникам будет зависеть от эпистемических стандартов различных контекстов и от перемещения индивидов между этими контекстами.

Список источников

1. Ninan D. What is the Problem of *De Se* Attitudes? // *About Oneself: De Se Thought and Communication* / ed. by M. García-Carpintero, S. Torre. Oxford : Oxford University Press, 2016.
2. Douven I. The Epistemology of *De Se* Beliefs // *Attitudes De Se: Linguistics, Epistemology, Metaphysics* / ed. by N. Feit, A. Capone. Stanford : CSLI, 2013. P. 273–290.
3. Gordon R.M. Folk Psychology as Simulation // *Mind and Language*. 1986. Vol. 1. P. 158–171.
4. Беседин А.П., Волков Д.Б., Кузнецов А.В., Логинов Е.В., Мерцалов А.В. Интроспекция: современные подходы и проблемы // *Эпистемология и философия науки*. 2021. № 2. С. 195–215.
5. Evans G. *The Varieties of Reference*. Oxford : Oxford University Press, 1982.
6. Shoemaker S. *The First-Person Perspective and Other Essays*. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
7. Cappelen H., Dever J. *The Inessential Indexical. On the Philosophical Insignificance of Perspective and the First Person*. Oxford : Oxford University Press, 2013.

References

1. Ninan, D. (2016) What is the Problem of De Se Attitudes? In: García-Carpintero, M. & Torre, S. (eds) *About Oneself: De Se Thought and Communication*. Oxford: Oxford University Press.
2. Douven, I. (2013) The Epistemology of De Se Beliefs. In: Feit, N. & Capone, A. (eds) *Attitudes De Se: Linguistics, Epistemology, Metaphysics*. Stanford: CSLI. pp. 273–290.
3. Gordon, R.M. (1986) Folk Psychology as Simulation. *Mind and Language*. 1. pp. 158–171.
4. Besedin, A.P., Volkov, D.B., Kuznetsov, A.V., Loginov, E.V. & Mertsalov, A.V. (2021) *Introspektiya: sovremennye podkhody i problemy* [Introspection: modern approaches and problems]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2. pp. 195–215.
5. Evans, G. (1982) *The Varieties of Reference*. Oxford: Oxford University Press.
6. Shoemaker, S. (1996) *The First-Person Perspective and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Cappelen, H. & Dever, J. (2013) *The Inessential Indexical. On the Philosophical Insignificance of Perspective and the First Person*. Oxford: Oxford University Press.

Сведения об авторах:

Козырева О.А. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

Гущин И.А. – ассистент кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: gushchin.ilya.66@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Kozyreva O.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior lecturer at the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

Gushchin I.A. – teaching assistant at the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: gushchin.ilya.66@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27.11.2023;
одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 27.11.2023;
approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья
УДК 1(091):165.3:122
doi: 10.17223/1998863X/78/2

РЕДУКЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИНТЕРВАЛА К ПРОХОЖДЕНИЮ ЗАМКНУТЫХ И ЕЕ ОЗАДАЧИВАЮЩИЕ СЛЕДСТВИЯ (РЕПЛИКА НА СТАТЬЮ Е.В. БОРИСОВА)

Игорь Владимирович Берестов

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия, berestoviv@yandex.ru*

Аннотация. Продолжается дискуссия с Е.В. Борисовым, начатая в предыдущих статьях. Эта дискуссия касается затруднений в описании движения по открытым интервалам, восходя к Дихотомии Зенона Элейского. Я покажу, что отскакивание точечного объекта от замкнутой стены вынуждает признать, что этот объект на этапе отражения находится вне времени и(или) пространства.

Ключевые слова: теория движения, открытый интервал, контакт областей, нелокализованные объекты, континуум

Для цитирования: Берестов И.В. Редукция прохождения открытого интервала к прохождению замкнутых и ее озадачивающие следствия (реплика на статью Е.В. Борисова) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 15–00. doi: 10.17223/1998863X/78/2

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

A REDUCTION OF THE PASSAGE OF AN OPEN INTERVAL TO A SEQUENCE OF PASSAGES OF CLOSED INTERVALS AND PUZZLING CONSEQUENCES OF THIS REDUCTION (A REPLY TO EVGENY V. BORISOV'S ARTICLE)

Igor V. Berestov

*Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation, berestoviv@yandex.ru*

Abstract. In this paper, I continue the discussion with Evgeny V. Borisov that I began in the previous article. Thus, I continue the study of logical-mathematical problems, the beginning of the awareness of which was laid by the paradoxes (aporias) of Zeno of Elea about motion (*Achilles* and the *Dichotomy*). I propose an argument that is a successor to the *Dichotomy* of Zeno of Elea. According to the *Dichotomy*, a moving object cannot cover the entire interval $[A, B]$, since it must first cover the first half of the entire distance, then the first half of the remaining distance, etc. From this one could conclude that an object that has passed through

this entire sequence of intervals will not be localized in time and space, and, however, it must somehow exist in order for some additional action can move it to the point *B*. Due to the controversial nature of this reasoning, in the previous article, I proposed several stories such that, if they are true, then it should be concluded that moving objects at certain stages of their movement exist outside of space and time. Borisov correctly notes that in these stories there is no proof that we should accept such a strange mode of existence of moving objects, since we have no reason to value these stories as true. Responding to Borisov's criticism, I demonstrate the need to recognize such a mode of existence. I prove that the elastic collision of an impenetrable point object with a closed impenetrable wall forces us to recognize that this object is outside space and/or time at the collision stage. Let an object move from point 0 m to a wall located at point 1 m. Since there is no instant of time at which the object interacts with the wall, I propose that sentences are true not only in relation to instants of time, but also in relation to indices, which are intervals, passed from 0 s, including 0 s. Then we get: The rebounding object either (1) rebounds at the index [0 c, 1 c) (in which case it definitely exists at that index), or (2) it rebounds at the index [0 m, 1 m) (in which case it definitely exists at that index). In case (1), the object does not exist at any instant of time and at any point in space. In case (2), the object does not exist at any point in space.

Keywords: theory of motion, open interval, contact of regions, nonlocalized objects, continuum

For citation: Berestov, I.V. (2024) A reduction of the passage of an open interval to a sequence of passages of closed intervals and puzzling consequences of this reduction (a reply to Evgeny V. Borisov's article). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 14–00. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/2

Введение

В настоящей статье я намерен продолжить исследование логико-математических проблем, начало осознанию которых было положено парадоксами (апориями) Зенона Элейского о движении. Настоящая статья продолжает начатое в [1] исследование, используя современные технические средства для анализа апорий *Ахиллес* и *Дихотомия*. Настоящая статья призвана продемонстрировать эффективность *апроприационистского подхода к истории философии* (см. [2. С. xx–xxiii, 13–21, 90–102]) на примере этих апорий. В центре внимания будут проблемы, связанные с пониманием континуума и с приписыванием свойств открытым интервалам. Я предложу аргумент, целью которого является указание на трудности в теории движения, в которой прохождение интервала $[A, B)$ не влечет прохождения интервала $[A, B]$. Этот аргумент является наследником *Дихотомии* Зенона Элейского, в соответствии с которой движущийся объект не может преодолеть интервал $[A, B]$ целиком, поскольку он должен сначала пройти первую половину всей дистанции, потом – первую половину оставшейся дистанции, и т.д., и прохождение всей этой бесконечной последовательности интервалов полагается невозможным¹. Основываясь на некоторых современных исследованиях, эту «невозможность» можно трактовать в том смысле, что Ахиллес, прошедший всю эту последовательность интервалов, составляющих вместе $[A, B)$, не будет локализован во времени и пространстве, и, однако, он должен каким-то образом существовать, чтобы некое дополнительное действие могло переместить его в точку *B* [1. С. 64–83; 3. Р. 108]. Однако корректность этого рас-

¹ См. 29 A 25 DK, 20–24 Lee, D14–D19 LM, R17–R18 LM. Пояснение к нумерации фрагментов, их трактовку и их текст по различным источникам см. в [1. С. 18–21, 165–169, 186–187].

суждения может быть поставлена под сомнение. В настоящей статье будет приведено еще одно обоснование того, что движущийся специфическим способом объект на определенном этапе не локализован в пространстве и(или) времени.

Я также отвечаю на замечания Е.В. Борисова [4] к моей предпринятой ранее попытке из [5, 6] представить восходящую к Зенону Элейскому аргументацию, показывающую необходимость вводить внепространственный и(или) вневременной способ существования для описания движущегося объекта. Критика Е.В. Борисова выявила недостаточность моего раннего аргумента, поэтому сначала я изложу новый аргумент, а затем покажу, что замечания Е.В. Борисова к ранней версии аргумента не затрагивают аргумент из настоящей статьи.

Двойная онтология

В статьях [5, 6] моей целью являлась демонстрация того, что движение точечного объекта приводит к «двойной онтологии» (термин из [7, 4]), т.е. к тому, что корректное описание равномерно движущегося слева направо точечного объекта подразумевает не только то, что такой объект находится в некоторые моменты времени в некоторых точках пространства, но также и следующий тезис:

(Т1) Следует признать существующим на определенных этапах своего движения, но находящимся вне времени и пространства *любой* равномерно движущийся точечный объект.

После критики в [7, 4], я осознал, что обоснование тезиса (Т1) в рамках подхода из [5, 6] представляет значительные трудности. Я вернусь к обсуждению возможного обоснования (Т1) в следующей статье. Однако я полагаю, что можно обосновать следующий тезис:

(Т2) Следует признать, что равномерно движущийся (или изменяющийся) и *имеющий некоторые дополнительные характеристики* объект существует на определенных этапах своего движения, но находится вне времени и(или) пространства.

Обоснование тезиса (Т2) будет изложено в настоящей статье.

Тезис (Т1) должен был указать на проблемы, имеющиеся в современных теориях движения, несмотря на длительное обсуждение и попытки преодолеть аргументы Зенона Элейского против движения. Обоснование тезиса (Т2) служит той же цели. Тезис (Т2) контринтуитивен: мы конструируем совершенно обычный «конкретный» объект, но оказывается, что описание его движения требует, чтобы он на некоторых этапах своего движения существовал вне времени и(или) пространства. Это кажется неприемлемым, поскольку пребывание вне времени и пространства естественно для абстрактных объектов (например, для чисел, которым движение не свойственно), а не для обычных «конкретных» объектов, которые могут двигаться.

Как и в [5, 6], я буду называть Демоном Бенацерафа (ДБ) движущийся точечный объект, способный к выполнению любых логически допустимых действий (т.е. не влекущих противоречия), вне зависимости от того, реализуемы ли они физически. Для обсуждения движения такой «демон» (точнее, джинн) был описан в статье [3. Р. 119], где джинн, постепенно уменьшаясь в росте, исчезал по прохождении слева направо открытого справа единичного

интервала, так и не пройдя замыкание этого интервала справа в течение какого-либо интервала времени.

В рассматриваемых ниже случаях 1 и 2 демонами являются движущиеся точечные объекты.

Ниже я собираюсь (помимо прочего) обсуждать условия истинности следующего предложения:

«Точечный ДБ равномерно прошел l_{os} в течение l_{ot} ».

Замечу, что предложение «Точечный ДБ равномерно прошел l_{os} в течение l_{ot} » может быть более точно сформулировано в виде:

«Максимальным пространственным интервалом, пройденным равномерно движущимся точечным ДБ в течение темпорального интервала l_{ot} , является пространственный интервал l_{os} ».

Обозначения

Ниже будут использоваться следующие обозначения, которые для удобства читателя я считаю полезным выписать в начале статьи.

- l_{ot} – темпоральный интервал $[0 \text{ с}, 1 \text{ с})$;
- l_{os} – пространственный интервал $[0 \text{ м}, 1 \text{ м})$;
- l_{ct} – темпоральный интервал $[0 \text{ с}, 1 \text{ с})$;
- l_{cs} – пространственный интервал $[0 \text{ м}, 1 \text{ м})$;
- $S_{ot}^{\subseteq}$ – множество всех темпоральных интервалов, начинающихся с момента 0 с включительно, включенных в l_{ot} ; интервал l_{ot} также принадлежит множеству $S_{ot}^{\subseteq}$;
- $S_{ct}^{\subseteq}$ – множество всех замкнутых справа темпоральных интервалов, начинающихся с момента 0 с включительно, строго включенных в l_{ot} ; интервал l_{ot} не принадлежит множеству $S_{ct}^{\subseteq}$;
- $S_{ot}^{\subsetneq}$ – множество всех открытых справа темпоральных интервалов, начинающихся с момента 0 с включительно, включенных в l_{ot} ; интервал l_{ot} также принадлежит множеству $S_{ot}^{\subsetneq}$;
- $S_{cs}^{\subseteq}$ – множество всех замкнутых справа пространственных интервалов, начинающихся с точки 0 м включительно, строго включенных в l_{os} ; интервал l_{os} не принадлежит множеству $S_{cs}^{\subseteq}$;
- $S_{os}^{\subseteq}$ – множество всех открытых справа пространственных интервалов, начинающихся с точки 0 м включительно, включенных в l_{os} ; интервал l_{os} также принадлежит множеству $S_{os}^{\subseteq}$;
- i_t – произвольный темпоральный интервал из $S_{ot}^{\subseteq}$;
- i_{ct} – произвольный замкнутый темпоральный интервал из $S_{ct}^{\subseteq}$;
- i_{cs} – произвольный замкнутый пространственный интервал из $S_{cs}^{\subseteq}$;
- i_{ot} – произвольный открытый темпоральный интервал из $S_{ot}^{\subsetneq}$;
- f – функция из l_{ot} в l_{os} ;
- f^c – функция из $S_{ct}^{\subseteq}$ в $S_{cs}^{\subseteq}$;
- f_{rev} – функция из $(1 \text{ с}, 2 \text{ с}]$ в $(1 \text{ м}, 2 \text{ м}]$.

Случай 1. Движущийся равномерно и прямолинейно ДБ

В настоящей статье я ради аргумента признаю описывающие равномерное положение, хотя в следующей статье я намерен показать его неприемлемость. Принятие этого положения блокирует доказательство присутствия

равномерно движущегося точечного ДБ вне пространства и времени. Чтобы его сформулировать, введу функцию f .

Пусть f является функцией из 1_{ot} в 1_{os} , такой, что каждому моменту времени из 1_{ot} f ставит в соответствие точку пространства из 1_{os} , для каждого t из 1_{ot} , $f(t) = t$. Функция f является функцией, описывающей равномерное движение объекта со скоростью 1 м/с по пространственному интервалу 1_{os} в течение темпорального интервала 1_{ot} . С помощью этой функции можно сформулировать следующее положение, являющееся одним из способов истинностного условия для предложения «ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} »:

(Редук1) Точечный ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} ете¹ для любого момента времени t из 1_{ot} $t \models$ точечный ДБ находится в точке $f(t)$ из 1_{os} .

В (Редук1) утверждается Редукция прохождения ДБ пространственного интервала 1_{os} к пребыванию ДБ в точках, принадлежащих 1_{os} в соответствующие моменты времени из 1_{ot} . Выражение « $t \models \dots$ » в (Редук1) можно читать как «в момент времени t истинно, что...», или просто как «в момент времени $t \dots$ ». Также выражение « $t \models \dots$ » в (Редук1) можно читать как «на индексе t истинно, что...», или просто как «на индексе $t \dots$ », при этом подразумевается, что в (Редук1) индексами являются моменты времени из 1_{ot} (подробнее об индексах см. в следующем абзаце). Аналогично читаются выражения с индексами другого типа, не являющимися моментами времени. Таким образом, в (Редук1) признается, что предложение «Точечный ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} » имеет истинностное значение на индексах, иначе говоря, его истинностное значение релятивизировано к индексам.

В (Редук1) движущиеся объекты описываются с помощью предложений, которые истинны или ложны на некоторых индексах. Индексы используются для индексации возможных миров, т.е. для снабжения миров «лейблами», позволяющими однозначно выделить конкретный возможный мир. Достаточно естественно говорить, например, что яблоко является зеленым в первом возможном мире (на одном индексе) и красным во втором возможном мире (на другом индексе), если возможные миры (и индексы) трактуются как моменты времени t_1 и t_2 , и $t_1 < t_2$, т.е. момент t_1 наступил позже момента t_1 . Можно говорить «предложение S истинно в возможном мире w , проиндексированном индексом t », а можно просто «предложение S истинно на индексе t », поскольку в нижеследующих рассуждениях возможные миры и его «лейблы» или «метки», т.е. индексы этих миров, находятся во взаимно-однозначном соответствии. Далее я буду придерживаться последнего, более экономичного, способа выражения и буду говорить об истинности предложений на индексах. В принципе возможно говорить только о индексах, не упоминая возможные миры, вопроса о том, следует или нет так делать, я не буду сейчас касаться.

Как мне кажется, Е.В. Борисов может согласиться с (Редук1), поскольку он пишет [7. С. 31]:

«В рамках обычной онтологии из приведенных положений следует только то, что состояния „когда истек интервал $[a, b)$, но не истек интервал $[a, b]$ “ для пространственно-временных объектов не существует, как не существует и состояния „когда пройден интервал $[a, b)$, но не пройден интервал $[a, b]$ “».

¹ Здесь и далее «ете» означает «если и только если».

Под «обычной онтологией» Е.В. Борисов понимает признание предложений истинными или ложными относительно моментов времени, а не открытых справа темпоральных интервалов. В этом случае, действительно, нельзя сказать, что на каком-либо индексе (которые исчерпываются моментами времени) истинно предложение «Следом ДБ является интервал $[a, b]$ ». Если это то, что имеет в виду Е.В. Борисов, то положение (Редук1) совместимо с этим выводом.

Пусть f^{ic} является функцией из $S_{ct}^{\subseteq}$ в $S_{cs}^{\subseteq}$, такой, что для любого x из $[0, 1)$ темпоральному интервалу $[0\ c, x\ c]$ из $S_{ct}^{\subseteq}$ f^{ic} ставит в соответствие пространственный интервал $[0\ m, x\ m]$ из $S_{cs}^{\subseteq}$. Функция f^{ic} , как и f , является функцией, описывающей равномерное движение объекта со скоростью 1 м/с по пространственному интервалу 1_{os} в течение темпорального интервала 1_{ot} .

(Редук2) Точечный ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} ете для любого интервала i_{ct} из $S_{ct}^{\subseteq}$ $i_{ct} \models$ следом точечного ДБ является пространственный интервал $f^{ic}(i_{ct})$.

В (Редук2) утверждается **Редукция** прохождения ДБ пространственного интервала 1_{os} к наличию следа ДБ на интервалах из $S_{ct}^{\subseteq}$. Очевидно, что (Редук1) и (Редук2) можно переписать для любых пространственных и темпоральных интервалов, отличных от 1_{os} и 1_{ot} , с соответствующим определением множеств интервалов, включенных в эти интервалы. При этом должно действовать правило: при равномерном и не меняющем направление движении (а) удаляющийся от точки 0 м ДБ проходит открытый справа пространственный интервал в течение открытого справа темпорального интервала; (б) приближающийся к точке 0 м ДБ проходит открытый слева пространственный интервал в течение открытого справа темпорального интервала.

В (Редук2), как и в (Редук1), движущиеся (или изменяющиеся) объекты описываются с помощью предложений, которые истинны или ложны на некоторых индексах. Но, в отличие от (Редук1), в (Редук2) для индексации миров, с помощью которой миры снабжаются «лейблами», однозначно позволяющими выделить конкретный возможный мир, используются не моменты времени, а замкнутые справа темпоральные интервалы из $S_{ct}^{\subseteq}$. Эта индексация может быть заменена индексацией с помощью моментов времени: для любого предложения S , для любого интервала i_{ct} из $S_{ct}^{\subseteq}$ на интервале i_{ct} истинно предложение S ете на индексе $\sup i_{ct}$ истинно предложение S . Замечу, что $\sup i_{ct} \in i_{ct}$.

Однако миры можно индексировать, используя все интервалы из $S_t^{\subseteq}$, не только те из них, которые принадлежат $S_{ct}^{\subseteq}$, но также и те из них, которые принадлежат $S_{ot}^{\subseteq}$. Если при индексации используются интервалы из $S_{ot}^{\subseteq}$, то такая индексация **не** может быть заменена индексацией с помощью моментов времени так, как это было сделано в случае индексации интервалами из $S_{ct}^{\subseteq}$: для любого предложения S , для любого интервала i_t из $S_t^{\subseteq}$ на интервале i_{ct} истинно предложение S ете на индексе $\sup i_t$ истинно предложение S .

То, что указанная замена индексаций не может быть проведена, ясно из мысленного эксперимента, в котором ДБ проходит 1_{os} в течение 1_{ot} , но, помимо этого, ДБ в течение 1_{ct} благополучно проходит также и 1_{cs} , т.е. в момент времени 1 с ДБ находится в пространственной точке 1 м. Получается, что на индексе $\sup 1_{ot} = 1$ с истинно предложение «Следом ДБ является пространственный интервал 1_{cs} », но на индексе 1_{ot} это предложение ложно, ведь в те-

чение 1_{ot} ДБ еще не прошел пространственный интервал 1_{cs} полностью. Понятно, что для любого i_{ot} из S^{∞}_{ot} $\sup i_{ot} \notin i_{ot}$. Интуитивно, предложение S истинное на темпоральном интервале, истинно в мире, часы которого показывают не *момент* времени, а *интервал* времени, прошедший с 0 с, т.е. на часах такого мира светится какой-либо интервал i_t из S^{∞}_t , или из любого другого множества всех темпоральных интервалов, начинающихся в 0 с, вплоть до определенного интервала.

Следующее положение указывает, при каком условии можно сделать заключение о **НеЛокализуемости** объекта, т.е. о том, что объект не находится в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени:

(НЛ) Если какой-либо движущийся прямолинейно со скоростью 1 м/с по интервалу 1_{os} в течение 1_{ot} объект o существует на каком-либо индексе i_{ot} из S^{∞}_{ot} , то o не локализован (не существует) на индексе i_{ot} в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени.

Я понимаю «Существование на Индексе», о котором идет речь в (НЛ), следующим образом:

(СИ) Для любого объекта o и индекса α объект o существует на индексе α ете объект o принадлежит домену индекса α или конструируется (в конечном счете) из элементов домена индекса α .

Следует заметить, что точечный движущийся по 1_{os} в течение 1_{ot} ДБ не находится на индексе 1_{ot} какой-либо точки пространства. ДБ находится в определенной точке только в определенные моменты времени или на индексах, являющихся замкнутыми справа темпоральными интервалами.

В следующем положении утверждается необходимое условие **Истинности** предложения на Индексе:

(ИИ) Если для какого-либо индекса α $\alpha \models R(a, b)$, то на индексе α существуют a и b .

Понятно, что из (Редук1), (Редук2), (НЛ), (СИ) и (ИИ) **нельзя сделать вывод**, что на индексе 1_{ot} ДБ существует, но не находится в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени. Я полагаю, что такое заключение передает в развернутом виде основной аргумент Е.В. Борисова [7. С. 30–31], демонстрирующий существование ДБ на некоторых индексах вне времени и пространства (т.е. существует, но не находится в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени), но остается необоснованным в [5, 6]. Ключевой момент рассуждения, показывающего недоказанность того, что на индексе 1_{ot} ДБ существует, но не находится в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени, состоит в том, что о движущемся равномерно и прямолинейно точечном ДБ можно сказать, что он *вообще не существует* на индексе 1_{ot} – т.е. не находится в какой-либо точке пространства и в каком-либо моменте времени и не существует каким-либо способом вне времени и(или) пространства, не существует вообще, – поскольку этот тезис совместим с перечисленными выше положениями (Редук1), ..., (ИИ).

Однако ситуация с недоказуемостью существования ДБ вне пространства и(или) времени существенно меняется, если по-прежнему рассматривать равномерное прямолинейное движение точечного ДБ в течение 1_{ot} , но задаться вопросом о том, на каком индексе происходит упругое столкновение ДБ с замкнутой непроницаемой стеной, расположенной на интервале [1 м, 2 м], в результате чего ДБ отскакивает от стены и движется в обратном направлении.

Случай 2. Столкновение точечного ДБ с замкнутой стеной

Пусть точечный ДБ движется точно так же, как и в Случае 1: слева на право, с постоянной скоростью 1 м/с по пространственному интервалу 1_{os} . Но, в отличие от Случая 1, в конце пути ДБ поджидает непроницаемая и не сдвигаемая стена, такая, что столкнувшийся с ней точечный объект упруго отскакивает от нее (ДБ также является непроницаемым). Стена расположена на пространственном интервале $[1 \text{ м}, 2 \text{ м}]$. Допустим, что ДБ движется по 1_{os} по инерции, не меняет импульс, энергию и пр., иначе как в соответствии с законами классической физики, учитывающими упругое столкновение. Назовем такого ДБ «отскакивающим ДБ». Поведение отскакивающего ДБ на всех темпоральных индексах из $S^{\subseteq}$, кроме 1_{ot} , целиком совпадает с поведением ДБ в Случае 1, т.е. описывается положениями (Редук1) и (Редук2), использующими функции f и f^{ic} .

Зададимся вопросом: каким будет поведение отскакивающего ДБ на темпоральных индексах $[0 \text{ с}, t \text{ с}]$ и $[0 \text{ с}, t \text{ с}]$, где $1 \text{ с} \leq t \leq 2 \text{ с}$? Поскольку признаются законы классической физики, учитывающие упругое столкновение и непроницаемость ДБ и стены, отскакивающий ДБ отскочит от стены и будет двигаться в обратном направлении. Это означает, что в течение любого темпорального интервала $(1 \text{ с}, t \text{ с}]$ отскакивающий ДБ пройдет в обратном направлении (т.е. по направлению к точке 0 м) пространственный интервал $(1 \text{ м}, f_{rev}(t) \text{ м}]$, а в течение любого темпорального интервала $(1 \text{ с}, t \text{ с})$ отскакивающий ДБ пройдет в обратном направлении пространственный интервал $(1 \text{ м}, f_{rev}(t) \text{ м})$, где $1 \text{ с} < t \leq 2 \text{ с}$, а f_{rev} – функция из $(1 \text{ с}, 2 \text{ с}]$ в $(1 \text{ м}, 2 \text{ м}]$, $f_{rev}(t) = t$. До сих пор все понятно и не вызывает затруднений.

Теперь поставим вопрос: по какой причине ДБ изменил направление движения? Вероятно, единственный приемлемый ответ – «в результате взаимодействия (столкновения) со стеной». Но в какой момент времени это взаимодействие случилось? Для каждого момента времени из 1_{ot} имеется момент, в котором ДБ находится ближе к стене. Следовательно, взаимодействие не случилось ни в один из моментов времени из 1_{ot} . Далее, для каждого момента времени из $(1 \text{ с}, 2 \text{ с}]$ также имеется момент, в котором ДБ находится ближе к стене. Следовательно, взаимодействие не случилось ни в один из моментов времени из $(1 \text{ с}, 2 \text{ с}]$.

Допустим, что взаимодействие произошло в момент 1 с, или на индексе 1_{ct} . Иначе говоря, можно записать: $1_{ct} \models R(\text{ДБ}, \text{Стена})$, где двухместный предикат R – «_взаимодействует с_». По (ИИ), ДБ существует на индексе 1_{ct} . Но в какой точке пространства находится отскакивающий ДБ в момент 1 с? Поскольку стена и ДБ непроницаемы, ДБ не может находиться в точке 0 м. Находиться же в любой другой точке ему не позволяют законы классической механики. Следовательно, в этом случае ДБ на индексе 1 с (или на индексе 1_{ct}) существует, но не существует в какой-либо точке пространства (но существует в момент времени 1 с). При этом ДБ в течение темпорального интервала 1_{ct} прошел пространственный интервал 1_{cs} , и следом ДБ на индексе 1_{ct} является пространственный интервал 1_{cs} .

Но можно допустить, альтернативно, что взаимодействие отскакивающего ДБ со стеной произошло на индексе 1_{ot} . Иначе говоря, можно записать: $1_{ot} \models R(\text{ДБ}, \text{Стена})$, где двухместный предикат R – «_взаимодействует с_». По

(ИИ), ДБ существует на индексе $1_{от}$. По (НЛ), в этом случае на индексе $1_{от}$ ДБ существует, но не существует ни в один момент времени и ни в одной точке пространства.

Общий Вывод из анализа Случая 2 можно сформулировать следующим образом.

(BC2) Отскакивающий ДБ существует на индексе $1_{от}$ и(или) на индексе $1_{ст}$. Если ДБ существует на индексе $1_{от}$, то он не существует ни в один момент времени и ни в одной точке пространства. Если ДБ существует на индексе $1_{ст}$, то он не существует в какой-либо точке пространства.

Из (BC2) следует (T2).

Ответ на критику Е.В. Борисова

Е.В. Борисов утверждает, что в анализируемой в [5] Четвертой Истории (1) не содержатся *основания* в пользу принятия двойной онтологии (т.е. в пользу несуществования во времени и пространстве точечного равномерно движущегося ДБ на некоторых этапах его движения), но, напротив, (2) принятие двойной онтологии является *предпосылкой* для возможности (т.е. непротиворечивости) рассматриваемой истории [4. С. 18]. С тезисом (2) я вынужден согласиться. Что же касается тезиса (1), то я подразумевал, что *основанием* для принятия двойной онтологии является наше *желание* рассматривать такие истории как возможные. Если такого желания нет, то основания в пользу принятия двойной онтологии, действительно, отсутствуют. Также отмечается, что из-за неоднозначности глагола «передавать» в моем рассуждении имплицитно содержится порочный круг: доказывая существование ДБ вне времени и пространства, я неявно опираюсь на то, что он существует вне времени и пространства [4. С. 19–20]. Это замечание весьма ценно, но оно исходит из трактовки всего рассуждения в Четвертой Истории как *доказательства* того, что ДБ на некотором этапе существует вне времени и пространства. Между тем эта история просто описывает ситуацию, для признания которой возможной требуется двойная онтология.

Замечу, что положение (BC2), на мой взгляд, является хорошим основанием для введения двойной онтологии для описания отскакивающего ДБ. Это основание состоит не в *желании признать возможной произвольную историю*, признание которой невозможной не подрывает какие-либо значимые теории, но в *желании признать возможной элементарную теорию столкновения* объекта со стеной, скорректировать которую не представляется возможным; признание такой теории невозможной оставляет нас без теории столкновения, что мне представляется крайне *нежелательным*. Такое же хорошее основание для (T2), которым в Случае 2 является (BC2), отсутствует как в историях из [6. С. 82–83], так и в произвольно порождающих мультионтологии историях Е.В. Борисова [4. С. 19].

Следующее возражение Е.В. Борисова связано с трактовкой ДБ в [6] как мереологической суммы проявлений ДБ на темпоральных интервалах, причем каждое проявление является некоторым синглетоном. Я признаю, что такая трактовка ДБ неудачна. В настоящей статье я не предлагаю теории относительно того, что представляет собой пребывающий во времени объект: эта теория была бы избыточна для решения вопроса о том, пребывает ли ДБ

на некоторых этапах своего движения (или на некоторых индексах) вне пространства и времени. Для решения этого вопроса достаточно проанализировать условия истинности предложения «ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} », что я и пытался сделать в настоящей статье. Это избавляет меня от необходимости отвечать на следующие вопросы, поставленные Е.В. Борисовым в [4. С. 20]:

– Какой именно элемент содержится в проявлении ДБ на том или ином интервале?

– Как именно определяется операция мереологического сложения на множествах?

– Как из отдельных проявлений складывается целый объект?

– Как о синглетоне, который есть проявление ДБ на темпоральном интервале 1_{ot} [0 с, 1 с), может утверждаться, что он *прошел* пространственный интервал 1_{os} , ведь приписывание характеристик пространственно-временных объектов, которые связаны с изменением, абстрактным объектам (в том числе синглетонам) выглядит как категориальная ошибка?

– Каковы истинностные условия утверждений, приписывающих свойства целому объекту или его отдельным проявлениям?

Что касается последнего вопроса, то истинностные условия релевантных обсуждаемой теме утверждений в настоящей статье уже обсуждались выше, см., например, истинностные условия предложения «ДБ равномерно прошел 1_{os} в течение 1_{ot} », задаваемые в (Редук1) и (Редук2).

Один вопрос Е.В. Борисова из [4. С. 20] заслуживает особого внимания:

– Если ДБ является белым на интервале $[0; 0,1]$ и серым на интервале $(0,1; 0,2]$, то можно ли ему приписать какой-то цвет на интервале $[0; 0,2]$?

Как я уже писал в настоящей статье, ДБ имеет свойства на индексах. Индексами могут быть как моменты времени, так и темпоральные интервалы, начинающиеся с 0 с включительно, открытые или закрытые справа. Таким образом, предложение «ДБ является белым на интервале $[0; 0,1]$ » допустимо, и оно совместимо с предложением, приписывающем ДБ любой цвет на интервале $[0; 0,2]$, тогда как предложение «ДБ является серым на интервале $[0,1; 0,2]$ » недопустимо.

В настоящей статье я показал, что даже теория движения, признающая (Редук1) и (Редук2), не способна противостоять выводу о нелокализуемости отскакивающего ДБ в пространстве и времени на этапе своего отражения. В следующей статье я намерен показать, что имеются хорошие основания в пользу неприемлемости (Редук1) и (Редук2), и тогда для альтернативной теории движения даже равномерно движущийся ДБ из Случая 1 окажется нелокализуемым в пространстве и времени на определенных этапах своего движения.

Список источников

1. Берестов И.В. Зенон Элейский в современных переводах и философских дискуссиях. Новосибирск : Офсет ТМ, 2021. 206 с. (Сер. Античная философия и классическая традиция. Приложение к журналу СХОАН. Т. V).

2. Берестов И.В., Вольф М.Н., Доманов О.А. Аналитическая история философии: методы и исследования: коллективная монография. Новосибирск : Офсет ТМ, 2019. xvii, 242 с.

3. Benacerraf P. Tasks, Supertasks, and the Modern Eleatics // Zeno's Paradoxes / ed. by W.C. Salmon. Indianapolis : Hacklett, 2001. P. 103–129. (Originally published in 1962).

4. Борисов Е.В. Мультионтология под ключ // *Respublica Literaria*. 2023. Т. 4, № 2. С. 17–21. doi: 10.47850/RL.2023.4.2.17–21
5. Берестов И.В. Как Ахиллес с Гектором разминулся: затруднение в теории движения, разводящей прохождение открытого интервала и его замыкания // *Respublica Literaria*. 2022. Т. 3, № 4. С. 5–26. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.5–27
6. Берестов И. В. Ответ оппонентам // *Respublica Literaria*. 2022. Т. 3, № 4. С. 75–98. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.75–98
7. Борисов Е.В. Все-таки они встретились // *Respublica Literaria*. 2022. Т. 3, № 4. С. 28–32. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.28–32

References

1. Berestov, I.V. (2021) *Zenon Eleyskiy v sovremennykh perevodakh i filosofskikh diskussiyakh* [Zeno of Elea in modern translations and philosophical discussions]. Novosibirsk: Ofset TM.
2. Berestov, I.V., Volf, M.N. & Domanov, O.A. (2019) *Analiticheskaya istoriya filosofii: metody i issledovaniya* [The analytical history of philosophy: Methods and research]. Novosibirsk: Ofset TM.
3. Benacerraf, P. (2001) Tasks, Supertasks, and the Modern Eleatics. In: Salmon, W.C. (ed.) *Zeno's Paradoxes*. Indianapolis: Hacklett. pp. 103–129.
4. Borisov, E.V. (2023) *Mul'tiontologiya pod klyuch* [Turnkey multiontology]. *Respublica Literaria*. 4(2). pp. 17–21. doi: 10.47850/RL.2023.4.2.17–21
5. Berestov, I.V. (2022a) *Kak Akhilles s Gektorom razminulsya: zatrudnenie v teorii dvizheniya, razvodyashchey prokhozhdenie otkrytogo intervala i ego zamykaniya* [How Achilles missed Hector: A difficulty in the theory of motion separating the passage of an open interval and its closure]. *Respublica Literaria*. 3(4). pp. 5–26. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.5–27
6. Berestov, I.V. (2022b) *Otvet opponentam* [The answer to opponents]. *Respublica Literaria*. 3(4). pp. 75–98. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.75–98
7. Borisov, E.V. (2022) *Vse-taki oni vstretilis'* [Still, they met]. *Respublica Literaria*. 3(4). pp. 28–32. doi: 10.47850/RL.2022.3.4.28–32

Сведения об авторе:

Берестов И.В. – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник отдела философии Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия). E-mail: berestoviv@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Berestov I.V. – Cand. Sci. (Philosophy), leading researcher of the Philosophy Department of the Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: berestoviv@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.02.2024;
одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 04.02.2024;
approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 128

doi: 10.17223/1998863X/78/3

СМЕРТЬ ЭПИКУРА И ГИЛЬОТИНА ЮМА

Роман Леонидович Кочнев

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, r.l.kochnev@utmn.ru

Аннотация. Анализируется взгляд Эпикура на феномен смерти, согласно которому смерти не следует бояться. Эпикурейский тезис рассматривается как важная составляющая разрабатываемой им этической системы. При обсуждении выдвигаемых контраргументов особое внимание уделяется примеру М. Фишера «Без чувств». Отмечается, что и данный аргумент, и аргументация Эпикура одинаково уязвимы к Принципу Юма. Предлагается уточненная версия эпикурейского тезиса о смерти.

Ключевые слова: Эпикур, смерть, зло, время, Юм

Благодарности: автор признателен участникам секции «Моральная ответственность: коллективная, распределенная, индивидуальная», организованной в рамках XIV Международной конференции НИУ ВШЭ «Мир/миры будущего» (октябрь 2023, Москва), в особенности Артёму Беседину, Константину Фролову и Артёму Юнусову за аргументированную критику. Особая благодарность Андрею Нехаеву и Марине Кочневой за их советы и поддержку.

Для цитирования: Кочнев Р.Л. Смерть Эпикура и гильотина Юма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 26–34. doi: 10.17223/1998863X/78/3

Original article

THE DEATH OF EPICURUS AND HUME'S GUILLOTINE

Roman L. Kochnev

University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation, r.l.kochnev@utmn.ru

Abstract. The article analyzes the famous Epicurus' thesis on death. According to his views, we should not fear death because it does not affect us either during our life or after our death. The research aims to analyze the existing criticism of Epicurus' thesis and formulate a new one. The article considers the embeddedness of Epicurus' thesis in the overall ethical system he was developing. Epicureanism as an ethical thought considers ataraxia – serenity, the avoidance of suffering – in the purpose of our lives. In this sense, minimizing the fear of death allows us not to experience suffering, and so to lead a more morally justified way of life. In a similar way, Epicurus' thesis about death is coupled with his metaphysical views about atoms and their role in our perception. According to these views, sensation in the phenomenological sense is available only to the combination of atoms of body and soul. (It should be noted that in this way Epicurus blocks the idea of rejecting the fear of death, based on the mystical notion of the posthumous existence of the soul. It follows that the concrete moment of death itself is not experienced.) Further discussion focuses on the debate about whether death is a state of affairs. The importance of such an interpretation rests on a fundamental argument against Epicurus' thesis, the deprivation argument. It is based on a very simple idea: death is evil not because it brings negative sensations with it, but because it deprives us of the possibility of feeling, of having new experiences. However, this argument faces certain logical and metaphysical problems within the framework of the argumentation used by Epicurus, namely, the so-called thesis of the temporal localization of harm. A much

more original critique of Epicurus' ideas can be found in a recent paper by Mark Fisher. It proposes a mental experiment "Without Senses", according to which we have a person deprived of physical sensations, but at the same time preserving life in the biological sense. From the perspective of Epicurean theory, this example represents a paradox, while at the same time our practical intuitions are on the side of Fisher's argument. To neutralize this argument, it is proposed to use Hume's famous principle. The main difficulty is that, similarly, this principle does not correspond to Epicurus' thesis in the question itself. A more neutral formulation of Epicurus' thesis is proposed, which could satisfy Hume's principle, on the one hand, while gaining an advantage over Fisher's criticism, on the other.

Keywords: Epicurus, death, evil, time, Hume

Acknowledgements: The author expresses his gratitude to the participants in the section "Moral Responsibility: Collective, Distributed, Individual," organized within the framework of the XIV International Conference of the National Research University Higher School of Economics "World/Worlds of the Future" (October 2023, Moscow), especially to Artyom Besedin, Konstantin Frolov, and Artyom Yunusov for their reasoned criticism. Special gratitude goes to Andrey Nekhaev and Marina Kochneva for their advice and support.

For citation: Kochnev, R.L. (2024) The death of Epicurus and Hume's guillotine. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 26–34. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/3

Среди всего многообразия слов, когда-либо высказанных относительно смерти, особо выделяется тезис Эпикура (ТЭ): «Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее, и дурное заключается в ощущениях, а смерть есть лишение ощущений... когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» [1. С. 130]. Для наглядности представим эти слова в виде аргумента (АЭ):

P1. Прежде чем события (положения дел) случаются, они не влияют на нас;

P2. Смерть – это событие (положение дел);

C1. Смерть не влияет на нас раньше, чем она случается;

C2. Смерть не влияет на нас, когда мы живы;

P3. Когда мы мертвы, на нас ничего не влияет;

C3. Смерть не влияет на нас, когда мы мертвы;

C4. Смерть не влияет на нас и когда мы живы, и когда мы мертвы;

P4. У нас нет разумных оснований бояться события (положения дел), которое не влияет на нас.

Эпикур считал, что, будучи рациональными агентами, мы способны переменить наши интуитивные представления даже по такому предельно личному вопросу, как собственная смерть. Разумный человек сочтет подобное обоснование достаточным и придет к выводу, что смерти не следует желать, избегать или страшиться [1. С. 130]. Именно к подобному выводу (ВЭ) нас подталкивает греческий мыслитель:

C5. Не следует бояться смерти.

В этой статье я попытаюсь подвергнуть сомнению данный вывод. Для этого в первом разделе будет проанализировано место ТЭ в общей этической и метафизической философии Эпикура. В дальнейшем будут рассмотрены наиболее известные контраргументы, которые на разных основаниях оспаривают АЭ. И в конце предложу собственный вариант критики, позволяющей, как мне кажется, уточнить оригинальную мысль, не отрицая ее изначальную направленность.

1. В эпикурейском саду.

Принятие ВЭ не просто в качестве нормы поведения, но как единственного рационально (а значит, и морально) оправданного способа жить оказывается зависимым от обоснованности АЭ. А значит необходимо понять, в чем заключается влияние, оказываемое смертью, и как оно отвергается в контексте эпикурейства.

Первый вопрос, на котором следует остановиться, иронически можно сформулировать как «А кому вообще предстоит умирать?». Оригинальный ответ Эпикура заключается в том, мы представляем собой чувствующий материальный агрегатор, включающий в себя атомы души и тела. Предпочтение, довольно логично, отдается душе, которая супервентна телу (т.е. именно атомы души образуют наши желания, естественные порывы и т.д.). Несмотря на это, специфика данного подхода заключается в отрицании самой возможности существования одних атомов без других [1. С. 98–99]. В этом смысле блокируется широко распространенная религиозная интуиция – избавление от страха смерти через апелляцию к посмертному существованию. Выражаясь в терминах эпикурейства, когда атомы тела перестали существовать, а атомы души продолжают существовать отдельно.

Смерть, согласно ТЭ, представляет собой лишение нас основы нашей личности – чувственных ощущений. А поскольку мы связаны с этим миром посредством ощущений, то их прекращение означает полное и бесповоротное окончание нашего существования, будучи личностями мы не *переживаем* нашу собственную смерть. Подобная трактовка идеально встраивается в эпикурейскую модель этики. В ее основе, как известно, лежит идеал атараксии или безмятежности, которая направлена на избегание страданий. Страдания личности рассматриваются эпикурейцами как моральное зло в чистом виде, которое влияет на нас посредством наших чувственных ощущений. Именно о влиянии такого рода и говорится в Р1. Боль и страдания – это события жизни, данные нам в ощущениях. Однако они не имеют ничего общего со смертью, поскольку она представляет собой отсутствие любых ощущений, как удовольствия, так и страданий. Из этого следует, что у нас нет рационального основания полагать смерть безусловным злом (а тем более «самым ужасным из зол»).

Тит Лукреций Кар, обсуждая ТЭ, добавляет в него интересную аналогию, которую очень часто называют «Зеркальным аргументом». Идея сводится к сопоставлению положения дел до нашего рождения и после нашей смерти, в обоих случаях, как кажется, речь идет об одинаковом состоянии полного небытия, однако небытие-до не представляется для нас чем-то устрашающим, а значит, следует и небытие-после рассматривать (и относиться к нему) точно таким же образом [2].

Несмотря на очевидный терапевтический эффект ТЭ, в литературе можно встретить большое количество формальных замечаний и интересных контраргументов, которые мне хотелось бы проанализировать, чтобы корректнее сформулировать собственное возражение.

2. Определение момента смерти.

Возвращаясь к АЭ, можно заметить, что чуть реже, чем термин «смерть», там встречается слово «влияние». Кажется очевидным, что, говоря о зле, мы имеем в виду его негативное влияние, в этом смысле смерть ничем не отли-

чается от любого другого зла, поскольку она приносит нам страдания, причиняет вред. Но Эпикур обоснованно полагает, что вред может содержаться только в наших собственных ощущениях, таким образом, посылка P1 может быть принята без дальнейшего обсуждения.

Как тогда быть с утверждением C2, что смерть не влияет на нас, пока мы живы? Разве не очевидно, что, желая избежать смерти, мы действуем и будем действовать определенным образом (например, не прыгать с большой высоты без парашюта и(или) знаний, как его использовать и т.п.)? Однако подобный скепсис допустим только в ситуации рассмотрения ТЭ в качестве отдельного аргумента. Будучи встроенным в общий эпикурейский нарратив ТЭ оказывается частью достижения атараксии, поскольку речь идет не о влиянии смерти, а о влиянии наших собственных *мыслей о смерти*. В этой ситуации источник вреда сдвигается со смерти, как некоего события, к нам самим, испытывающим перед ней и ее неизбежностью панический животный ужас.

Но что, если мы рассматриваем смерть не просто как отдельное событие? Кажется разумным предположить, что зачастую нас пугает не сам факт и конкретный момент умирания, сколько *положение дел*, в котором уже не будет меня и моих прижизненных радостей. На это возражение также может навести чередование понятий «событие» и «положение дел» в посылах P1, P2 и P4. А значит, следует рассмотреть смерть как положение дел, лишаящее нас переживаний.

В историю это возражение вошло как Аргумент Депривации, который обычно рассматривается как наиболее сильное возражение против рассуждений Эпикура¹:

Наличие каких-либо переживаний само по себе является для нас благом.

Быть живым – необходимое условие получения переживаний.

Значит, быть живым – это благо.

Смерть – отсутствие жизни.

Значит, смерть – зло.

Первое утверждение постулирует важность наличия переживаний самих по себе, даже если некоторые из наших переживаний являются крайне болезненными. Другими словами, аргумент депривации сводится к простому утверждению: вред может причиняться (а значит, и существовать в метафизическом смысле) не только в наших ощущениях, само по себе *отсутствие ощущения* может быть вредом в том же самом смысле.

На первый взгляд может показаться, что это возражение блокируется Зеркальным аргументом, однако это не более чем риторическая уловка – попытка выдать смерть и наносимый ей вред за аналогичный вред от любого другого зла, которое может встречаться в течение моей жизни.

Допустим, что вы могли бы родиться в 1900 или в 1950 г., между этими двумя датами действительно нет никакого онтологического различия. Совершенно иначе обстоит дело со смертью в 2050 или в 2100 г.² В этом отношении темпоральная расположенность смерти имеет очевидную асимметрич-

¹ Смотри на эту тему [3].

² Пожалуй, наиболее яркой (одновременно с этим достаточно мрачной) иллюстрацией наших повседневных интуиций по этому поводу является смерть гипотетического 8-летнего ребенка и гипотетического 80-летнего пожилого человека. Очевидно, что хотя оба этих события являются при-
сorbными, при прочих равных первый случай кажется нам куда более трагичным.

ную структуру. Здесь уместно использовать аналогию с потерей руки. Несмотря на то, что мне очевидным образом будет причинен одинаковый вред, я предпочту (если темпоральный аспект в моей власти, а само событие неизбежно) лишиться руки как можно позднее. Можно даже расширить этот момент, указав на тот факт, что нам кажется абсолютно рациональным уделять больше внимания будущему и тому, что может в нем произойти (особенно если это нечто хорошее) [4. Р. 165–185], [5. Р. 324–325]. Поскольку мы можем каузально влиять на будущее, нам кажется логичным сосредоточить наши практические рассуждения на будущих возможностях, а не на прошлом, которое мы уже не в силах изменить.

Можно утверждать, что смерть страшит нас именно как определенное положение дел. Однако в таком качестве оно не способно причинять вред (по крайней мере не в ощущениях)¹. Учитывая это, аргумент депривации может быть отвергнут на собственных основаниях АЭ, а значит, и нет необходимости в дополнительных посылках или переформулировании уже существующих.

Защитникам аргумента депривации необходимо или доказать, что положение дел способно причинять вред еще до своего возникновения (что кажется достаточно абсурдным с метафизической точки зрения), либо рассматривать смерть (а значит, и вред, от нее исходящий) исключительно как событие, существующее в *конкретный* момент времени.

Здесь следует подчеркнуть один фундаментально важный момент: ТЭ следует рассматривать в первую очередь как *тезис временной локализации вреда*². Если задуматься, в этой позиции нет ничего противоречивого: даже если мы рассматриваем некое положение дел, как, например, мою длительную болезнь, то связанные с ней переживаний могут быть легко разбиты на конкретные моменты времени, в каждый из которых я ощущаю более или менее сильные страдания³.

До этого времени мы исходили из самоочевидности того факта, что вред может быть только в ощущениях. Именно из-за кажущейся корректности позиции Эпикура по этому поводу ранее, как не требующей дополнительных доказательств, нами была принята посылка Р1. Пришло время поставить данный факт под сомнение.

3. По ту сторону удовольствия.

Предположим, что вы купили лотерейный билет и теперь узнали, что никакой выигрыш вам не светит. Можно ли в этой ситуации говорить, что вам был причинен вред? С одной стороны, нам кажется, что получение выигрыша улучшит положение относительно возможного мира, в котором я остаюсь с имеющимися у меня на данный момент средствами к существованию.

Однако это приводит к крайне контринтуитивному выводу, согласно которому я получаю вред каждый раз, когда я не существую в возможном иде-

¹ Схожую аргументацию можно обнаружить, например в [6–8]. В похожем ключе Тиммерман описывает проблемы для наших попыток рациональных оправданий важности будущего перед прошлым [9].

² В литературе часто можно встретить под общим названием «Проблема привязки во времени» (Timing Problem), подробный обзор возможных позиций представлен в [10], там же описан возможный вариант решения данной проблемы, однако по причинам, которые я не смогу здесь изложить, подобный вариант представляется мне неполным и ошибочным, ср. с [11].

³ Подробнее этот момент описан в [12. Р. 6].

альном для себя мире, т.е. в таком мире, в котором положение дел было бы для меня наиболее благоприятным. В любом другом случае мы можем говорить про опосредованный вред, который я испытываю [13. Р. 69–72].

Совершенно по-другому обстоит ситуация, например, с онкологическими заболеваниями. Интуитивно нам уже не кажется сомнительным утверждение, что вред, причиняемый онкологией, начинается раньше, чем непосредственные страдания, связанные с распространением раковых клеток в организме¹.

Пожалуй, более удачным образом это возражение сформулировал Марк Фишер в примере «Без чувств». Представьте человека, который в результате обширного инсульта потерял возможность испытывать физические ощущения. С точки зрения Эпикура это состояние уже является смертью. В то же время, когда он умрет в биологическом смысле, с ним, как мы полагаем, все равно произойдет нечто плохое (даже несмотря на то, что он уже давно лишен всяких физических ощущений).

Этот пример важен сразу по двум причинам. Во-первых, он указывает на явное упрощение, которое предполагается в посылке P1. Для принятия АЭ нам необходимо согласиться с утверждением, что нормативные события, касающиеся нас, могут существовать исключительно в области наших *физических ощущений*. Из этого следует, что мы как личности, в смысле нашего «внутреннего мира», можем быть последовательно редуцированы к набору отдельных позитивных или негативных восприятий. Однако подобное «зачищение» представляется крайне неоправданным, поскольку в нормативном пространстве мира также существуют планы, идеалы и прочие сложные (или не очень) ментальные состояния, которые, как нам кажется, обладают собственной внутренней ценностью. Такую позицию сложно назвать приемлемой, но ее принятие требуется, чтобы мы могли согласиться не только с P1, но и со всем АЭ.

Во-вторых, важность этого примера заключается в том, как в нем акцентируется внимание на важности нормативного аспекта нашей жизни, в контекст которого и помещается вред (в том числе и причиняемый смертью). Подобный акцент провоцирует обратиться к другому известному философскому высказыванию.

4. Разрезая аргумент.

Пример «Без чувств» сконструирован с конкретной целью – показать, что вред смерти не сводится к испытываемым ощущениям. Одного факта биологической смерти достаточно, чтобы мы признали за ней нечто безусловно плохое. Может возникнуть соблазн отбросить этот контраргумент, указав на ошибку предвосхищенного основания. Однако существует более сильный довод сделать это.

Один из наиболее известных и противоречивых фрагментов работы Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе» содержит в себе «есть/должно» различие (is/ought), которое до сих пор становится причиной объемных ака-

¹ Именно в этом смысле стоит расценивать известные рассуждения Томаса Нагеля о вреде злоключения друзей за моей спиной. Или о нанесении вреда после моей кончины, когда память обо мне будет поругана, а последняя воля останется не исполненной [14. Р. 76]. Также можно услышать мнение, что в данном примере речь идет лишь о принятии деонтологического подхода к этике. В этом случае пример Нагеля говорит об отсутствии плохих последствий непосредственно для нас.

демических дискуссий [15]. Чаще всего в литературе эту проблему можно встретить под названием «Принцип Юма» или «Гильотина Юма».

С точки зрения этого принципа аргументация Фишера является практически эталонным примером, когда из фактической предпосылки (а именно из знания смерти как биологического факта) делается вывод о должном («следует считать смерть вредом»). Мы, если полагаться на мнение Юма, просто не можем аргументированно доказать корректность нормативных утверждений, основанных на фактическом положении дел.

Может показаться, что подобная стратегия защиты играет против позиции Эпикура, поскольку вывод (ВЭ), отрицающий обоснованность страха смерти, напрямую следует из нормативных представлений о вреде¹. Единственным выходом кажется отказ от вывода Эпикура. В этой ситуации мы действительно сможем удовлетворить Принципу Юма. Для этого можно представить С5 в качестве менее радикального утверждения, которое позволило бы сохранить моральную (и метафизическую) нейтральность всего аргумента:

(АЭ*)

P1. Прежде чем события случаются, они не влияют на нас;

P2. Смерть – это событие;

C1. Смерть не влияет на нас раньше, чем она случается;

C2. Смерть не влияет на нас, когда мы живы;

P3. Когда мы мертвы, на нас ничего не влияет;

C3. Смерть не влияет на нас, когда мы мертвы;

C4. Смерть не влияет на нас и когда мы живы, и когда мы мертвы;

P4*. Что на нас не влияет, не важно для нас;

C5*. Смерть не важна для нас.

Выражение «не важно» здесь следует понимать в конкретном смысле, и крайне подробно описано Д. Парфитом в работе с соответствующим названием «On What Matters». В ней Парфит предложил понимать важные факты в качестве оснований, дающих нам причины для действий или побуждающих к ним (reason-giving facts) [16. Р. 31–38]. Другими словами, это нечто, о чем мы заботимся.

В этом значении смерть можно (и следует) рассматривать как абстрактный факт, близкий по своей значимости гибели звезды в далекой галактике. Понимаемая в соответствии с АЭ* смерть просто не может ни мотивировать меня на какое-то действие, ни, напротив, лишить что-либо его значения. Я не могу обоснованно выбрать конкретный способ поведения или отношения к вещам лишь на том основании, что моя жизнь в какой-то момент подойдет к концу.

Данный способ формулировки ТЭ подпадает под то, что Олсон называет радикальным (extreme) эпикурейством [17. Р. 68] позицию, согласно которой смерть не является ни чем-то плохим, ни чем-то хорошим, ни даже просто нейтральным событием. С его точки зрения это создает ситуацию, когда, с одной стороны, я не могу осознанно желать смерти, а с другой – лишает меня оснований ее избегать. И если запрет на добровольную эвтаназию еще можно

¹ Это возражение можно переформулировать даже более сильным образом: позиция Эпикура изначально заключалась в представлении вреда как нормативного факта, рассматривая этот аргумент как исключительно онтологическое высказывание, мы огрубляем и существенно сокращаем оригинальную мысль.

назвать морально неоднозначным, то обоснование отказа от избегания смерти представляет собой серьезную проблему.

Однако и здесь мы возвращаемся к идеям эпикурейства, и мы вполне можем избегать вещей, приносящих нам страдания, поскольку они все еще являются чем-то влияющим на нас. Хотя Эпикур определенно согласился бы с Парфитом по вопросу мотивирующих нас фактов, смерть, как мне удалось показать, очевидно не относится к их числу¹.

Список источников

1. Эпикур. Главные мысли. М. : АСТ, 2022. 224 с.
2. Rosenbaum S. The Symmetry Argument: Lucretius Against the Fear of Death // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1989. Vol. 50, № 2. P. 353–373.
3. Brueckner A.L., Fischer J.M. Why Is Death Bad? // *Our Stories: Essays on Life, Death, and Free Will* / eds. J.M. Fischer. Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 27–36.
4. Parfit D. *Reasons and Persons*. Oxford : Oxford University Press, 1984. 543 p.
5. Belshaw C. Death, Pain and Time // *Philosophical Studies*. 2000. Vol. 97, № 3. P. 317–341.
6. Rosenbaum S.E. How to Be Dead and Not Care: A Defense of Epicurus // *American Philosophical Quarterly*. 1986. Vol. 23, № 2. P. 217–225.
7. Timmerman T. Avoiding the Asymmetry Problem // *Ratio*. 2017. Vol. 31, № 1. P. 88–102.
8. Smuts A. Less Good But Not Bad: In Defense of Epicureanism // *Pacific Philosophical Quarterly*. 2012. Vol. 93, № 2. P. 197–227.
9. Timmerman T. Constraint-Free Meaning, Fearing Death, and Temporal Bias // *The Journal of Ethics*. 2022. Vol. 26, № 3. P. 377–393.
10. Timmerman T. Dissolving Death's Time-of-Harm Problem // *Australasian Journal of Philosophy*. 2022. Vol. 100, № 2. P. 405–418.
11. Johansson J. The Timing Problem // *The Oxford Handbook of Philosophy of Death* / eds. B. Bradley, F. Feldman, J. Johansson. Oxford : Oxford University Press, 2013. P. 255–273.
12. Gilmore C. When Do Things Die? In *The Oxford Handbook of Philosophy of Death* // *The Oxford Handbook of Philosophy of Death* / eds. B. Bradley, F. Feldman, J. Johansson. Oxford : Oxford University Press, 2013. P. 5–59.
13. Suits D. Why Death Is Not Bad for the One Who Died // *American Philosophical Quarterly*. 2001. Vol. 38, № 1. P. 69–84.
14. Nagel T. Death // *Noûs*. 1970. Vol. 4, № 1. P. 73–80.
15. Максимов Л.В. «Гильотина Юма»: Pro et contra // *Этическая мысль*. 2012. № 12. P. 124–142.
16. Parfit D. *On What Matters*. Oxford : Oxford University Press, 2013. Vol. 1. 540 p.
17. Olson E.T. The Epicurean View of Death // *Ethics*. 2013. Vol. 17, № 1/2. P. 65–78.

References

1. Epicurus. (2022) *Glavnye mysli* [Main Thoughts]. Moscow: AST.
2. Rosenbaum, S. (1989) The Symmetry Argument: Lucretius Against the Fear of Death. *Philosophy and Phenomenological Research*. 50(2). pp. 353–373.
3. Brueckner, A.L. & Fischer, J.M. (2009) Why Is Death Bad? In: Fischer, J.M. (2009) *Our Stories: Essays on Life, Death, and Free Will*. Oxford: Oxford University Press. pp. 27–36.
4. Parfit, D. (1984) *Reasons and Persons*. Oxford: Oxford University Press.
5. Belshaw, C. (2000) Death, Pain and Time. *Philosophical Studies*. 97(3). pp. 317–341.
6. Rosenbaum, S.E. (1986) How to Be Dead and Not Care: A Defense of Epicurus. *American Philosophical Quarterly*. 23(2). pp. 217–225.
7. Timmerman, T. (2017) Avoiding the Asymmetry Problem. *Ratio*. 31(1). pp. 88–102.
8. Smuts, A. (2012) Less Good but Not Bad: In Defense of Epicureanism. *Pacific Philosophical Quarterly*. 93(2). pp. 197–227.

¹ Здесь выглядит логичным повторное указание на Принцип Юма, которому на этот раз не соответствует эпикурейская этическая система, взятая целиком. Однако по причинам, выходящим за рамки этой статьи, данный вопрос рассматриваться не будет.

9. Timmerman, T. (2022) Constraint Free Meaning, Fearing Death, and Temporal Bias. *The Journal of Ethics*. 26(3). pp. 377–393.
10. Timmerman, T. (2022) Dissolving Death's Time-of-Harm Problem. *Australasian Journal of Philosophy*. 100(2). pp. 405–418.
11. Johansson, J. (2013) The Timing Problem. In: Bradley, B., Feldman, F. & Johansson, J. (eds) *The Oxford Handbook of Philosophy of Death*. Oxford: Oxford University Press. pp. 255–273.
12. Gilmore, C. (2013) When Do Things Die? In: Bradley, B., Feldman, F. & Johansson, J. (eds) *The Oxford Handbook of Philosophy of Death*. Oxford: Oxford University Press. pp. 5–59.
13. Suits, D. (2001) Why Death Is Not Bad for the One Who Died. *American Philosophical Quarterly*. 38(1). pp. 69–84.
14. Nagel, T. (1970) Death. *Noûs*. 4(1). pp. 73–80.
15. Maksimov, L.V. (2012) “Gil'otina Yuma”: Pro et contra [“Hume's Guillotine”: Pro et contra]. *Eticheskaya mysl'*. 12. pp. 124–142.
16. Parfit, D. (2013) *On What Matters*. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
17. Olson, E.T. (2013) The Epicurean View of Death. *Ethics*. 17(1/2). pp. 65–78.

Сведения об авторе:

Кочнев Р.Л. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, медиа и журналистики Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: r.l.kochnev@utmn.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kochnev R.L. – Cand. Sci. (Philosophy), senior lecturer at the Department of Philosophy, Media and Journalism, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: r.l.kochnev@utmn.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.03.2024;
одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.03.2024;
approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 101.1

doi: 10.17223/1998863X/78/4

НЕОПРАГМАТИЗМ ПРОТИВ ЭПИСТЕМОЛОГИИ: НУЖНО ЛИ БЫЛО КАНТУ СТАВИТЬ ФИЛОСОФИЮ НА БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ НАУКИ

Оксана Ивановна Целищева

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия, oxanatse@gmail.com*

Аннотация. Рассматривается критика неопрагматистом Ричардом Рорти отрицания эпистемологии как автономной философской дисциплины. Основной порок эпистемологии, по Рорти, состоит в том, что наука о познании предполагает отрицаемый прагматизмом дуализм внутреннего и внешнего в описании мира. Показано, что критика Рорти эпистемологии сопряжена с его пренебрежением научным видением мира и принятием им «другой» философии, в которой добродетели объективного познания уступают место языковым герменевтическим процедурам.

Ключевые слова: Рорти, Кант, эпистемология, неопрагматизм, герменевтика

Для цитирования: Целищева О.И. Неопрагматизм против эпистемологии: нужно ли было Канту ставить философию на безопасный путь науки // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 35–45. doi: 10.17223/1998863X/78/4

Original article

NEOPRAGMATISM VERSUS EPISTEMOLOGY: DID KANT NEED TO PUT PHILOSOPHY ON THE SAFE PATH OF SCIENCE?

Oksana I. Tselishcheva

*Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation, oxanatse@gmail.com*

Abstract. The article considers the criticism of negation of epistemology as an autonomous philosophical discipline by the neopragmatist Richard Rorty. The main flaw of epistemology, according to Rorty, is that the science of cognition itself presupposes the dualism of the inner and the outer, the objective world and the human world denied by pragmatism. Among the ways to eliminate epistemology from philosophical discourse, Rorty suggests two types of argumentation: firstly, he declares it a relatively recent “invention” of the 17th century, and, secondly, this invention is due to Kant’s erroneous, from his point of view, setting philosophy on the “safe path of science”. The article examines the reconstruction of Rorty’s argument by a prominent representative of traditional philosophy, Michael Williams, and Rorty’s reaction to it. It is shown that, in his efforts to refute the discrediting of epistemology, Williams did not take into account Rorty’s radicalism. The article demonstrates that such radicalism seeks to eliminate the disciplinary framework in philosophy in order to avoid highlighting epistemology in it. In addition, Rorty rejects the history of philosophy as a series of attempts to deal with a well-known set of problems – ethical, epistemological and metaphysical. Another strategy of Rorty is to closely associate the term “epistemology” with the concept of representation as a copy, or mirror, of something external. Rorty’s efforts to compromise these ideas in his concept of representation as a “Mirror of Nature” are coupled with his thesis that any philosophical

conversation should not appeal to something that goes beyond the problems associated with man, to something external to man. Epistemology in this regard is a violation of this maxim. The article shows that, in his criticism of epistemology, Rorty advocates replacing epistemological cognitive explanations with a vague metaphor of the “conversation of mankind”. Rejecting the strict scientific way of argumentation in philosophy, Rorty places the responsibility for the emergence of epistemology on Kant, who put philosophy on the “safe path of science”. It is noted that it is the neglect of the scientific vision of the world by the pragmatist Rorty that is closely linked to his criticism of epistemology. As a result, Rorty resorts to a “different” philosophy, in which the virtues of objective cognition give way to linguistic hermeneutical procedures.

Keywords: Rorty, Kant, epistemology, neopragmatism, hermeneutics

For citation: Tselishcheva, O.I. (2024) Neopragmatism versus epistemology: did Kant need to put philosophy on the safe path of science? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 35–45. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/4

Эпистемология сейчас находится в центре философского дискурса. Вопросы о том, что мы знаем и как это знаем, сопровождают друг друга, и на определенных этапах истории философии отдается должное каждому из них, включая определенного рода приоритет. Классификация философских дисциплин время от времени претерпевает изменения, но базисные дисциплины вроде метафизики и эпистемологии остаются неподверженными такого вида новым веяниям. Но иногда обычный ход событий нарушается с появлением своего рода «радикалов». Таковым за последние четверть века оказался Ричард Рорти, аргументируя от имени так называемого неопрагматизма. Радикализм в данном случае проявился в том, что Рорти «отменил» эпистемологию как ненужную дисциплину.

Среди множества целей, которые поставил перед собой Рорти при написании своей основной работы «Философия и зеркало природы» [1], одной из наиболее спорных и одновременно впечатливших читающую публику была как раз ликвидация эпистемологии. Поскольку эта дисциплина, наряду с метафизикой, занимает центральное место в философии, неудивительно, что в числе критиков Рорти можно найти не только аналитических философов, но и представителей того, что можно назвать традиционной философией. Атака на эпистемологию со стороны Рорти была двусмысленной в том отношении, что эпистемология обсуждалась в двух контекстах: во-первых, она была частью той традиции, которая привела к рождению аналитической философии, бывшей его главной мишенью, и, во-вторых, она оказалась излишней во взгляде Рорти на ту деятельность, которая называется вообще философией. Осторожность в косвенном упоминании философии объясняется тем, что «смерть» эпистемологии одновременно, по Рорти, означает смерть и философии, и, стало быть, аргументы против эпистемологии есть аргументы и против философии. Тогда непонятно, как можно говорить в рамках философии об отсутствии необходимости в ней. Помимо этого, атака неопрагматиста Рорти на эпистемологию рассматривает, среди прочих тем, и роль Канта как ее «изобретателя», а также возникновение эпистемологии в результате рождения науки Нового Времени.

Главное возражение Рорти против эпистемологии заключается в отказе прагматиста признать унаследованные от традиционной философии дуализмы, вроде явления и действительности, духа и материи и т.д. Одним из таких

дуализмов является противопоставление мира человеческих интересов и мира внешнего к ним. Рорти полагает, что сама идея чего-то «внешнего» по отношению к человеку является продуктом эпистемологии, которая имеет дело с познанием этого «внешнего», и тем самым является лишней в прагматистской философии, с ее недовольством традиционными дуализмами. Действительно, Д. Дьюи в ряде рассмотрений не разделяет субъект и объект, полагая их частью целого в процессе приспособления человека во «внешней» среде. Рорти доводит эту точку зрения до завершения; в результате философия, которая должна говорить о месте человека в мире, заменяется им просто «разговором человечества». Этот разговор в некотором смысле спонтанен, являясь просто «кибицированием», т.е. свободным обменом мнений людей после тяжелых сельскохозяйственных работ в кибуцах.

Но просто недовольство существованием эпистемологии как философской дисциплины не является аргументом, и Рорти выстраивает целую цепочку аргументов, которые призваны «дискредитировать» эпистемологию в ряде аспектов. Во-первых, он объявляет ее относительно недавним «изобретением» XVII в., и, во-вторых, это изобретение обязано ошибочной, с его точки зрения, постановке философии Кантом на «безопасный путь науки».

В «техническом» отношении эпистемология, согласно Рорти, опирается на концепцию познания как систему репрезентаций, поскольку репрезентация предполагает отображение, или отражение чего-то внешнего, или в формулировке Рорти является «зеркалом природы». Так что атака Рорти на эпистемологию включает случайный характер возникновения эпистемологии, влияние Канта в ассоциации философии с наукой, критику самой идеи репрезентации. Но Рорти не ограничивается «техническими» проблемами с пониманием концепции репрезентации, соотнося ее с более широким контекстом взаимодействия философии и Новой науки XVII в. и задавая кардинальный вопрос – каким образом философия вообще выжила на «безопасном пути науки», куда ее направил Кант.

Поскольку эпистемология лежит в центре философии, она должна была бы существовать с тех времен, как родилась в более или менее отчетливом виде сама философия. Поэтому критика эпистемологии должна в определенном смысле отделить ее от философии «вообще», или более конкретно – от метафизики. Именно это делает Рорти, говоря об «изобретении» эпистемологии как гораздо более позднем проекте в философии, который изменил и саму философию. Проект, согласно Рорти, прошел несколько стадий, достигнув зрелости на этапе аналитической философии.

Реконструкцию видения Рорти становления эпистемологии можно представить в виде ряда положений. Один из наиболее удачных примеров такой реконструкции представлен Уильямсом [2], чья последовательность в описании шагов Рорти в отрицании эпистемологии полагается нами приемлемой концептуальной канвой, позволяющей проследить не только собственно извилистый путь эпистемологии, но и не менее извилистый путь философии самого Рорти. Такой способ нельзя принять безоговорочно, но этот угол зрения дает возможность раскрыть противоречивые мотивы в желании Рорти избавиться от эпистемологии. Используя эту канву, мы предлагаем свое видение этой проблемы.

Прежде всего Уильямс полагает, что Рорти привязывает эпистемологию к понятию репрезентации: «Полагание знания как нечто такого, что представляет проблему, и о котором следует иметь „теорию“, является продуктом взгляда на познание как на ансамбль репрезентаций – взгляда, свойственному XVII веку» [2. Р. 192]. Этот пассаж Уильямса указывает на два решающих «хода» Рорти. Во-первых, это привязка к конкретному времени, а именно к XVII в., и, во-вторых, выведение на сцену центральной концепции «зеркала природы» Рорти. Именно это «зеркало», с его точки зрения, является ошибочным взглядом, «испортившим» значительную часть дальнейшей философии. Второй тезис в реконструкции Уильямсом аргументации Рорти касается дихотомии достоверного знания и мнения.

Изобретение ума Декартом – слияние им вер и ощущений с идеями Локка – дало философии новый «старт». Оно обеспечило философии поле исследования, которое казалось «более веским» (*prior*) в отношении вещей, по которым древние философы имели лишь мнение. Далее оно обеспечило поле, в котором стала возможность достоверных утверждений (*certainty*) в противоположность мнению [2. Р. 192].

Но здесь упускается из виду типичная амбивалентность Рорти. С одной стороны, он как прагматист не особо чтит мнения традиционных философов, но, с другой стороны, ему «обидно» за них из-за появления того, что ведет к созданию эпистемологии. И конечно же, важно понимать, что именно «мнения» соответствуют контингентности как важнейшей, с точки зрения Рорти, характеристике мира человека.

Третий тезис касается разделения науки о человеке и науки о природе. Это, пожалуй, одно из наиболее важных для Рорти событий в истории философии. Широко принятое в настоящее время разделение на *Geisteswissenschaften* и *Naturwissenschaften*, или *Humanities* и *Sciences*, или гуманитарные науки и науки естественные, Рорти считает глубоко ошибочным, имеющим корни, согласно Уильямсу, в «...превращении Локком изобретенной Декартом концепции ума в „науку о человеке“ – моральной философии в противоположность натуральной философии» [2. Р. 192].

Стремление Рорти к устранению эпистемологии исходит из излишнего характера такого разделения уже по той причине, что сама идея чего-то внешнего по отношению к человеку является неверной. Все, с чем человек имеет дело, как бы то ни звучало солипсистски, ограничено его интересами, будь то идеи, язык или социальные практики. Можно обвинить Рорти в откровенно прагматистской тенденции в этом вопросе, а можно приписать влиянию лингвистической философии. В самом деле, редактору знаменитой антологии «Лингвистический поворот» [3] вряд ли удалось избавиться от соответствующих доктрин полностью. В любом случае, «языковой» характер многих философских проблем подчеркивался Рорти на протяжении всей его философской карьеры. Интересно, что побочным результатом отрицания дихотомии наук явилось довольно слабое представление Рорти о естественных науках и их функций в человеческом знании. Более того, ему свойственно зачастую свехупрощенное видение их роли как просто средства предсказания явлений. В этом смысле вполне понятно предпочтение Рорти видения науки в социологическом ключе, как это имеет место в случае Т. Куна [4].

Четвертый тезис напрямую увязывает эпистемологию с исследованием того, как работает ум человека. Декарт полагал, что такая работа основана на эпистемическом доступе к мыслям. Вопрос о том, какова природа этого доступа, не был тщательно сформулирован в терминах дихотомии априорное/эмпирическое. Это обстоятельство до сих пор является источником многих расхождений в эпистемологии. Исторически, полагал Рорти, случилось так, что еще до того, как эпистемология обрела более четкие очертания, она оказалась не-эмпирической дисциплиной. Само понятие *a priori*, которое было практически в ходу еще во времена античных философов (хотя под другими названиями), приобрело особую значимость, и полемика рационалистов с эмпиристами выдвинула на первый план необходимость обоснования именно априорного знания.

Пятый тезис касается кардинального вклада Канта, который Рорти рассматривает с точки зрения окончательной легимитизации эпистемологии как зрелой науки. Она происходила на фоне вложения Кантом «внешнего пространства» во внутреннее пространство. Под первым имелся в виду мир вещей-в-себе, а под вторым – пространство трансцендентального эго. Выдвижение на первый план эпистемологии заключалось в том, что картезианская достоверность внутреннего мира переносилась на внешний мир. Таким образом, познание объектов внешнего мира оказалось априорным в том смысле, что эти объекты конструируются умом, или разумом. Ум в смысле Локка оказывался разумом Канта, и человеческое понимание оказалось в ведении «мифического» предмета трансцендентальной психологии, или эпистемологии уже в зрелом ее виде.

Фактически общепризнанный кантовский синтез эмпиризма и рационализма, в терминологии Рорти, превращается в «помещении внутреннего пространства во внешнее». Картезианская достоверность внутреннего пространства оказывается добродетелью того, что называется наукой. Именно в этом смысле Кант направил философию на «безопасный путь науки». Именно при таком «безопасном» пути философии первостепенное значение приобретает эпистемология. Таким образом, хотя эпистемология имеет корни в античной философии и в философии Нового Времени, именно Канту она обязана привилегированному статусу в самой философии.

Удивительно то обстоятельство, в какой степени этот статус противоречит нынешнему ньютоновскому пониманию науки как экспериментального предприятия. В самом деле, «внутренний мир» Канта – это сфера априорного, и эпистемология имеет дело с конструированием объектов в соответствии с априорными установками. Хотя априоризм Канта в XX в. является предметом атак и критики практически со всех сторон, априоризм эпистемологии до определенной степени выжил, несмотря на энергичные попытки «натурализации эпистемологии», которая стала особенно популярной стратегией благодаря Куайну [5].

Но именно априорный статус эпистемологии позволил ей претендовать на основания науки. Именно здесь лежат претензии философии как «царицы наук». В самом деле, сама кантовская идея «конституирования» объектов делает их существование «заложником» разума, который ответствен, в свою очередь, за порождаемые им знания. Конечно же, в дальнейшем эпистемология претерпела значительные изменения, и привлечением психологии и эм-

пирических способов получения знания, но согласно шестому тезису Уильямса общий надзор за структурой знания эпистемология оставила за собой.

Но что, собственно, подразумевается под такого рода надзором? Седьмой тезис касается более серьезной роли эпистемологии, а именно более общего вопроса – как вообще возможно наше знание? В этом смысле эпистемология возобновляет связь с постановками этого вопроса античными философами. «Уточнение» Кантом этого вопроса имеет множество коннотаций, некоторые из которых приобретают программный вид для целых отраслей знания. Действительно, вопрос «как возможна чистая математика?» с ответом о «синтетическом априори» характером математических истин породил целые исследовательские программы как позитивного, так и негативного отношения к априорному знанию. Как свидетельствует А. Коффа, «К худу ли, к добру ли, но почти каждое существенное философское направление начиная с 1800 года было реакцией на Канта. Это особенно верно в отношении априорного знания... Его „Коперниканская революция“ дала ему теорию опыта и неоплатонистское объяснение *a priori*... Кант открыл понятие синтетического *a priori* суждения и увидел в нем вполне привлекательный способ формулирования своего проекта в виде того, как возможны такие суждения» [6. С. 10]. Вот эта самая реакция является демонстрацией центрального положения эпистемологии в центр всей философии. Восьмой тезис представляет собой взгляд Рорти о том, что основой «центральности» эпистемологии является понимание ума как «зеркала природы», а самого знания – как совокупности репрезентаций.

В целом все восемь тезисов буквально воспроизводят взгляд Рорти на происхождение эпистемологии как основы нынешнего состояния философии, которому он противопоставляет свою, «другую» философию, очерченной в его главной книге [1]. Однако слабость такой реконструкции атаки Рорти на эпистемологию состоит в том, что Уильямс упускает из виду радикализм прагматистской установки в отношении традиционной философии, от лица которой выступает Уильямс. Это видно, например, из понимания Рорти преемственности философских проблем.

В самом деле, критики Рорти обратили внимание на его слишком свободное обращение с понятием «эпистемология», которое гораздо ближе к метафоре, чем к точному понятию, как в отношении концепции, так и дисциплины. Самый первый вопрос к Рорти касается подразумеваемого им отсутствия эпистемологии античной философии: древними греками ставились многие вопросы о возможности познания, и давались многие ответы на них. И первое подозрение закрадывается при естественном вопросе – что же имеет в виду Рорти, когда он отказывает в значимости традиционным вопросам о природе знания до рождения собственно «эпистемологии», скажем, в диалогах Платона. Тут есть значительный простор в объяснениях, от самых радикальных вариантов до вполне умеренных. Собственно, самые радикальные исходят от самого Рорти. Можно вообще полагать, что вопросы, которые задавал Платон, это не те вопросы, которые обсуждаются со времен «рождения» эпистемологии, и поэтому апелляция, скажем, к античной философии является незаконной: между двумя философскими эпохами лежит пропасть, что-то вроде несоизмеримости в духе Куна (правдоподобность этого предпо-

ложения обосновывается известной приверженностью Рорти к концептуальной машинерии Куна).

Радикализм этих предположений выводит их за пределы более правдоподобных версий ответа Рорти, что он все-таки имеет в виду под эпистемологией, если отказать античным мыслителям в ней. Тем не менее в качестве фона они должны фигурировать, даже принимая во внимание, что Рорти сам был скрытым иронистом. Что касается более серьезной трактовки Рорти эпистемологии, тут есть опять-таки две стратегии. Одна сводится к тому, что сам термин «эпистемология» является лишним в философском дискурсе. Рорти говорит: «Если бы я сейчас писал Зеркало, я все сделал бы для того, чтобы избежать слов „метафизика“ и „эпистемология“. Я постарался бы рассказать историю, полную ссылок на доминирующие метафоры и образы, и не упоминал бы различия между двумя дисциплинами. Поскольку названия дисциплин предполагают понимание истории философии, я старался отвергнуть историю философии как серию попыток иметь дело с известным множеством проблем – этических, эпистемологических и метафизических» [7. Р. 214].

Другая стратегия состоит в тесной ассоциации термина «эпистемология» с понятием репрезентации как копии или зеркала чего-то внешнего. Усилия Рорти скомпрометировать эти представления в «Философии и зеркале природы» сопряжены с рядом вещей, которые он постоянно повторяет во множестве своих работ. В частности, он уверяет, что любой философский разговор не должен апеллировать к чему-то, что выходит за пределы проблем, связанных с человеком, к чему-то внешнему по отношению к человеку. Эпистемология в этом отношении является нарушением этой максимы уже просто по определению.

В некотором смысле цель Рорти состоит в том, чтобы проследить, насколько этот проект является источником многих затруднений в современной философии, и попытаться осуществить «рассасывание» этих проблем демонстрацией того, что проект оказался в значительной степени противоречивым и путанным. Кроме того, ему надо объяснить не только то, какие причины вызвали к жизни эпистемологию, но и как она оформилась, можно сказать, «с нуля». Система категорий и понятий нынешней эпистемологии является довольно обширной, и если эпистемология, по Рорти, родилась в XVII в., тогда у нас два варианта объяснения нынешнего концептуального ее богатства: либо весь ее концептуальный аппарат был изобретен заново, так сказать, с чистого листа, либо он являет собой естественный продукт роста из предшествующей философии, т.е. метафизики до XVII в. В первом случае стремление Рорти к устранению эпистемологии будет попыткой опрокидывания всей ее концептуальной структуры, и в этом смысле все это будет похоже на смену парадигм в духе Т. Куна. Только в этом случае старую парадигму эпистемологии нечем, по Рорти, заменять. Во втором случае объяснение должно быть более погруженным в историю уже не только философии, но и в целом человеческой культуры. Вполне понятно, что оба случая не являются «чистыми», переплетаясь в ходе более сложного и запутанного процесса, контингентного по своему характеру.

Например, самое знаменитое определение Рорти философии как «разговора человечества», с одной стороны, является настолько необычным, что явно претендует на то, чтобы быть своего рода парадигмой, и значит быть

примером первого рода объяснения. С другой стороны, сопутствующая при этом апелляция к герменевтике говорит о выходе за пределы собственно философии, приемом, который позднее приведет Рорти к определению философии как культурной политики. «Разговор человечества» явился результатом попытки замены точных объяснений, свойственных эпистемологии, герменевтической процедурой, свойственной прежде всего религиозному дискурсу.

Любопытным следствием такого разделения типов объяснения является запутанная ситуация с критикой позиции Рорти. Если речь идет об опрокидывании парадигмы, связанной с рождением эпистемологии, тогда необходимо вовлекать в разговор то, какая именно парадигма при этом опрокидывается, скажем, парадигма философии как смеси метафизики и эпистемологии. Но тогда оказывается, что Рорти, желая обойтись без эпистемологии вообще, обязан объяснять особенности старой парадигмы. Если же объяснение имеет дело с выходом за пределы собственно философии, тогда Рорти выходит за пределы каркаса собственно философского дискурса. Запутанность ситуации состоит в том, что предпочтительный с первого взгляда для Рорти первый тип объяснения оказывается «удобным» для его критиков, а вот предлагаемый, опять-таки с первого взгляда, для критиков Рорти второй тип объяснения лишается статуса философского дискурса.

Общепринято считать, что Декарт начал новый этап в философии, который напрямую ассоциируется с эпистемологией как дисциплиной или же теорией. Поэтому критика картезианства является одним из важных положений Рорти. Любопытным обстоятельством является то, что Рорти не считал Декарта, как ни странно, важной фигурой, и вообще, по воспоминаниям Гойса, готов был читать курс истории философии, где «главные фигуры» заменены «второстепенными» [8]. Естественно, при таком подходе «изобретение» эпистемологии изображается не как прогресс в европейской философии, а как серия контингентных шагов, в частности, в замене картезианской достоверностью мнений, с которыми имели место предшественники.

Пожалуй, наиболее важным «обвинения» эпистемологии со стороны Рорти является ее априорный характер. Здесь Рорти идет в двух направлениях. С одной стороны, эпистемология как дисциплина явилась результатом замены «физиологии человеческого понимания» (как она присутствует у Локка) «трансцендентальной психологией» (как она понимается Кантом). С другой стороны, этот процесс «вызревания» эпистемологии напрямую сопряжен с разделением знания на науки и естественно мире и науки о человеке. Именно в последнем Рорти видит первородный грех эпистемологии. Сама ее идея соотношения «внутреннего» мира и «мира внешнего» явилась поводом для провозглашения одними философами приоритета внешнего над внутренним, а другими – внутреннего над внешним. Рорти не особо заинтересован в вопросах приоритета в этой области, потому что для него сама идея разделения является ошибкой.

Но, конечно, он предпочитает все-таки приоритет внутреннего над внешним. Внешнее, если отбросить историко-философские детали, это внешний мир, мир не-человеческий, и, по Рорти, сама цель эпистемологии, а именно поиск контакта человека в ходе познания с этим внешним, является ошибочной. Кстати, именно этот тезис явился причиной того, что два самых видных релятивиста – Кун и Рорти – не могли найти полного контакта. Все-

таки Кун писал историю физики, а это уже и есть внешнее, чего Рорти не мог принять.

«Нейтралитет» Рорти в отношении приоритета внутреннего над внешним не полностью сбалансирован. Он полагает, что еще одна ошибка эпистемологии состоит в том, что она изначально подразумевает априоризм, что делает эту самую эпистемологию «трибуналом чистого разума». Именно в этом смысле эпистемология приобрела статус оснований для всех познавательных исследований. Между тем Рорти исповедует тезис о контингентности всего проходящего, от исторических событий до естественно-научных открытий. И коль скоро эпистемология привержена априоризму, она должна быть отброшена.

Таким образом, эпистемология, с точки зрения Рорти, должна быть устранена из философии по крайней мере по двум причинам. Во-первых, она не может быть основанием философии, или в более традиционной терминологии – первой философией. Дело в том, что на эту роль претендовали многие философские школы по ходу времени, самого разного толка – от платонизма до сугубо религиозных обертонов философских воззрений. Сами по себе претензии философии на эту роль являются не более основательными, чем у ее исторических «соперников». Во-вторых, эпистемология как дисциплина возникла одновременно с Новой Наукой и фактически является истком традиции, которая помогла науке встать в один ряд с такими аспектами человеческой культуры, как религия и собственно философия. Более того, именно эпистемология в ее нынешнем виде является источником представления о «научной философии» [9].

Как видно, оправданием взгляда Рорти на происхождение эпистемологии в конечном счете служит его обращение к фактам интеллектуальной истории; например, ее этапы перечислены выше. Но Рорти дополняет «датировку» более общим представлением о парадигмальном фоне существования эпистемологии. Общий концептуальный каркас состоит из трех важнейших функциональных характеристик цивилизационного состояния: религия, философия, наука. Рорти описывает три функции следующим образом:

1. Научная имеет дело с вопросом о том, как работают вещи.
2. Религиозная ставит проблему: чего мы должны бояться?
3. Философская задается вопросом: есть ли что-либо нечеловеческое вне нас, с чем мы должны прийти в соприкосновение? [7. Р. 215].

При этом все три элемента являются стадиями в становлении общества: религия сменяется философией, а философия, в свою очередь, сменяется наукой. Трактовка Рорти всех трех вопросов имеет «антропоморфный» характер: если в религии человеческим существам надо определиться, чего нужно бояться, то избавление от такого страха приходит с философией. Она сомневается, что эта опасность с чем-то нечеловеческим исходит извне. Сама идея познания как человеческой процедуры послужила источником эпистемологии. Но затем на смену философии приходит наука, с ее упором на «внешнее», и тогда эпистемология получает поддержку от науки. Это и есть ответ Рорти на задаваемый им же важный вопрос о том, как философия выжила в эпоху Новой Науки.

Ответ Рорти состоит в том, что Новая Наука дала импульс идее репрезентации как медиума, который может исказить или не исказить мир. Это

было заполнением контраста между человеческим и не-человеческим. И здесь на первый план выходит как раз эпистемология. Рорти считает, что «возникновение эпистемологии как первой философии должно рассматриваться как ответ на следующий вопрос: как мы можем держать пафос дистанции от чего-то не-человеческого, к которому мы стремимся, но который никогда не можем постичь, даже после того, как открыли для себя приятную добрую идею, как тут могут сработать вещи. Идея ментальных репрезентаций и занавеса идей помогает заполнить нужду в пропасти, которую полагаются преодолеть – нужду, которую язычники заполняли чувством беспомощности перед духами природы, а Христиане чувством Греха» [7. Р. 215–216].

Таким образом, пропасть между человеческим и не-человеческим оказалась потребностью, нуждой для предшествующих науке стадий культуры. Вместо того чтобы стать антагонистами, Новая Наука и философия в лице эпистемологии стали союзниками. Именно это стало по-настоящему новым событием в философии XVII в. И если нужно избавиться от эпистемологии, то лучший путь к этому состоит в том, чтобы обрушиться на идею репрезентации, тогда не будет нужды в пропасти между человеческим и не-человеческим, и «разговора» будет вполне достаточно для философии. Собственно аргументация против эпистемологии, очевидно, показалась Рорти, в силу изложенных выше соображений, не совсем убедительной. Поэтому он, достаточно противоречиво, противопоставляет эпистемологии «другую», по его выражению, философию, главным методом которой является уже не строгая философская аргументация, а герменевтика в духе Гадамера. Это определенно является, в дополнение к другим доводам о недостатках критики Рорти эпистемологии, слабостью в амбициозной атаке прагматиста как на традиционную, так и аналитическую философию.

Список источников

1. *Rorty P.* Философия и зеркало природы / пер. с англ. В.В. Целищев. Новосибирск : Сиб. универ. изд-во, 1997. 320 с.
2. *Williams M.* Epistemology and the Mirror of Nature // *Rorty and his critics* / ed. R. Brandom. Oxford : Blackwell Publishers, 2000. P. 191–213.
3. *Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Methods* / ed. R. Rorty. Chicago : University of Chicago Press, 1967. 393 с.
4. *Кун Т.* Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налетова. М. : АСТ, 2009. 310 с.
5. *Quine W.V.O.* Epistemology Naturalized // *Ontological Relativity and Other Essays*. New York : Columbia University Press, 1969. P. 69–90.
6. *Коффа А.* Семантическая традиция от Канта до Карнапа / пер. с англ. В.В. Целищев. М. : Канон+, 2019. 526 с.
7. *Rorty R.* Response to Michel Williams // *Rorty and his critics* / ed. R. Brandom. Oxford : Blackwell Publishers, 2000. P. 213–219.
8. *Geuss R.* Richard Rorty at Princeton: Personal Recollections // *Arion*. 2008. 15.3 (Winter). P. 85–100.
9. *Rorty R.* Philosophy in America Today // *Consequences of Pragmatism*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. P. 211–230.

References

1. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo.
2. Williams, M. (2000) Epistemology and the Mirror of Nature. In: Brandom, R. (ed.) *Rorty and His Critics*. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 191–213.

3. Rorty, R. (ed.) (1967) *Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Methods*. Chicago: University of Chicago Press.
4. Kuhn, T. (2009) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by I.Z. Naletov. Moscow: AST.
5. Quine, W.V.O. (1969) *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press.
6. Coffa, A. (2019) *Semanticheskaya traditsiya ot Kanta do Karnapa* [The Semantic Tradition from Kant to Carnap]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+.
7. Rorty, R. (2000) Response to Michel Williams. In: Brandom, R. (ed.) *Rorty and His Critics*. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 213–219.
8. Geuss, R. (2008) Richard Rorty at Princeton: Personal Recollections. *Arion*. 15.3 Winter.
9. Rorty, R. (1982) *Consequences of Pragmatism*. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp. 211–230.

Сведения об авторе:

Целищева О.И. – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия). E-mail: oxanatse@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Tselishcheva O.I. – Cand. Sci. (Philosophy), researcher at the Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: oxanatse@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 29.02.2024;
одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 29.02.2024;
approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Original article

УДК 1(091)

doi: 10.17223/1998863X/78/5

BEAUTY FROM SCHOPENHAUER AND NISHIDA TO PLOTINUS AND AL-FARABI

Emile Alexandrov

*University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation,
e.aleksandrov@utmn.ru, emile931@gmail.com*

Abstract. This paper distinguishes the cosmological priority of beauty between Plotinus and al-Farabi on the one hand and Schopenhauer and Nishida on the other. The study shows that the former elevated Beauty to the highest degree possible within the threshold of discursive language and thinking, whereas beauty held the penultimate cosmological rank for the latter. Therefore, the paper illustrates the historical transformation of beauty throughout one and a half millennia by studying the philosophy of four significant thinkers. In Schopenhauer, beauty serves as an escape mechanism that guides the human being to turn away from the root cause of all suffering, namely, the will. Schopenhauer's viewpoint here led to his prioritisation of aestheticism over the sciences, for conceptual thought proves incapable of reaching pure cognition. Nishida appropriates Schopenhauer's view to a large degree, although the will is not the root of all suffering for the former, but an impulsive force that one must assimilate with to reach the same end: pure experience. Nishida and Schopenhauer differ from Plotinus and al-Farabi in refusing any discourse about an absolute First Principle and its relatability to beauty. For Plotinus and al-Farabi, in contrast, Beauty is the emanating power of the One or First Principle. Based on this emanating power, Plotinus and al-Farabi determined the cosmos to perpetually project Beauty and simultaneously draw all beings back towards it. It is Beauty that serves as the drawing power of the One or First Principle; all beings by nature desire Beauty and attain varying degrees of it. I conclude by showing that for Plotinus and al-Farabi, one seeks Beauty as an end in itself, and in so doing, the perfecting of one's soul ensues as the natural function of the cosmos.

Keywords: beauty, Plotinus, Schopenhauer, Nishida, al-Farabi, pure experience, will, Platonic Ideas, chōra, basho

For citation: Alexandrov, E. (2024) Beauty from Schopenhauer and Nishida to Plotinus and al-Farabi. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 46–67. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/5

Научная статья

КРАСОТА ОТ ШОПЕНГАУЭРА И НИСИДЫ ДО ПЛОТИНА И АЛЬ-ФАРАБИ

Эмиль Александров

*Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия,
e.aleksandrov@utmn.ru, emile931@gmail.com*

Аннотация. Утверждается, что Плотин и аль-Фараби относят красоту к высшему космологическому уровню, используя дискурсивный язык и мышление, в то время как Шопенгауэр и Нисида рассматривают красоту как явление низшего порядка. Таким образом, статья демонстрирует историческое преобразование в понимании красоты на протяжении полутора тысячелетий.

Ключевые слова: красота, Плотин, Шопенгауэр, Нисида, аль-Фараби, чистый опыт, воля, Платоновские Идеи, хора, Басё

Для цитирования: Alexandrov E. Beauty from Schopenhauer and Nishida to Plotinus and al-Farabi // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 46–67. doi: 10.17223/1998863X/78/5

Introduction

This paper explores beauty's cosmological priority in Plotinus (204/5–270) and al-Farabi (870–950) onward to Schopenhauer (1788–1860) and Nishida (1870–1945). I show that the former elevated Beauty to the highest cosmological degree possible within the constraints of discursive language and thought, whereas beauty held the penultimate cosmological rank for the latter¹. Moreover, the motivating factor of this paper is based on the fact that each of the four philosophers in this study represents an unprecedented inter-civilisational contribution to the history of philosophy while adopting crucial Platonic elements. Beginning with Schopenhauer, we see the first European philosopher to incorporate major features of Oriental thought into his system. Schopenhauer's philosophy, as he admitted, would not be possible without his synthesising Kant, Plato and the Upanishads. In Schopenhauer's system, the ultimate end of beauty is to end human misery. Beauty allows one to turn away from the cause of human suffering in the will to reach a pure will-less cognition.

As such, Schopenhauer valued aesthetics over concepts, for only the previous can express the beauty rooted in the Platonic *Ideas*. We then move to Nishida, the founder of the Kyoto School of Japan and the first Japanese philosopher to integrate Western and Eastern philosophy into Japanese thought. Nishida and Schopenhauer are broadly commensurate regarding beauty's cosmological rank. Despite Nishida's reformulation of Schopenhauer's will, both affirm that beauty allows one to overcome subjectivity and reach a pure cognition or experience. Contra Schopenhauer, Nishida did not advocate abolishing the will since he saw the will as nothing more than a blind and impulsive force that one must assimilate with for pure experience to eventuate. Like Schopenhauer's will-less cognition, beauty is a prerequisite for achieving Nishida's pure experience. In sum, both Nishida and Schopenhauer value beauty primarily for its potential to overcome subjectivism; beauty is a stepping stone for reaching the pure experience of God (or nothingness) for Nishida or abolishing the will for Schopenhauer.

Schopenhauer's and Nishida's views of beauty contrast fundamentally with Plotinus'. Considered the founder of Neoplatonism, Plotinus was not just a distinctive innovator of Plato's writings but a master syncretist of late Antiquity who unified a host of leading traditions not exclusive to the Greek world. For Plotinus, Beauty is the central function and principle that operates at all levels of the cosmos. Unlike Schopenhauer and Nishida, Plotinus saw Beauty as the *end in itself*. Plotinus based his argument on the premise that the ubiquitous Good is identical to Beauty itself, meaning that Beauty is cosmologically ubiquitous. We then turn to al-Farabi, the father of Islamic Neoplatonism and systematic philosopher of the Islamic world. Like Plotinus, Nishida, and Schopenhauer, al-Farabi was a preeminent inter-civilisational philosopher who incorporated Greek

¹ In keeping with the translations of primary sources, I capitalise Beauty and Intellect for Plotinus and al-Farabi only.

and Islamic world insights into his philosophy. Central to al-Farabi's system, however, is the Neoplatonism that he exercised by prioritising the emanating Beauty of the First Principle. The consistency between Plotinus and al-Farabi is observable in their positioning of the One or First Principle at the apex of the cosmic order. For both Plotinus and al-Farabi, Beauty is present at all levels of hierarchical cosmology, and the soul perpetually desires the Beauty of the First Principle. In al-Farabi's view, beauty also emanates at all levels of the cosmos, simultaneously drawing all beings to the source in the perfect Beauty of the First Principle. I conclude by describing al-Farabi's Neoplatonic alternative to Nishida and Schopenhauer; one's perfecting the soul is the human being's ultimate end and natural function of the Beauty of the cosmos.

Why From Plotinus and Al-Farabi to Schopenhauer and Nishida?

Beauty was a vital feature of the philosophies of Schopenhauer and Nishida. Schopenhauer willingly appropriated Plato's *Ideas* for his determination of beauty as an essential feature of his thought. For Schopenhauer, wisdom's attainment comes with intuiting the Platonic *Ideas* since they are the foundation of genuine knowledge, where one "increasingly grasps every essence according to its true nature, and his deeds, like his judgment, correspond to his insight" [1. P. 83]. "The divine Plato" was the ground for Schopenhauer's attainment of pure cognition through beauty, art and asceticism. Schopenhauer's beauty experience is an "awareness of Platonic ideas", a mirroring of Plato's use of reason to transcend the world of matter and apprehend said *Ideas* [2. P. 186–187]. As the general editors of the new Cambridge translation of *Die Welt als Wille und Vorstellung* noted, Schopenhauer was driven by a "Platonic vision of escape from empirical reality into a realm of higher knowledge" whilst also being the first European thinker to seek unity with Eastern thought to do so [1. P. viii]. Schopenhauer's Eastern influences have received comprehensive scholarly attention, showing his masterful synthesis of Eastern and Western ideas. Schopenhauer was perhaps one of the first inter-civilisational philosophers of the European tradition. As Bryan Magee observed, Schopenhauer was the only prominent European philosopher to orient himself seriously towards Hindu and Buddhist thought, further noting that Schopenhauer admitted his philosophy could not come about "until the Upanishads, Plato and Kant were able simultaneously to cast their rays into one man's mind" [3. P. 418–419].

Similarly, scholars consider Nishida the founder of the Kyoto School, the first Japanese philosopher to build a bridge between Western and Eastern thought, and the first to introduce phenomenology to Japan [4. P. 147]. Nishida drew upon the Ancient Greeks, patristic and scholastic philosophy, Neoplatonism and even the Medieval mystical tradition [4. P. 39]. Nishida engaged with Schopenhauer early in his career, praising Schopenhauer's idea that volition, not the intellect, was the true sense of the self. Nishida praised Schopenhauer's pure intuition (*reine Anschauung*) for being deeper than Hegel's alternative that had *Intellekt* as the core [4. P. 74, 85]. Nishida was also indebted to Plato, capitalising on several Platonic insights and themes such as the 'Good, Beauty and Truth'. Nishida also adopted Plato's *chōra* of the *Timaeus* to reformulate Buddhist nothingness into his theory of "basho". Despite not fully endorsing classical Platonism, Nishida continued to appropriate Plato's *Ideas* in his later thinking [5. P. 126–129]. Perhaps this is most

clearly observed in Nishida's subscription to a transcendent mode of thinking in the apprehension of beauty. Nishida's tacit Platonism invoked criticism from Nishida's student and successor of the Kyoto School, Hajime Tanabe. Tanabe chastised Nishida's affinity with Plotinus and specifically targeted Nishida's "self-determination of absolute nothingness" for being the same as Plotinus' procession. For Tanabe, Nishida's acceptance of Plotinian Beauty was problematic since Plotinus' "cultivation of beauty as eidetic harmony" had nothing to do with the "Other-power" of absolute nothingness [6. P. 209]. As a former student and regular editor of Nishida's works, Tanabe's rejoinder clearly shows Platonism's influence on Nishida.

While Schopenhauer and Nishida may be the 'first' inter-civilisational philosophers of the European and Japanese traditions, similar achievements must be attributed to Plotinus and al-Farabi. In the case of the founder of Neoplatonism, more recent scholarship has moved away from characterising Plotinus as a 'new' Platonist who merely expounded upon Plato's ideas idiosyncratically without recourse to other trains of thought¹. Plotinus was a seminal syncretist and, capitalising on his inheritance of the "Platonist Orientalism" of the first centuries CE, Plotinus exhibited a philosophy with ideas traceable to Egyptians, Magians, Chaldaeans, Zoroastrians and Indian Brahmins [9. P. 98–101]. While Plotinus' Orientalism is difficult to evaluate, in Porphyry's account, Plotinus became keenly interested in the philosophy practised by the Indians and Persians following Ammonius of Saccas' tutorship ([10] *Life of Plotinus*, §3: [7–25])². Plotinus pursued his interest by participating in Emperor Gordian's unsuccessful expedition to Persia to study these philosophies [12. P. 17–18]. Despite Plotinus' failure to reach Persia and barely escaping with his life, scholars regularly find parallels between Plotinus and the Upanishads, suggesting interaction at some level [13. P. 27–43]. Other scholars showed that Plotinus' ideas resemble those found in Buddhist and Hindu mysticism, indicative of 'influences' rather than 'parallels' [14. P. 101–120]³. Also considered the father of 'mysticism', Plotinus is a preeminent figure of late Antiquity philosophy that advanced the determination of Beauty well beyond the scope envisaged in Plato's dialogues. Principally, Plotinus' cosmological priority of Beauty and the Good is where he diverges from Schopenhauer and Nishida.

A consonant view of Beauty is observed six centuries later in al-Farabi, another figure known for several achievements. Al-Farabi was the first systematic Islamic philosopher and logician, the composer of an Islamic political treatise, and, arguably, the first Islamic Neoplatonist [16. P. vii–viii]⁴. As a system builder, al-

¹ Neoplatonism as a label for Plotinus and his followers was coined by Joseph Brucker's *Historia Critica Philosophiae* of the 1740s. Brucker used Neoplatonism as a label to distinguish between Middle and Neoplatonism; the latter he viewed as a distortion of Plato [7. P. 166–200]. For a recent challenge of Brucker's view, see the late Alexander Mazur's exemplary study of Platonizing Sethians' influence on Plotinus in [8].

² For a more recent study of Plotinus' Orientalism that some argue results from Émile Bréhier's findings in the 1928 *La philosophie de Plotin*, see [11. P. 77–99].

³ The subject matter of whether there is any demonstrable oriental influence on Plotinus is not without scholarly controversy. See [15. P. 13–30].

⁴ Abu Ya'qub al-Sijistani, a contemporary of al-Farabi, is a significant figure of early Islamic Neoplatonism. However, al-Sijistani's work was related to incorporating Neoplatonism into the Ismaili sect of Islam rather than philosophy as a discipline. Given that they were contemporaries, it is most likely the case, as one scholar argues, that al-Farabi had a direct personal influence on al-Sijistani [17. P. 30–39].

Farabi developed an Islamic philosophy with a Neoplatonic scheme by drawing upon Plotinus, Proclus, and other crucial Ancient Greek figures. Furthermore, Al-Farabi demonstrated an interdisciplinary philosophy that incorporated many ideas within and outside the subject matter of philosophy¹. A self-professed follower of the ‘two sages’ (Plato and Aristotle) and following his Neoplatonism, al-Farabi assigned Beauty to the perfection of the First Principle, the highest status of his cosmology. Beauty was like Plotinus, fundamental to the order of the cosmos. This exemplification of Beauty shows al-Farabi’s assimilation of Aristotelian philosophy with Platonic Ideas [16. P. 36–39]. Al-Farabi’s ‘harmonisation’ characterises the First Principle as the ultimate Beauty that is self-contemplated and self-manifest [18. P. 122]. Al-Farabi’s First Principle essentially ‘remains’ within the Beauty of itself.

This introductory survey shows that by the time of Schopenhauer and Nishida, Beauty was demoted to a ‘lower’ cosmological status. While Schopenhauer and Nishida attribute great importance to the contemplation of beauty, they do not associate beauty with the One or the First Principle, for they do not advance anything like the One or the First Principle. Hence, the importance of this study is its disclosure of the historical transformation of Beauty from first-millennium philosophy to post-Enlightenment thinking. While these philosophers certainly share common traits and in some way incorporate Platonic insights, the conclusions reached differ substantially. This disparity involves several factors, such as historical situations, traditions, etc. However, it is beyond the scope of this paper to investigate thoroughly. To briefly comment, beauty is conflated with aesthetics in the post-Enlightenment era, where Schopenhauer’s contributions are widely evident. Beauty, to risk oversimplification, is transformed from a fundamental principle of the cosmos into works of art. This yet-to-be-investigated historical condition undoubtedly shaped the views of both Schopenhauer and Nishida, including the former’s influence on the latter. Therefore, distinguishing between a post- and pre-Enlightenment understanding of beauty is not unfounded. Without further ado, then, we turn to Schopenhauer’s study of beauty.

Schopenhauer’s Beauty

Beauty remains an essential but sometimes underappreciated aspect of Schopenhauer’s thought. Schopenhauer’s focus on beauty closely ties into his ostensible ‘pessimism’ regarding the world of representation². For some, such as Heidegger, Schopenhauer’s pessimism corresponds to Plato’s own neglect of the world of appearance in favour of the eternal world of *Ideas* [20. P. 231; 21. P. 237–239]. What Heidegger may have overlooked, however, is that Schopenhauer’s take on the Platonic *Ideas* is interdependent with his view of beauty’s omnipresence within the world of representation. In Schopenhauer’s account, beauty is an expression of Platonic *Ideas*; everything is beautiful to some degree since everything expresses an *Idea* [22. P. 135–136]. The underlying basis for Schopenhauer’s understanding here is unity. Instead of separating the intellect from matter, much like those who segregate the *Ideas* from the world of appearance, for Schopenhauer, “the intellect and matter are correlatives, i.e. that the one exists only

¹ For example, see [16. P. 123–128] for al-Farabi’s contribution to music.

² Pessimism as a philosophical discipline has recently gained traction, with Schopenhauer serving as a central figure. Eugene Thacker is one prominent figure of philosophical pessimism [19].

for the other, that the two stand and fall together” [1. P. 19]. Echoing a tenet of Neoplatonism, the unity of intellect and matter shows that the *Idea* is only “shattered into the plurality of particular things through the sensuously and cerebrally determined intuition of the cognising individual” [1. P. 383]. Despite the world being a product of the world as representation, beauty remains omnipresent therein, lest we recognise it as such. For Schopenhauer, beauty is realisable in aesthetic or pure contemplation, which he described as the “will-less subject of cognition [*willenloses Subjekt des Erkennens*] – the correlate of the *Idea*” [23. P. 390]. In other words, ‘realising’ the *Idea* corresponds with Schopenhauer’s pure cognition.

The starting point for Schopenhauer’s cosmology begins with navigating the world’s representation to experience the *Ideas*. To realise the *Ideas*, we must overcome being a subject that perceives an object and become a “pure subject”, the “clear mirror of the object” [23. P. 201]. Nishida adopts Schopenhauer’s view here, as we will soon see, but in Schopenhauer’s (Platonic) distinction, the *Ideas* are eternally unchanging and immutable, albeit coextensive with the world. Apprehending the *Ideas*, however, requires a ‘will-less’ consciousness unrestricted by subjective representation. Schopenhauer made the case that ideas emerge in art (or the artistic genius’s work); thus, the distinction between intuition and conceptualisation is paramount¹. The latter is usually associated with the sciences, mathematics, geometry, etc., whereas the former is a product of aesthetic contemplation. Schopenhauer was adamant that the sciences, based on concepts, rigorous logic and reasoning, are not intuitive since conceptualisation remains restricted by sensual appearances. So scientific formulations, concepts and the like cannot be a product of aesthetic genius. Unlike works of art, science cannot distinguish between the *Ideas* and sensual appearances. Just as Plotinus viewed those participating in wars playing ‘child-like’ war dances ([10] *Enn.* 3 (47), §3.2.15: [33–35]), Schopenhauer wrote that it follows that for those who can distinguish between *Ideas* and sensual appearances, “worldly events will not be meaningful in and of themselves, but only to the extent that they are characters in which the *Idea* of humanity can be read” [23. P. 205–206]². The knowers of the *Ideas* will find the world’s representation “like Gozzi’s dramas, always populated by the same characters with the same plans and the same destinies” [23. P. 205–206].

Before we expand further on the apprehension of the *Ideas* in Schopenhauer, we must first unpack the cosmological background of his system. Schopenhauer’s will is the fundamental predicate to all there is, whereas the *Ideas* represent the immutable and unitary background to the world of representation. However, one should not misconstrue the *Ideas* as some intermediary constituent between the will and the world of representation; there is no separation between the will and *Ideas*. The *Ideas* are a manifestation of the will, although the will is never apprehendable as such; they differ only based on their entrance into a universal and experiential form. Despite the will’s completely utter inaccessibility, it remains one with the *Ideas* and the fundamental origin inextricably bound to the *Ideas*. To be clear, the *Ideas* are the *experienceable mode of the will*. While a keen reader may start to

¹ Schopenhauer dedicates a whole chapter to distinguishing between intuition and conceptualisation entitled *On the Relation of Intuitive to Abstract Cognition*, see [1. P. 76–97].

² The similarity between Schopenhauer and Plotinus likely points to the latter’s influence on the former.

draw parallels between Plotinus' One and Intellect and Schopenhauer's will and *Ideas*, Schopenhauer's distinguishing factor is his refusal of any First Principle or One, of which more on in a moment. The *Ideas* themselves are beyond the reach of conceptual thinking, which is why Schopenhauer approved allegories for intuiting the *Ideas*, for allegory is a work of art [23. P. 263]. Insofar as the allegory successfully portrays intuitive truth and insight outside of concepts, it is of artistic value in expressing the *Ideas*. In echoing a Platonic point of view, Schopenhauer claimed that the "transition from Idea to concept is always a descent" [23. P. 264]. As we will see later, transitioning into lower states of awareness is consistent with Plotinus' description of his descent into acts of 'calculation', a passage that al-Farabi understood to be crucial ([10] *Enn.* 4 (6) §4.8.1: [1–11]). With this brief overview of his will and *Ideas*, we can better understand the place of beauty in Schopenhauer's thought.

Beauty's Omnipresence

For Schopenhauer, there are no varying levels of being, segregated eternal worlds or dualism of any sort. Beauty is always manifest since it is a correlate of both intellect and matter. To advance this insight further, Schopenhauer expounded upon nature's inherent beauty and its power to transport one from subjective cognition to aesthetic contemplation: "Nature has this obliging character, a significance and clarity in its forms that enables the *Ideas* individuated in them to address us readily" [23. P. 225]. In close resemblance to Plotinus' depiction of a musician "transported in the direction of that which is beautiful", Schopenhauer stressed that this is incumbent upon a shift in awareness, whereby "it is only the beautiful that affects us, and the feeling of beauty that is aroused" [23. P. 225; 10. (*Enn.* 1 (20) §1.3.1: [20–25])]. While omnipresent, beauty remains out of reach of subjectivism. Schopenhauer's distinguishing between beauty and subjectivism underpins his distinction between the scientist and the artist. The scientist, in effect, does not apprehend beauty in regular scientific work since the former is a transformative experience that dissolves one's subjectivism. Therefore, beauty's apprehension is akin to intuitive thinking, a pure, will-less contemplation. In contrast to subjectivism being the driving force behind regular cognition, the will-less cognition of beauty negates all subjectivism; it "posits the pure cognising subject at the same time as, and inseparably from, the cognition of the Idea as object" [23. P. 237].

Moreover, these modes of apprehension of beauty vary, for "aesthetic pleasure will depend on whether the intuitively apprehended Idea is a higher or lower level of the objecthood of the will" [23. P. 237]. Beauty is apprehendable at varying levels of intuition, with the will-less cognition representing beauty's highest form "because the *Ideas* apprehended here are only the lower levels of the objecthood of the will" [23. P. 237]. Here, Schopenhauer leads us to a more profound understanding of beauty. Despite manifesting itself in the world of representation, beauty is *a priori* to experience as such [23. P. 247]. To clarify his position, Schopenhauer challenged the Aristotelian conception of beautiful works as an aggregate of symmetrical parts forming a composite and ordered whole¹. The artist

¹ Aristotle's passage in question is as follows: "those who assert that the mathematical sciences say nothing of the beautiful or the good are in error... The chief forms of beauty are order and symmetry and definiteness, which the mathematical sciences demonstrate in a special degree ([24] *Met.* [5]. [1078a36–1068b1]).

instead recognises the *Ideas* inherent to all beings that make beauty manifest; it is “as if he *understands nature’s half-spoken words*, and then clearly enunciates what nature only stutters, imprinting in solid marble the beauty of the form that nature fails to achieve after a thousand attempts” [23. P. 248]. It is here we see the crucial connection; beauty is the *Idea*; anticipating the *Idea* reflects the “prescient anticipation of beauty” [23. P. 249]. So, in intuiting beauty, the artist enters a state of pure contemplation that ‘frees one’ to anticipate the omnipresent *Ideas*. In this pure cognised state, the artist becomes so enamoured by beauty that he is free from all subjectivism [23. P. 417].

Struggling for the Sublime

Schopenhauer distinguished between two ways of reaching a pure cognised state: the beautiful and the sublime (*das Erhabene*). While everything in the world is beautiful in some way and all beings express the *Ideas*, Schopenhauer maintained that the beautiful and the sublime are two ways of intuiting the *Ideas*. The sublime differs in that it is an abrupt experience occurring after an artist’s perpetual struggle to manifest the *Ideas*. Essentially, the sublime follows perseverance; “the state of pure cognition is gained only by means of a conscious and violent tearing free [*gewaltsames Losreißen*] from relationships between the same object and the will” [23. P. 226]. In contrast to the beautiful, the sublime must be sustained and accompanied by a constant recollection of general human willing [Ibid.]. Again, while similar to the beautiful in that it also reaches a pure will-less cognition, the sublime involves a conscious effort to overcome the object and turn away from the will as a prerequisite. Additionally, the sublime arises in recognising aspects of nature that can overwhelm us, i.e., the snowy mountain, desert landscape, or the moon that “produces a sublime effect on us because it moves along without any relation to us, eternally foreign to earthly activity, and sees everything but takes no interest in anything. Here we are forced to recognise our finitude, our utter helplessness in the face of nature’s power” [1. P. 392].

The struggle to contemplate our finitude in proximity to nature’s awesomeness has resulted in the great tragedies of poetry and drama. Such works of art do not belong to the “feeling of beauty but rather to the feeling of the sublime; indeed, it is the highest pitch of this feeling” [1. P. 450]. Like the moon forcing us to recognise our finitude, tragedy shows the “terrible side of life, the misery of humanity” [1. P. 450]. Thus, tragedy exposes us to the suffering inherent to life, forcing us to turn away from the will to the sublime and renounce the will to life. Since suffering is the prerequisite, a sense of pain mixed with pleasure that tears one away from the will defines the sublime. While similar in that both turn us away from the will, the pain and suffering associated with the sublime in tragedy also make us aware that “something else remains in us that cannot be recognised positively but only negatively as that which does not will life” [1. P. 450]. For Schopenhauer, this explains our enjoyment of what is opposed to our will, namely the tragedy of life. We recognise this enjoyment and affirm that the will cannot afford us happiness but can only lead us to awaken to the fact that life is little more than a ‘difficult dream’.

Thinking and Will in Nishida

Scholars have regularly studied Schopenhauer’s influence on Nishida, especially regarding the latter’s view of beauty and the will [25. P. 45–60; 26.

P. 127–137; 27. P. 13–26]. One demonstrable link is between Schopenhauer's pure cognition and Nishida's 'pure experience' in *An Inquiry into the Good* of 1911. In this early work that propelled him into fame as Japan's preeminent twentieth-century philosopher and founder of the Kyoto School, Nishida presented a philosophy of human consciousness based on an appropriation of an expansive array of Western thinkers. Amidst Nishida's extensive recruitment of prominent Eastern and Western ideas, Schopenhauer's will features prominently in his study of beauty. As scholars have noted, the period of 1911–15 was the first of four transformative stages in his lengthy career, often called Nishida's psychologistic period.¹ In fact, Nishida's study of beauty harks back to some of his earliest writings, such as his 1900 essay *An Explanation of Beauty* [29. P. 211–217]. In this short work, Nishida resounded a Platonic theme by describing the experience of beauty as incumbent upon divine inspiration. The faculty of thought does not grant access to the truth of beauty, for "it is intuitive truth" that comes as a "sudden stimulus from the depths of the heart" [28. P. 216–217]. This intuitive truth that Nishida described remains inexpressible in words; it eventuates when "we have separated from the self and become one with things. In other words, it is a truth seen with the eyes of God" [29. P. 217].

These inchoate insights were developed further in *An Inquiry into the Good*, with pure experience serving as the background to beauty, a state of consciousness where the subject and object are in complete unity before the subject-object separation [30. P. 3–4]. For Nishida, the moment of pure experience is a "simple fact" that is distinguishable from regular experience; there is no difference between internal and external experience here; "what makes an experience pure is its unity" [30. P. 5–7]. Nishida's compatibility with Plotinus' unified thinking of the intellect is worthy of note, but Schopenhauer's influence is more important.² Nishida reformulated Schopenhauer's will to describe it as always functioning in the present, a unifying activity representing consciousness's internal and apperceptive aspects [30. P. 8].³ Nishida also diverged from Schopenhauer on the relation between pure experience and the will: "Pure experience is an animated state with maximum freedom in which there is no gap between the demands of the will and their fulfilment" [30. P. 8]. For Nishida, consciousness's activity peaks in pure experience following the unifying action of the will, *not* in its negation [30. P. 8]. In essence, the will for Nishida is demonstrative of the attentiveness of consciousness itself, which peaks in a unified state: "Schopenhauer's pure intuition without will is not a special ability of a genius, but rather our most natural, unified state of consciousness" [30. P. 32].

Like Schopenhauer, however, Nishida's determination of the will must be distinguished from thinking since thinking is governed by its own laws and is

¹ The other three are the voluntaristic period of 1917–23, the epistemological period of 1924–32, and the dialectical (or historical-cultural) period of 1934–45 [28. P. 7]. Michiko Yusa described the four stages as a transition from "pure experience", to "self-consciousness" to "the topos (or field)" to "the absolutely contradictorily self-identical dialectical world of the one and the many". These phases reflect Nishida's aim to free himself from any dogmatic point of view and exercise self-lessness, or thinking "free of ego" [4. P. xix].

² As Masao Abe, the translator of this volume, wrote in the introduction, Plotinus' influence would become even more pronounced in Nishida's later writings, leading to criticism by Hajime Tanabe, the second major figure of the Kyoto School [30. P. xxii].

³ Nishida placed a footnote to §54 of Schopenhauer's *Die Welt als Wille und Vorstellung*, on this page.

“completely outside the will” [30. P. 10–11]. Nishida effectively prioritised thinking over the will, for the latter is “nothing more than the experience of shifting from one mental image to another” [30. P. 21]. For this reason, Nishida claimed that thinking is “completely voluntary, whereas the impulsive will is thoroughly passive” [30. P. 22]. In so doing, Nishida advanced the notion of thinking’s superiority, although the thinking he had in mind is a pure experience where thinking and experience are identical; “there is no absolute distinction between them” [30. P. 19]. So, for Nishida, pure experience reflects an all-encompassing unity, and reiterating Schopenhauer’s contention, it is altogether outside of abstract concepts:

Though truth lies in unity, the unity is not a unity of abstract concepts. True unity lies in direct facts. Perfect truth pertains to the individual person and is actual. Perfect truth therefore cannot be expressed in words, and such things as scientific truth cannot be considered perfect truth. The standard of truth is not external, for it lies in our state of pure experience [30. P. 26].

In associating pure experience with unified thinking, Nishida syncretised his interpretation of Platonism with a modified Schopenhauerian will. Nishida thence surmised that the ‘completion and development’ of the will is simultaneous with the completion and development of the Self, that is, the highest Good [30. P. 125]. To be clear, the highest Good, *apropos* the fulfilment of the will, symbolises the perfect self-development of the human being. By drawing on Schopenhauer’s description of nature’s beauty, Nishida correlated beauty to human development. The emergent Beauty of the sprouting bamboo plant resembles the beauty of innate talents emerging from a person. In other words, just as nature manifests beauty from itself, the human being’s development reveals that the “concept of good approaches that of beauty” [Ibid.]. Essentially, Nishida found one can attain beauty non-objectively in pure experience and self-development.

Nishida’s Path to Beauty

From the earliest years of his career, Nishida challenged any assumption that thinking could be individual or subjective; there was no fundamental distinction between the “I” and “We”, as proposed by Durkheim. Instead, Nishida saw an absolute unity at the base of all I and We [31. P. 197–199]. One of the ways that Nishida formulated his argument was by correlating beauty with pure experience. Since pure experience precedes the subject and object dichotomy in Nishida’s conceptualisation, intentional thinking is necessarily derivative of pure experience, not vice versa. Thus, two points emerge in Nishida’s cosmology of beauty. Firstly, Nishida associated the greater unity underpinning pure experience with God: “God, the unity of the universe, is the base of this unifying activity” [30. P. 82–83]. God ties into the second point; Nishida proclaimed that God’s unifying activity of pure experience reflects a joyful experience that encompasses oneself and others in an experience of “infinite love, joy, and peace” [Ibid.]. God, in Nishida’s view, “adorned the world with opposites as in a beautiful poem; and just as shadow increases a picture’s beauty, the world is—when seen with insight—beautiful even while including sin” [30. P. 143]. In other words, God is the underlying unifier of consciousness; “God is to be compared to the state of pure experience wherein there is no subject-object split, no I-thing dichotomy. Ultimately, God is the unifier of pure experience” [4. P. 98–99]. Once again, the pure experience that overcomes subjectivism consummates in the beauty of God’s unity.

The unity of beauty proved essential for Nishida's later thought in *The Intelligible World* of 1928, *The Unresolved Issue of Consciousness* of 1927 and *Basho* of 1926, all a part of his 'epistemological period' [32. P. 69–145; 33. P. 49–102]. However, following his earlier judgement in *An Inquiry into the Good*, Nishida remained adamant that thinking cannot be fundamentally subjective in these later works. This foundation made Nishida question the unificatory basis of beauty during the 1920s, ultimately grounding said unity in the "intelligible world" where the *Idea* of beauty is 'placed'. For Nishida, we can only reach the intelligible world starting with intentional thinking en route to transcend all intentionality [32. P. 80]. Here, we see Nishida's pure experience of his formative years impacting his understanding of transcending the intentional self in *The Intelligible World*. The resulting transcended Self enters a world of intelligible being whereby the will is overcome: "In the uttermost depth of our will there is something which transcends and resolves even the contradiction of the will. This something has its place in the 'intelligible world' " [32. P. 81].

Beauty in the intelligible world is beyond 'even the contradiction of the will' itself. In transcending the self, one enters the universal of self-consciousness, allowing an artistic intuition of the *Idea* of beauty [32. P. 113]. This way, Nishida saw the intelligible world as the place of beauty's *Idea*, however, the latter does not at all enter the horizon of knowledge because that which sees itself in artistic intuition has transcended the abstract standpoint of the consciousness-in-general and directly sees the content of the intelligible Self. Beauty is the form of appearance of the *Idea* itself; it is only in artistic intuition that we have an intuition of the *Idea*; only the beautiful is a visible representation of eternity on earth [Ibid.].

The *Idea* of beauty in the intelligible world is outside any horizon of knowledge, for it requires the dissolution of subjectivity as a prerequisite. Therefore, beauty is inherently non-discursive; it precedes intentionality in its 'place' in the intelligible world. Again, consistent with Nishida's earlier characterisation in *An Inquiry into the Good*, apprehending the beauty of the intelligible world remains a harmonious experience¹.

The non-discursive imperative of beauty also means that the *Idea* of beauty is fundamentally incorporeal and transcendent. Nishida's intelligible world betrays further Platonic imperatives in the 'intelligible Self', representing the three layers of the *Idea* (Truth, Beauty and the Good) in absolute unity in God [32. P. 136]. Based on these Platonic commitments, Nishida contended that all three could be "comprehended and clarified in their relationship only by looking back into the depth of the noesis" [32. P. 120–123]. Despite this, "only in the case of the idea of beauty can we see an individual idea" [32. P. 121]. "Seeing" the individual *Idea* follows an "intelligible personality which is the last "being" in the intelligible Universal" [Ibid.]. Nishida, this way, appears to be attributing an escalating process for beauty's apprehension vis-à-vis the intelligible world. Central to Nishida's mind is beauty's transcendence of the *subjectum* or ὑποκείμενον in the intelligible world². In other words, degrees of beauty's apprehension vary depending on modes of awareness, peaking in the intelligible world.

¹ Compare [30. P. 143] with [32. P. 117].

² The use of the terms *subjectum* and ὑποκείμενον to challenge subjectivity has become popular after Heidegger's use, see [34. P. 61–67].

Intelligible World, Basho and Nothingness

Nishida's formulation of the intelligible world and basho inevitably culminated in his turn towards 'nothingness' as ground. Like Schopenhauer, Nishida's nothingness exhibits his refusal to posit the First Principle or the ineffable One and is central to beauty's placement in Nishida's cosmology. In the *Basho* essay, Nishida drew upon the Platonic *Ideas* of the *Timaeus* to construct his basho; "I shall call the receptacle of the ideas in this sense, *basho* [*place*; *χώρα*, *chōra*]. Needless to say, I am not suggesting that what I call *basho* is the same as Plato's 'space' or 'receptacle place'" [33. P. 50]. While adopting Plato's *chōra*, Nishida's basho holds a crucial difference. As Krummel explained, the difference is based primarily on Nishida's belief that the Greeks failed to attribute any logical independence to place. So for "Nishida the receptacle is self-determining while for Plato it is that which is determined" [33. P. 186, 188]. While constructing a basho 'theory', Nishida asserted that basho's logical independence must be self-determinable and, therefore, non-theoretical.

Despite basho being the ground from which all thinking and experiencing arise, the foundational unity of all beings that establishes their logical form, basho is not reducible to anything substantive; it is fundamentally abyssal [33. P. 52]. Nishida incurred some criticism due to his paradoxical and obscure characterisation of basho [4. P. 205–209]. In defending Nishida, Krummel reminds us that as the dynamic structure whence all bifurcations emerge, basho intends to overcome binary oppositions such as subject and object, idealism and realism, experience and reality – by grounding cognition [33. P. 5–6]. Effectively, Nishida assimilated the intelligible universal of values to the "final place of absolute nothing" to make abyssal the "un-grounding ground" [35. P. 67].

As this ground, basho is the 'place' that envelops all thinking; it precedes all dichotomies, consciousness and Being itself. Even "emotion-and-volition" would have to be mirrored in basho since all are a phenomenon of consciousness, demonstrative of its indescribability in language [33. P. 53]. This nothingness of basho is Nishida's riposte to Plato's ("place *χώρα* of *Ideas*"), Aristotle's Intellect that thinks itself, and the general Greek failure to "render any logical independence to place" [33. P. 56]. In Aristotle's case, Nishida argued that the Aristotelian grammatical subject cannot deal with the reality of the "self-conscious self" [4. P. 301–302]. Nishida added that even the "One of Plotinus was nothing but what transcends in the direction of the ideas, and the issue of matter remained unsolved" [33. P. 56]¹. In a letter to Mutai Risaku, Nishida explained that when the grammatical predicate becomes identical with the universal, we arrive at nothingness in which even Plotinus' One is contained [4. P. 205]. It proved insufficient in Nishida's mind to merely associate the transcendence of subject and object to the One; the One must have logical placement for a coherent ontology.

¹ As one scholar noted, Nishida's determination of Plotinus' One is based on his questionable understanding of Plato's *chōra*, and from "this starting point, Nishida jumps to the One in Plotinus, attributing to it a 'place' that should be 'the place of absolute nothing' – thereby subsuming Plotinus' philosophy under his own 'logic of *basho*'?" [36. P. 87]. Moreover, Uršič does well to point out that Nishida's reading of Plotinus is based on the dated understanding of Plotinus being predominantly an interpreter of Plato in line with the reading of the Western philosophy of the Modern Age and especially Hegel. However, more recent scholarship – what some refer to as a Plotinus "renaissance" – shows a much more expansive well of resources that Plotinus drew from [36. P. 87–88].

For Nishida, nothingness is this logical determinate place: “The true One must be the place of absolute nothing, something that absolutely cannot be determined as being. Every being would have to be implaced in it and seen by means of it” [33. P. 56]. Therefore, basho is the all-encompassing concrete placed-ness of our being in the world. This way, Nishida’s nothingness of basho that grounds the being of objects, i.e., the *Idea* of beauty can do so without itself being an object¹. Hence, for Nishida, beauty remains unobjectifiable and irreducible to beings without relying on a First Principle².

Notwithstanding some differences, Schopenhauer and Nishida advance consistent formulations of beauty. Perhaps the main exception relates to Schopenhauer’s characterisation of the will, which he famously deemed the source of human misery. For Schopenhauer, salvation from human suffering lies in the abolition of the will, the “*negation of the will to life*” [23. P. 311]³. As we have seen, Nishida reformulated Schopenhauer’s will into a blind, impulsive life force, although not as the root of all suffering. On the contrary, Nishida associated the unity of pure experience with the will – such that there can be no overcoming the will. Instead, we ultimately assimilate with the will in pure experience since the will establishes the unity of consciousness [30. P. 27].

Both nonetheless see the defining feature of beauty as nothing more than an entry point for overcoming the world of representation. The beauty apprehended by Schopenhauer’s will-less subject of cognition or Nishida’s pure experience remains derivative of the greater unity of nothingness. As Schopenhauer wrote, “we confess quite freely: for everyone who is still filled with the will, what remains after it is completely abolished is certainly nothing. But conversely, for those in whom the will has turned and negated itself, this world of ours which is so very real with all its suns and galaxies is – nothing” [23. P. 439]. Schopenhauer’s point of view here betrays his Oriental vantage point that scholars regularly refer to in his writings⁴.

¹ This is traceable to his earlier period, such as in his lecture *Coincidentia Oppositoru and Love* lecture of 1919, where Nishida sought the “logic of unobjectifiable reality” [37. P. 1]. This reaches well into the 1930s, where beauty ultimately led to this abyssal ground. The 1930s showed Nishida’s shift in focus towards the ‘contradictory identity’, such as in his 1936 essay *Logic and Life*, where Nishida described its fundamental contradiction in Heraclitean terms: the most “beautiful harmony is born out of opposites”, a beauty that emerges out of Heraclitean strife. [33. P. 120, 144]. Nishida’s beautiful harmony inspired by Heraclitean strife later becomes embroiled with Leibniz’s pre-established harmony in one of his latest essays *Towards a Philosophy of Religion with the Concept of Pre-established Harmony as Guide* of 1944. Here, Nishida claims to have developed a “position which considers the active world as a relational world”. Consistencies do remain nonetheless, as Nishida here again correlated basho with nothingness. See [38. P. 21–46].

² As Dilworth noted in the introduction to his translation of one of Nishida’s last essays *The Logic of the Place of Nothingness and the Religious Worldview* of 1945, Nishida continually developed the logical place of nothingness into the final context of religious consciousness. Here Nishida employed various Eastern and Buddhist concepts to formulate his take on “place of nothingness”, although Western philosophies were also a part of the picture. Nishida had described this place of nothingness as the “two opposing directions of subject and predicate as the self-determination of a ‘dialectical universal’”. Essentially, this irresolvable contradictory identity allowed the spatial character of self-affirmation. Thus, consistent with his earlier writings, Nishida conjoined religious consciousness with the fundamental place of nothingness, which ultimately grounds the true, the good and the beautiful [39. P. 1–6, 62, 115].

³ As Schopenhauer adds in the same passage, this closely relates to the grasping of the *Ideas*: “The particular, known appearances no longer act as *motives* for willing, but instead, cognition of the essence of the world (which mirrors the will) – cognition that has arisen by grasping the *Ideas* – becomes a *tranquillizer* [*Quietiv*] of the will and the will freely abolishes itself” [23. P. 311].

⁴ For two excellent book-length studies, see [40] and [41].

Despite Nishida's and Schopenhauer's emphasis on beauty and their Platonic influences, it remains subordinate to *basho*, nothingness and will-less cognition.

Plotinus' Beautiful Cosmic Order

In Plotinus' view, Beauty is central to the cosmic structure or, to put it another way: the cosmos is of a beautiful order. Plotinus' cosmology is consistent with the etymology of the Greek word κόσμος – for world, universe, world-order, and good order, but also associated with beauty, radiance, and glory (including the root word for cosmetics κοσμητικός, for the art of decoration or adornment) [42. Vol. 2. P. 826–827]. This etymology shows that for the Ancient Greeks, there was an underlying sense of beauty and goodness in the cosmos that held especially true for Plotinus, who structured his cosmology with Beauty in mind. As Plotinus described regarding the magnitude of the universe: “the universe is large and beautiful [πᾶν μέγα καὶ καλόν]”, it “is circumscribed by unity. And it is beautiful not by largeness, but by Beauty” ([10] *Enn.* 6 (34) §6.6.1: [20–25]). However, Plotinus' cosmology of Beauty needs some unpacking before proceeding further.

Beginning with the soul, Plotinus claimed that all souls by nature desire the Good; the souls are naturally drawn to the formless (ἀνείδεος) reality that is the Good ([10] *Enn.* 1 (19) §1.2.2: [20–25] and *Enn.* 1 (53) §1.1.5: [21–26]). It is important to note that Plotinus regularly conflated the Good with the One throughout the *Enneads*¹. The other fundamental link Plotinus made is that “the Good [τάγαθόν] and Beauty [καλλονή] are identical” ([10] *Enn.* 1 (1) §1.6.6: [20–25])². The reasoning for this is as follows: Despite the Good being beyond Beauty or any substantiality, the Good is also the principle and productive power of Beauty; it is the “flower [ἄνθος] of beauty” ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.32: [30–35]). In other words, “the Good is the primary Beauty [πρῶτον καλόν]”, while “the ‘place [τόπον]’ of the Forms [εἰδῶν] is intelligible Beauty [νοητὸν καλόν]” ([10] *Enn.* 1 (1) §1.6.9: [39–40]). In other words, the Good is the origin and principle of Beauty; it transcends the Intellect and projects (προβεβλημένον) the Beauty of itself ([10] *Enn.* 1 (1) §1.6.9: [35–40]).

Plotinus then asserted that being drawn towards the Good is the natural function of the cosmos; the soul's desire to unite with Beauty *expresses* the cosmic order³. In describing the soul's innate longing for Beauty, Plotinus stressed that desire is synonymous with contemplation, which discloses the soul's interdependency with the Intellect. This interrelationship between the soul's contemplation and Beauty is difficult to unfold in regular language; hence, Plotinus opted for metaphor:

Each thing is what it is in itself, but it becomes desired when the Good itself colours it, because this gives it grace and love in the eyes of those desiring it. So, the soul, when it takes in the ‘outpouring from the intelligible world’, is moved and dances [ἀπορροὴν κινεῖται], and is pricked by desire, it becomes love. Prior to this,

¹ See for instance ([10] *Enn.* 2 (33) §2.9.1 and *Enn.* 6 (9) §6.9.3).

² κακέινωι ταῦτὸν ἀγαθόν τε καὶ καλόν, ἢ τάγαθόν τε καὶ καλλονή.

³ “About beauty, that is, if primary Beauty is the One, the identical things or close to these may be said as to those said in the arguments about the Good. And if beauty is what in a way shines on the Idea, then we can say that it is not identical in all things, and that the shining on is posterior. But if Beauty is nothing other than Substance itself, it has been accounted for in what has been said of Substance” ([10] *Enn.* (42) §6.2.18: [1–5]). As Rist argued in his seminal work *Plotinus: The Road to Reality*, Plotinus conflated Beauty with the One. See [43. P. 53–65].

it is not moved towards intellect, even if it is beautiful. For its Beauty is inactive [ῥγόν] until it grasps the light of the Good, and the soul ‘falls backwards’ in itself [ψυχῇ παρ’ αὐτῆς], and is inactive [ἀργῶς] in every respect, and despite the presence of the intellect, remains blind to it. But when the intellect gets to it, a sort of warming from the intelligible world, it gains strength, is wakened and truly becomes winged ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.22: [4–20]).

Even if the soul is beautiful, the soul will not be moved towards the intellect unless coloured by the Good; that is Beauty. Plotinus’ critical point here is that Beauty remains inactive (ἀργῶς) until it grasps the ‘light of the Good’ (ἀγαθοῦ φῶς), allowing the intelligible world to link with the soul. Until then, the soul’s contemplation remains within the confines of the material world; the soul ‘falls backward’ in itself. Being illuminated by the light (φωτὸς) of the Good is also an important metaphor that Plotinus used to distinguish between the light of Beauty in a living face and beautiful statues. The previous is more beautiful for having a soul, making it more coloured in some way by the Good and naturally “makes it good and wakes it up, as far as it is in its power” ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.22: [25–30]).

This way, Plotinus can show that the soul’s pursuit of Beauty is fundamentally contemplative; “what the soul pursues is also what provides light to the Intellect” ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.23: [1–2]). The Intellect is the guiding force of the soul’s contemplation of Beauty. To elaborate on the ‘contemplation of Beauty’, Plotinus described an ‘intense love’ for the Intellect when it acquires “something from the Good” ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.21: [10–15]). Contemplation of Beauty does not involve conceptualising various abstract ideas, nor is it based on any artistic activity. This much is evident in Plotinus’ regular description of contemplation as pre-calculative (πρὸ λογισμοῦ) or sometimes meta-calculative (ἐπιλογισμός) ([10] *Enn.* 1 (20) §1.3.6: [8–15], *Enn.* 5 (31) §5.8.6: [16–20]). It is contemplation as a reflection of the Intellect that drives Plotinus’ cosmology: “That everything, then, comes from contemplation and is contemplation [θεωρίας καὶ θεωρία]” ([10] *Enn.* 3 (30) §3.8.7: [1–4]). Plotinus consummates his cosmology by intertwining the Intellect with the Good, which shines through or illuminates contemplation, leading to the soul’s natural desire for Beauty. As Plotinus admitted, the Good and Beauty are identical, so the proximity of contemplation to the Good reflects the degree of Beauty in contemplation.

Plotinus’ view that the dissolution of the subject naturally follows ‘purer’ forms of contemplation is not unlike the ideas advanced by Nishida and Schopenhauer. However, the difference is that Beauty is a subsidiary of pure thinking for the latter, whereas, for the previous, thinking itself is beautiful. The nature of Plotinus’ cosmology is challenging to unpack, given that Plotinus relies heavily on metaphors and analogies. We can interpret the central distinguishing feature of Plotinus’ cosmology as follows: The intellect first ‘sees’ the soul, which leads to the soul gaining vision and, thus, their ‘becoming one’. This natural fusion of the soul and the Intellect represents the Good’s unificatory imperative that “raises them so high that they are not in a place”, for the Good is nowhere ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.35: [35–45]). ‘Understanding’ is attained when the soul and Intellect are assimilated to the Good that “does not even think that it is not thinking” ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.35: [35–45]).

Plotinus here reminds us that this understanding (*vóησις*) of the Good was Plato's "greatest subject of learning" ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [5–7])¹. However, Plotinus was careful to add that by learning, Plato did not mean "seeing of the Good" ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [5–7]). Plato's understanding is by analogies, negations and derivative knowledge of the Good ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [7–9]). Therefore, understanding follows various ways of ascension as the 'rungs of the ladder' such as "purifications, virtues, and orderings" ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [7–10]). The penultimate aim of understanding is for the spectator and spectacle to become one, what Plotinus called a "complete Living Being" ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [10–12]). The cosmos, in this way, unfolds itself with the Good always following closely, "shining" on all that is intelligible, until the learner leaves all learning behind and "settles in Beauty" ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.36: [15–17]). The shining of the Good for Plotinus' metaphor refers to the learner's guidance by the Beauty of the Intellect, culminating in the abolition of thinking altogether. Again, the Good manifests its Beauty through the Intellect at 'all levels' of this voyage ([10] *Enn.* 6 (38) §6.7.37: [15–17]).

The difficulty of understanding Plotinus' language may be due to his basing much of his expositions on inner-visionary experiences, such as in the well-known opening passage in *On the Descent of Souls into Bodies*, which, as we will soon see, al-Farabi cited in its Arabic rendition². However, Plotinus' recounting of a beauty of "wondrous quality" here demonstrates his repose with the intelligible world, not the Good itself. The passage nonetheless conveys Plotinus' crucial distinction between calculative contemplation and contemplation of the Beauty of the Intellect, indicative of the apex of his cosmology in Beauty qua Good. Since this involves the cessation of thinking that 'settles in Beauty', this is difficult to encapsulate in language. In sum, Beauty is the nucleus of Plotinus' cosmology, contra Schopenhauer and Nishida; Beauty is the truth of all reality, regardless of the contemplative degree involved. In Plotinus' cosmology, a being is ranked based on its contemplation of Beauty. We must conclude then that Plotinus also differs from Nishida and Schopenhauer in the culmination of contemplation. While Schopenhauer saw beauty as an escape mechanism from life's suffering, Nishida (depending on the phase of his career) saw it as the blissful experience of nothingness: for Plotinus, thinking ultimately dissolves into Beauty itself.

Al-Farabi

Plotinus' impact on Al-Farabi's cosmology is perhaps most clearly observed in the latter's emanationism. Al-Farabi constructed his emanationist scheme primarily from *The Theology of Aristotle* – an unknown author's careful paraphrasing of *Enneads* IV, V and VI³. Al-Farabi also recruited core ideas from

¹ Proclus concluded his epic *Parmenides Commentary* on a similar note: "It is with silence, then, that he [Plato] brings to completion the study of the One" ([44] *Parm. Comm.* 76K).

² The passage in question is as follows: "Often, after waking up to myself from the body, that is, externalizing myself in relation to all other things, while entering into myself, I behold a beauty of wondrous quality, and believe then that I am most to be identified with my better part, that I enjoy the best quality of life, and have become united with the divine and situated within it, actualizing myself at that level, and situating myself above all else in the intelligible world. Following on this repose within the divine, and descending from Intellect into acts of calculative reasoning, I ask myself in bewilderment, how on earth did I ever come down here, and how ever did my soul come to be enclosed in a body, being such as it has revealed itself to be, even while in a body?" ([10] *Enn.* 4 (6) §4.8.1: [1–11]).

³ For an exemplary study of *The Theology of Aristotle*, see [45].

The Book of Causes, an opusculum of thirty-two propositions of the original two hundred and eleven of Proclus' *Elements of Theology* [16. P. 77–79]. Islamic philosophers of the time falsely attributed both texts to Aristotle, likely the first two manuscripts to advance the theory of emanation in the Islamic world. Coupled with al-Farabi's recourse to Aristotle's treatises and a limited number of Plato's works, these Neoplatonic resources prove indispensable for understanding al-Farabi's cosmology. As Fakhry explained, al-Farabi's appropriation of these texts served as the groundwork for his entire philosophical enterprise that is "striking for its intricacy and daring" [16. P. 2–3]. Al-Farabi detailed this cosmology mostly in *The Perfect State*, where Beauty plays a vital role.

As al-Farabi described, attributing Beauty to an existent means that "it is in its most excellent state of existence" [46. P. 83–85]. The Beauty in existents, however, is not comparable to the First Principle, which is in a state of ultimate perfection such that "its beauty surpasses the beauty of every other beautiful existent" [Ibid.]. Some argue that passages of this sort are likely aimed at emulating Plato's description of the Gods' perfection in Beauty and form in the *Republic* [47. P. 6]. To a greater extent, however, al-Farabi mirrored Plotinus' description of Beauty:

The Beautiful and the Beauty [الجميل في الجمال] in the First are nothing but one essence [ذات واحدة], and the same applies to the other things predicated of it [46. P. 85].

It follows that the Beauty of the First Principle emanates varying degrees of Beauty throughout all existents. Al-Farabi added that the blissful pleasure of the Beauty of the First Principle is of a character we "do not understand and whose intensity we fail to apprehend, except by analogy [المقارنة]" [46. P. 85]. Our deficiency is due to a complete lack of continuity between our apprehension and the First; the "beautiful on our level and the most beautiful in its essence" have nothing in common [46. P. 87]. For al-Farabi, the human being's faculty of representation can only imitate the indescribable Beauty of the First Principle. Moreover, some people can receive "imitations of the transcendent intelligibles" that allow prophecy and supernatural awareness, which we will discuss shortly [46. P. 225]. But even in this case, it remains an imitation since it is merely the "highest rank of perfection which the faculty of representation can reach" [46. P. 225].

Al-Farabi did not just uniformly adopt Plotinus' ideas from the *Enneads* but constructed an overly elaborate and structured cosmology. Beginning with God's "generosity", which resembles the Beauty 'inherent' in Plotinus' One, the First Intellect emanates down to the Tenth Intellect above the moon's sphere [48. P. 327–338]¹. Thus, the moon in al-Farabi's cosmology marks the demarcation point between the intelligible world and the world of matter [16. P. 82–83]. In *The Perfect City*, Al-Farabi effectively incorporated a 'mathematical astronomy' to mark the demarcation point between the sublunary and intelligible worlds [46. P. 101–109]². However, like Plotinus, Beauty is fundamental to al-Farabi's cosmology; the more beautiful the existent, the higher the cosmological rank. To

¹ Since God or the First Principle is outside of all hierarchy, for Cotesta, placing the First Principle in al-Farabi's cosmological order remains a problem. Understanding ten Intellects coming 'after' the First Principle may be more appropriate. Netton also devised a similar diagram and view. See [49. P. 53]. For a focused study of al-Farabi's ten Intellects, see [50. P. 34–39].

² Also see [16. P. 42–44]. Al-Farabi divided his mathematical astronomy into three types: the heavenly bodies, celestial motion and questions related to the earth's geography, climatology and demography [51. P. 243–245].

implement this in his design, al-Farabi recruited both Neoplatonic treatises to advance the Platonist notion that Beauty is the drawing power of the First Principle, as he described in *The Principles of Existing Things*:

The Beauty [الجمال], splendor [البهاء], and adornment [الزينة] of every being is to exist as perfect and to reach its final perfection [استكماله الأخير]. Now, since the existence of the First is the most perfect existence, Its Beauty surpasses that of every beautiful being [فجماله إذن فائت لجمال كل ذي جمال], as does the adornment and splendor It has in Its substance and being. [All of] that It has in Itself and by virtue of intellecting Itself [وذلك في نفسه وبما يعقله من ذات] [52. P. 90].

The First Principle is in a perpetual state of self-intellection, demonstrating its emanation of Beauty through a denary hierarchy of Intellects down to the sublunar world. In this process of intellection, Cotesta explained that Al-Farabi's system "has a *law* of its own, if we call it so: love, beauty, pleasure" [48. P. 328].

Perfecting the Soul

In the case of the human being, the soul's faculty or representation must perpetually aim to struggle for perfection by intellection to receive the Beauty of the First. This intellection must equally account for the above and below in rank [52. P. 88]. Al-Farabi here appears to be adopting Proclean themes from the *Book of Causes*, i.e., "it [proceeds] from itself because it is the knower, and it [reverts] to itself because it is the known" [53. P. 32]¹. With Plotinus, however, al-Farabi saw that when the soul's rational part becomes perfected, it receives "perfection, actuality, and the splendor, adornment, and beauty of existence" [52. P. 90]. In other words, only when the soul is separated from sensory perception and the other limiting factors of corporeal existence can it receive the Beauty of the First. In *The Harmonization of the Two Opinions of the Two Sages: Plato the Divine and Aristotle*, al-Farabi cited the paraphrased version of Plotinus' self-description of assimilation with the intelligible world per *The Theology of Aristotle*.² Al-Farabi's citation illustrates his subscription to Platonism's general outline; the Intellect's higher degree of Beauty was never attainable from within the plane of subjectivism. Despite Beauty's ubiquity in the sublunar world, al-Farabi conceded that the soul's subsistence within the body and world inhibits entrance to the intelligible world [54. P. 52–53].

The idea of overcoming subjectivism is also where al-Farabi is consistent with Schopenhauer and Nishida. However, the commitment to emanation is where al-Farabi is more aligned with Plotinus. For al-Farabi, the Beauty emanating from the

¹ As Brand notes in the introduction to his translation, al-Farabi was considered the author of *The Book of Causes* at various times during the Middle Ages [53. P. 4].

² "Sometimes I am alone with my soul a great deal and I cast off my body and become like an abstract, incorporeal substance. I enter my essence, return to it, and detach myself from all other things. I am at one and the same time knowledge, the knower, and the known. I see Beauty and splendor in my essence such as to bewilder me with amazement. At that moment, I know that I am a minor part of the venerable world and that by my life I am active. When I am sure of this, I let my mind ascend from that world to the divine cause and become as though I were joined to it. Thereupon, light and splendor such that tongues are too dull to describe and ears to hear radiate to me. At that moment, I know that I am a minor part of the venerable world and that by When I am immersed in that light, reach my limit, and can no longer bear it, I descend to the world of calculation. When I arrive in the world of calculation, calculation conceals that light from me, and at that moment I remember my brother Heraclitus when he commanded seeking and inquiring into the substance of the venerable soul by climbing up to the world of intellect" [54. P. 164–165], compare with ([10] *Enn.* 4 (6), §4.8.1:[1–10]) cited earlier.

First Principle is fundamental to his general philosophical outlook; all beings are drawn to the First by nature. In this cosmology, the soul always seeks to perfect itself through intellection to ascend. In other words, unlike Nishida and Schopenhauer, for al-Farabi, beings' reversion to the Beauty of the First Principle is eternally ongoing at all levels of existence. Again, inherent limits are incumbent upon having a body and presence within the sublunary world. Al-Farabi thus explained that when the soul seeks to perfect itself through intellection, it purifies itself from matter with the guidance of the heavens. Since the human being inhabits the sublunary world, al-Farabi conceded that the furthest one can reach is a middle position between the "Passive Intellect [العقل المنفعل]" and "Active Intellect [الفعال العقل]", in namely, the "Acquired Intellect [العقل المستفاد]" [46. P. 243]. The Acquired Intellect is superior and "more perfect and more separate from matter" than the Passive Intellect [Ibid.]. Despite this, it remains inferior to the Active Intellect, which remains out of reach due to the soul's position in the sublunary world. The Acquired Intellect nonetheless grants a higher intellectual capacity, such as powers of prophecy and supernatural awareness.

The critical point is that for al-Farabi, this is not subjectively willed; the soul's ascension is an eternally ongoing cosmological process. In this way, we can understand al-Farabi's cosmology of Beauty aligning with Plotinus. In orienting his Neoplatonic cosmology towards political ends, al-Farabi described the perfect city as inhabited by those naturally inclined towards Beauty and more susceptible to reaching the Acquired Intellect. The varying capacities of the souls' desire for Beauty reflect the cosmic order or the Intelligible world's intellection of itself. Beauty, therefore, demonstrates the power of the First Principle, the "most perfect and beautiful to our knowledge and perception", to which we can *in no way* relate [52. P. 90]. Without itself being a cause, the Beauty of the First Principle is the ultimate source for all derivative beautiful beings while also perpetuating the soul's perpetual desire for its perfect Beauty. The higher the soul reaches, the higher the degree of felicity and relishment in Beauty. The more beauty-inclined souls are also more capable of struggling to grow in strength "until it can dispense with matter so that it becomes independent of it, neither perishing, when matter does, nor requiring matter in order to survive" [46. P. 263]. In the soul's separation from matter, all the 'accidents' that affect the body disappear, and the soul no longer sways to the changes of the world of matter, an occurrence that al-Farabi admits is difficult to apprehend and contrary to custom [46. P. 263]. Like Plotinus, al-Farabi saw the pursuit of Beauty as interdependent with the soul's desire to free itself from its faculty of representation and attain ultimate felicity.

Conclusion

A close study of the cosmologies of Schopenhauer, Nishida, Plotinus, and al-Farabi unveils beauty's transformation over more than fifteen hundred years of history. Of course, this study did not aim for a comprehensive historical coverage of beauty, although the four figures were considered for several reasons. All four held beauty as integral to their cosmology, and, despite their differences, beauty potentialises the overcoming of the subject for all. As mentioned earlier, each of the four figures represents a historical landmark; they are significant figures of philosophy. Recognising this shows that their influence can hardly be overstated, for they instituted ideas that shaped the understanding of Beauty throughout

history. By impact alone, we can better determine the historical transformation of beauty. Whether this is Plotinus' impact on mysticism, al-Farabi's introduction of Neoplatonism into the Islamic world, Schopenhauer's influence on contemporary art, or Nishida's aesthetics in the Kyoto School – all four prove crucial for understanding beauty's transformation. So, a more comprehensive analysis of their cosmology of beauty, as this paper hoped to achieve, undoubtedly enhances our understanding.

This paper juxtaposed Plotinus and al-Farabi with Nishida and Schopenhauer regarding beauty's cosmological priority. Consistencies may be observable *prima facie*; however, lacking a First Principle emblemises beauty's lower status in Schopenhauer and Nishida. For Schopenhauer, the will is the most crucial element of his cosmology that is also responsible for endless human misery. In Schopenhauer's view, beauty allows one to turn away from the will and achieve a will-less cognition. Beauty's most vital function is in its potential to grant salvation from the will by overcoming subjectivity, an escape mechanism. Nishida reformulated Schopenhauer's will and proposed assimilating with the will toward the same end, not its negation. Like Schopenhauer, Nishida correlated beauty with the same capacity: overcoming the subjective self in pure experience. While Schopenhauer and Nishida harbour Platonic tendencies, beauty for both is not an end in itself, as is the case for Plotinus and al-Farabi. These two philosophers of the first millennium institute Beauty as an end in itself since Beauty orders the cosmos. Beauty in their cosmology emanates at all levels, and all beings receive some measure of Beauty emanating from the First Principle or the Good. Beauty's emanation for Al-Farabi and Plotinus points to the soul's natural longing for the Beauty of the First or the Good. This natural desire reflects the natural workings of the cosmos despite the varying degrees of Beauty present throughout. Therefore, perfecting the soul is interdependent with returning to the Beauty of the Good or First Principle.

References

1. Schopenhauer, A. (2018) *The World as Will and Representation*. Vol. 2. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
2. Wicks, R. (1993) Schopenhauer's Naturalization of Kant's a Priori Forms of Empirical Knowledge. *History of Philosophy Quarterly*. 10(2). pp. 181–196.
3. Magee, B. (1997) *The Philosophy of Schopenhauer*. Oxford, UK: Clarendon Press.
4. Yusa, M. (2002) *Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitarō*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
5. Wilkinson, R. (2009) *Nishida and Western Philosophy*. Farnham, UK: Ashgate.
6. Takayanagi, S. (2009) Tanabe Hajime's Metanoetic Philosophy and Aesthetics. *Ultimate Reality and Meaning*. 32(2–3–4). pp. 202–16.
7. Catana, L. (2013) The Origin of The Division Between Middle Platonism and Neoplatonism. *Apeiron*. 46(2). pp. 166–200.
8. Mazur, A.J. (2021) *The Platonizing Sethian Background of Plotinus's Mysticism*. Revised edition by D.M. Burns, K. Corrigan, I. Miroshnikov, T. Rasimus, & J.D. Turner. Leiden, NL: Brill.
9. Banner, N. (2018) *Philosophic Silence and the "One" in Plotinus*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
10. Plotinus. (2018) *The Enneads*. Translated by G. Boys-Stones, J.M. Dillon, L.P. Gerson, R.A.H. King, A. Smith & J. Wilberding. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
11. Adluri, V. (2014) Plotinus and the Orient: aoristos days. In: Remes, P. & Svetal, S.-G. (eds) *The Routledge Handbook to Neoplatonism*. New York, NY: Routledge. pp. 77–99.
12. Stamatellos, G. (2007) *Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Presocratic Influences in Plotinus' Enneads*. Albany, NY: State University of New York Press.

13. Hatab, L.J. (1982) Plotinus and the Upanishads. In: Baine Harris, R. (ed.) *Neoplatonism and Indian Thought*. Albany, NY: State University of New York Press. pp. 45–62.
14. Wallis, T. (1982) Phraseology and Imagery in Plotinus and Indian Thought. In: Baine Harris, R. (ed.) *Neoplatonism and Indian Thought*. Albany, NY: State University of New York Press. pp. 101–120.
15. Mar Gregorios, P. (2002) Does Geography Condition Philosophy? On Going Beyond the Occidental-Oriental Distinction. In: Baine Harris, R. (ed.) *Neoplatonism and Indian Thought*. Albany, NY: State University of New York Press. pp. 13–30.
16. Fakhry, M. (2002) *Al-Farabi: Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence*. Oxford, UK: Oneworld.
17. Walker, E.P. (1993) *Early Philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of Abu Ya'qub al-Sijistani*. New York, NY: Cambridge University Press.
18. Fakhry, M. (2004) *A History of Islamic Philosophy*. New York, NY: Columbia University Press.
19. Thacker, E. (2016) *Cosmic Pessimism*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
20. Heidegger, M. (2006) *Gesamtausgabe 9 (1919–1961): Wegmarken*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
21. Heidegger, M. (1996) *Gesamtausgabe 6.1: Nietzsche Erster Band (1910–1976)*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
22. Young, J. (2005) *Schopenhauer*. New York, NY: Routledge.
23. Schopenhauer, A. (2010) *The World as Will and Representation*. Vol. 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
24. Aristotle. (1984) *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*. Vol. 1. Princeton, NJ: Princeton University Press.
25. Odin, S. (2017) Beauty as Ecstasy in the Aesthetics of Schopenhauer and Nishida. In: Nguyen, A. Minh. (ed.) *New Essays in Japanese Aesthetics*. Lanham, MD: Lexington Books. pp. 45–60.
26. Itabashi, Y. (2012) 'Nichtigkeit' of Nihilism: Schopenhauer and Nishida. In: *Schopenhauer-Jahrbuch*. Vol. 93. Würzburg: Verlag Koenigshausen & Neumann. pp. 127–137.
27. Itabashi, Y. (2022) Epistemology of Absolute Free Will: Nishida's Notion of Self-Determination in Relation to Cohen and Schopenhauer. In: Matsumaru, H., Arisaka, Y. & Schultz, L.C. (eds) *Tetsugaku companion to Nishida Kitarō*. Cham, Switzerland: Springer.
28. Nishida, K. (2012) *Place and Dialectic: Two Essays*. Translated by J.W.M. Krummel & N. Shigenori. New York, NY: Oxford University Press.
29. Nishida, K. (1987) An Explanation of Beauty. Nishida Kitarō's Bi No Setsumei. *Monumenta Nipponica*. 42(2). pp. 211–17.
30. Nishida, K. (1990) *Inquiry into the Good*. Translated by M. Abe & C. Ives. London, UK: Yale University Press.
31. Mayeda, G. (2020) *Japanese Philosophers on Society and Culture: Nishida Kitaro, Watsuji Tetsuro, and Kuki Shuzo*. London, UK: Lexington Books.
32. Nishida, K. (1958) *Intelligibility and the Philosophy of Nothingness: Three Philosophical Essays*. Translated by R. Schinzing. Honolulu, HI: East-West Center Press.
33. Nishida, K. (2012) The Unsolved Issue of Consciousness. *Philosophy East and West*. 62(1). pp. 44–59.
34. Heidegger, M. (1977) *Gesamtausgabe 2: Sein und Zeit*. Frankfurt am Main. Vittorio Klostermann.
35. Krummel, J.W.M. (2015) *Nishida Kitarō's Chiasmatic Chorology Place of Dialectic, Dialectic of Place*. Indianapolis, IN: Indiana University Press.
36. Uršič, M. (2023) "A Comparison of Nishida's basho from his Middle Period with Plato's chōra and the One of Plotinus." *Asian Studies*. 11(1). pp. 71–90.
37. Nishida, K. (1997) Coincidentia Oppositorum and Love. *The Eastern Buddhist*. 30(1). pp. 1–12.
38. Nishida, K. (1970) Towards a Philosophy of Religion with the Concept of Pre-Established Harmony as Guide. *The Eastern Buddhist*. 3(1). pp. 19–46.
39. Nishida, K. (1987) *Last writings: Nothingness and the Religious Worldview*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
40. Cross, S. (2013) *Schopenhauer's Encounter with Indian Thought: Representation and Will and their Indian Parallels*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
41. Barua, A. (2017) *Schopenhauer on Self, World and Morality: Vedantic and non-Vedantic Perspectives*. Singapore, SG: Springer.

42. Diggle, J. et al (2021) *The Cambridge Greek Lexicon*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
43. Rist, J.M. (1967) *Plotinus: The Road to Reality*. London, UK: Cambridge University Press.
44. Proclus. (1987) *Commentary on Plato's Parmenides*. Translated by G.R. Morrow & J.M. Dillon. Princeton, NJ: Princeton University Press.
45. Adamson, P. (2017) *The Arabic Plotinus: A Philosophical Study of the "Theology of Aristotle"*. Piscataway, NJ: Gorgias Press.
46. Al-Fārābī Abū Naṣr. (1985) *Al-Farabi on the perfect state: Abū naṣr al-Fārābī's Mabādī' Ārā' ahl al-madīna al-fāḍila: A revised text with introduction, translation, and commentary*. Translated by R. Walzer. Oxford, UK: Clarendon Press
47. Khoshnaw, M.N.H. (2014) Alfarabi's Conversion of Plato's Republic. *Advances in Literary Study*. 2(1). pp. 5–8.
48. Costea, V. (2021) *The Heavens and the Earth: Graeco-Roman, Ancient Chinese, and Mediaeval Islamic Images of the World*. Translated by K. McCarthy & M.N. Cárthaigh. Leiden, NL: Brill.
49. Netton, I.R. (1992) *Al-Fārābī and His School*. London, UK: Routledge.
50. Sparavigna, C.A. (2014) The Ten Spheres of Al-Farabi: A Medieval Cosmology. *International Journal of Sciences*. 6. pp. 34–39.
51. Janos, D. (2010) Al-Fārābī on the Method of Astronomy. *Early Science and Medicine*. 15(3). pp. 237–65.
52. McGinnis, J. & Reisman, D. (2007) *Classical Arabic Philosophy: An Anthology of Sources*. Indianapolis, IN: Hackett Publication Company.
53. Brand, D.J. (1984) *The Book of Causes: (Liber de Causis)*. Milwaukee, WI: Marquette University Press.
54. Al-Fārābī Abū Naṣr. (2001) *The Political Writings: Selected Aphorisms and Other Texts*. Translated and edited by C.E. Butterworth. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Information about the author:

Aleksandrov E. – Cand. Sci. (Philosophy), PhD (Philosophy), postdoctoral fellow, School of Advanced Studies, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: e.aleksandrov@utmn.ru, emile931@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Александров Э. – кандидат философских наук, PhD (философия), постдокторант, Школа перспективных исследований Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: e.aleksandrov@utmn.ru, emile931@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 10.02.2024;
одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.02.2024;
approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 304.444
doi: 10.17223/1998863X/78/6

К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ СТАТУСЕ И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Игорь Борисович Ардашкин¹, Александра Игоревна Ардашкина²

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия*

² *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *ibardashkin@tpu.ru*

² *ardashkinaai@mail.ru*

Аннотация. Исследуется дисциплинарный статус и предметное поле терминологии с целью уточнения того, что включает в себя терминологическая работа и какие факторы оказывают на нее наибольшее влияние. Выделяется три общих подхода к оценке дисциплинарного статуса и предметной области терминологии. Каждый из подходов сталкивается с невозможностью в своих рамках учесть весь междисциплинарный спектр терминологической деятельности и требует поиска более широких оснований. В качестве таких оснований авторы предлагают социально-философские основания как базу для интеграции социальных, лингвистических, профессиональных и собственно терминологических аспектов последней. Авторы полагают, что социально-философские основания позволяют терминологии функционировать как междисциплинарная и трансдисциплинарная сферы деятельности и применять социолингвистическую методологию.

Ключевые слова: терминология, дисциплинарный статус, предметная область, теории терминологического планирования, социально-философские основания, социолингвистический подход

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ № 24-28-00048) «Концептуализация стратегий развития терминологии: социально-философские основания и социолингвистический подход», <https://rscf.ru/project/24-28-00048/>

Для цитирования: Ардашкин И.Б., Ардашкина А.И. К вопросу о дисциплинарном статусе и предметной области терминологии: социально-философские основания и социолингвистический подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 68–83. doi: 10.17223/1998863X/78/6

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

ON THE DISCIPLINARY STATUS AND SUBJECT FIELD OF TERMINOLOGY: SOCIO-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS AND A SOCIOLINGUISTIC APPROACH

Igor B. Ardashkin¹, Aleksandra I. Ardashkina²

^{1,2} National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

² National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

¹ ibardashkin@tpu.ru

² ardashkinaai@mail.ru

Abstract. The disciplinary status and subject field of terminology are examined in order to clarify what terminological work includes and what factors have the greatest influence on it. Despite the apparent simplicity of the problem posed, the authors are forced to admit that in the philosophical, scientific, professional literature there is no unambiguous answer to this question and, most likely, there will never be one, since the subject field of terminology is an unlimited space containing a large number of different scientific disciplines, professional areas and philosophical approaches; that each author, school, approach has its own specific view on solving a given problem. The authors identify three general approaches to assessing the disciplinary status and subject area of terminology in order to demonstrate the openness of each approach and the impossibility of limiting oneself to its own framework when organizing terminological work. The first approach understands terminology as a special area within any scientific or professional field, where every member of the scientific or professional community deals with issues of terminology. At the same time, he studies not so much specifically (professionally), but automatically, since he is simply forced to use linguistic means denoting the conceptual aspects of his own field of knowledge. The second approach considers terminology as a linguistic sphere, or more precisely, such an area as lexicology (lexicography). The linguistic component within the framework of this approach is presented professionally in terminology and terminological work, but linguists (lexicologists) are not specialists in the field of conceptual content of the subject area. The third approach presents terminology as a separate field of activity associated with the selection of terms from a particular field for the compilation of dictionaries, reference books, databases and knowledge bases within one national language, or within different languages. The key here seems to be the achievement of standardization of terminology within both one language and different languages. In this case, terminologists are neither linguists (lexicologists) nor representatives of professional (conceptual) fields. An analysis of each of the approaches demonstrates that each of the approaches faces the impossibility of taking into account the entire interdisciplinary range of terminological activities within its framework and requires a search for broader grounds. As such foundations, the authors propose socio-philosophical foundations as a basis for integrating the social, linguistic, professional, and terminological aspects of terminology. The choice is not completely obvious, but the authors give three justifications. The first justification is that socio-philosophical knowledge includes information about the genesis of society and the prospects for its development. The second is the importance of the axiological component in the activities of any community as a fundamental principle, which will influence any aspects of the life of society, including terminology. The third is the influence of social factors on semantic processes, conceptualized within the framework of analytic philosophy. When accepting socio-philosophical foundations as the basis for the integration of interdisciplinary and transdisciplinary knowledge in the process of terminological activity, it becomes

inevitable to use the methodology of a sociolinguistic approach in terminology, taking into account the interdependence of social and linguistic (terminological) changes. Thus, the authors believe that the socio-philosophical foundations of terminology allow terminology to function as an interdisciplinary and transdisciplinary field of activity and apply sociolinguistic methodology.

Keywords: terminology, disciplinary status, subject area, theories of terminological planning, socio-philosophical foundations, sociolinguistic approach

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00048, <https://rscf.ru/project/24-28-00048/>

For citation: Ardashkin, I.B. & Ardashkina, A.I. (2024) On the disciplinary status and subject field of terminology: socio-philosophical foundations and a sociolinguistic approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 68–83. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/6

К постановке проблемы

Сегодня сложно представить научные исследования, научные теории, научный язык без соответствующей терминологии. Это же касается многих видов профессиональной (инженерной) деятельности, которая сопряжена с научными знаниями при их прикладном использовании. Но в то же время нельзя сказать, что ученые, технологи (инженеры), пользователи до конца понимают, что такое термин, терминология, терминологическая работа. Кстати, нельзя не отметить тот факт, что Европейский союз признал терминологию (терминоведение) специальностью XXI в., что подтверждает важность рассматриваемого вопроса [1]. Это демонстрирует, что терминология представляется одной из ключевых предметных и профессиональных сфер социального развития общества, которые нужно изучать и совершенствовать.

На первый взгляд представляется, что терминология является специальным языковым инструментом исследователей, технологов (инженеров), пользователей для обозначения определенных значений, выраженных лингвистическими средствами в той или иной научной или профессиональной сфере. Но при этом всегда возникает вопрос, а как провести границу в области знаний между одной, к примеру, научной дисциплиной и другой с помощью языковых средств. От каких факторов зависит процедура научной дисциплинарной дифференциации? Ведь дисциплинарное знание формируется на основании выделенной предметной области как систематизированная совокупность знаний о том или ином предмете.

В этом плане не только интересным, но и вполне полезным было бы прояснение вопроса о предметной области и дисциплинарном статусе терминологии. И здесь становится понятным, что определить эту предметную область не так-то просто, если возможно в принципе. Почему?

Дело в том, что у истоков терминологии как самостоятельной сферы деятельности стоят инженеры. В частности, О. Вюстер, Э. Дрезен, Д. Лотте, считающиеся основоположниками терминологии, по своей своему образованию и сфере деятельности были инженерами, которые искали универсальные способы передачи знаний (еще О. Вюстер и Э. Дрезен увлекались эсперанто и присоединились к движению эсперантистов) через соответствующие языковые средства. Они столкнулись в своих поисках с необходимостью адаптиро-

вать слова из лексиконов различных инженерных сфер к более массовому применению и полагали, что в этом им должны помочь лингвисты.

Специалисты по лингвистике, которые активно включились в решение данных вопросов, столкнулись со сложностями в отношении как предметной, так и коммуникативной сторон адаптации профессиональной терминологии к массовому применению. Особенно стала понятна данная проблема в процессе перевода того или иного термина с одного языка на другой, поскольку помимо лингвистических аспектов стали накладываться социальные и культурные, связанные с национальными языками и их особенностями.

В свою очередь, социальные и культурные нюансы языков в процессе терминологической деятельности стали создавать коммуникативные проблемы применения терминов, переведенных с других языков, обусловленных различиями в уровне экономического развития, бытовых практик, особенностей эксплуатации технологий в той или иной стране.

Можно обозначить еще ряд проблемных моментов, но и приведенных достаточно для того, чтобы показать, какие различные сферы человеческой (социальной) жизнедеятельности затрагивает терминология. В связи с этим и возникает понимание того, что в XXI в. предметная область терминологии носит достаточно неопределенный характер, а из определенного можно заметить только ее междисциплинарную и трансдисциплинарную направленность.

Тем самым констатируем, что актуальность проблемной ситуации, связанной с необходимостью определения предметной области терминологии как самостоятельной сферы научных исследований и научного знания, не подлежит сомнению. Наоборот, решение этого вопроса позволило бы лучше представлять, как осуществлять ту или иную деятельность, в рамках которой затрагивается терминология в качестве лингвистического, коммуникативного, эпистемологического, семантического и других инструментов.

В связи с чем можно охарактеризовать проблему данной статьи в виде последовательно поставленных вопросов. Имеет ли терминология свой самостоятельный предмет исследования? Если этот предмет можно обозначить, то что он будет из себя представлять, как он организован? Можно ли этот предмет представить в рамках какой-то одной или нескольких наук? Если предмет терминологии носит междисциплинарный и трансдисциплинарный характер, то на основании чего его можно определить и исследовать? Какие методологические средства следует использовать в случае междисциплинарной и трансдисциплинарной природы терминологии для ее исследования?

Подходы к пониманию дисциплинарного статуса и предметной области терминологии

Существует множество подходов к пониманию того, что такое терминология и чем она занимается. Исследователи констатируют, что дисциплинарный статус терминологии до сих пор остается предметом споров [2–4]. Но если не вдаваться в подробности и сконцентрироваться на общих подходах, то можно выделить несколько основных направлений, не говоря о том, что в рамках каждого из них имеет место дальнейшая дифференциация.

Первый подход полагает, что терминология появляется с того момента, когда человечество стало формировать специализированное знание. И для

того, чтобы это специализированное знание было выражено особым образом, понадобились специальные слова и понятия. С этого момента появилась традиция – каждая специализированная отрасль знания (или деятельности) формировала собственный корпус терминов [5].

Действительно, как только в истории человечества началась специализация (разделение труда), это сразу же получило свое отражение в языке. Не случайно М. Чтату отмечает, что в своем первом значении слово «терминология» означает набор технических слов, принадлежащих науке, искусству, автору или социальной группе, например терминология медицины или терминология компьютерных ученых [6].

Это направление актуально до сих пор, и во множестве научных изданий, в базах данных и знаний встречаем огромное количество работ по терминологии той или иной научной или профессиональной сферы. Характерной особенностью данного подхода является то, что непосредственно представители данных областей занимаются вопросами терминологии в рамках последних. Терминология выступает своеобразным индикатором наличия определенного консенсуса среди научного (технологического, группового) сообщества в рамках их профессиональной сферы. При этом надо сказать, что, понимая роль и значение терминологии для формирования профессиональной сферы, представители последней все же делают это автоматически, нежели профессионально. Непрофессионализм «скрашивается» тем, что они чаще всего работают в системе общих социальных практик, которые облегчают процесс взаимопонимания.

Второй подход к пониманию терминологии связан с признанием последней отраслью лингвистики, областью лексикологии (лексикографии). Здесь допускается, что терминология может рассматриваться как отдельная самостоятельная наука, но в рамках лексикологии как отрасли лингвистики.

Это подход строится на том, что существует два типа языка: общелитературный и специальный (специальные языки). Соответственно, имеют место два типа лексики: общелитературная и специальная. Но при этом лингвисты расходятся в оценках на взаимодействие этих двух типов лексики. Одни полагают (Е. Аллан, Р.В. Браун, Г. Рондо и др.), что граница между двумя типами лексики должна быть строгой, чтобы соблюдать однозначность, четкость и точность семантического содержания специальных терминов, другие полагают (Г.О. Винокур, А.А. Реформаторский, С.В. Гринев-Гриневич и др.), что невозможно эту лексическую границу провести и строго отделить специальную лексическую отрасль от общелитературной.

Как отмечает С.В. Гринев-Гриневич, «граница между терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна и имеет не исторический, а функциональный характер, постоянно происходит как процесс превращения терминов в общеупотребительные слова, так и использование бытовой лексики для формирования терминологий» [7. С. 29].

Данное расхождение в оценке терминологии строится на разном понимании значения термина. В первом случае термин обязательно характеризуется как специальное слово с особым значением, во втором случае речь идет о том, что слово и его лексика могут функционально обретать статус термина. Главное, от чего тогда зависит появление функции термина у слова, это

связь со специальной областью знаний, без которой функция термина в принципе не сможет возникнуть.

И в первом, и во втором случае речь идет о том, что значение термина определяется той областью знаний, в рамках которой определяется его семантическое содержание. Но лингвист (лексиколог, лексикограф) в таком случае не может однозначно определить, возникла ли у слова функция термина, ему необходима помощь специалиста из данной области знаний. Лингвист может профессионально описать, обозначить лингвистические свойства слова как термина, но не в его компетенции определение его семантической составляющей. Также, как и в первом подходе, специалист из профессиональной сферы знаний может знать значение слова как термина, но не способен лингвистически верно выразить его специальное значение.

Третий подход к пониманию терминологии связан с восприятием последней как самостоятельной сферы деятельности в научном, образовательном, коммуникативном, переводческом планах. Этот подход возникает в 30-е гг. XX в. Основная его идея заключается в том, что терминология должна выступать фундаментом для научных, образовательных, инженерных, национальных и других практик. В каком-то смысле терминология явилась сферой воплощения идей Венского кружка о создании универсального, точного, непротиворечивого языка науки как основания для достижения истинного знания о мире.

Возникновение данной практики связано с именами О. Вюстера, Э. Дрезена, Д. Лотте (отцов терминологии), задачей которых стала идея стандартизации научно-технической терминологии как основания для построения полноценной коммуникации между представителями разных научных, инженерных, национально-культурных и иных сообществ.

В рамках этого направления многие вопросы, связанные с терминологией и представленные в указанных выше подходах, не рассматривались, либо рассматривались достаточно поверхностно, поскольку важным направлением считалась унификация (стандартизация) терминологии как в рамках одной научной (инженерной, профессиональной) сферы и в рамках одного языка, так и в рамках разных наук (инженерных, профессиональных сфер) и в рамках разных языков. Как пишет Г.Г. Хакимова, «теоретическая работа Вюстера основывалась на изучении технических терминов – стандартизированных технических лексем, отображающих определенные концепты. Теория Вюстера была разработана для удовлетворения межъязыковых потребностей, а не для того чтобы показать всю глубину и вариативность терминологии. Данная теория не является самым полным и глубоким отображением сути терминологии. Тем не менее она стала именно той основой, на которой данная дисциплина развивалась дальше» [8. С. 950–951].

Аутентичность терминологии как самостоятельного направления строилась на своеобразной редукции областей знания разных наук и профессиональных сфер, связанной со стандартизацией. При этом стандартизация осуществлялась не столько на базе научных оснований, сколько на базе социальных предпочтений. Хотя модель терминологической работы О. Вюстера получила статус теории (общей теории терминологии), в полной мере назвать эту модель теорией, несмотря на ее достаточную степень теоретизированности, сложно.

В подтверждение приведу оценку восточно-европейского эксперта в области терминологии М.О. Вакуленко относительно вклада О. Вюстера. Он считает, что становление терминологии как науки произошло благодаря австрийскому ученому О. Вюстеру и русскому терминому Д. Лотте. Существование отдельной науки сейчас широко признается, более того – в ней развиваются самостоятельные направления и школы. Однако признание терминологии как самостоятельной научной дисциплины не привело к созданию обобщающего теоретического труда с четкой постановкой и решением задач, связанных с компонентами научной дисциплины [9. С. 20].

Действительно, О. Вюстера интересует область знаний (понятий, концептов), которую он предлагает стандартизировать за счет закрепления за каждой из понятийных (концептуальных) областей одного термина. Отсюда основное правило общей теории терминологии: один концепт – один термин. Это правило ничем научно (теоретически) не обосновано, кроме желания самого О. Вюстера унифицировать научно-техническую терминологию. А само это пожелание имеет социальные основания, которые обусловлены потребностью построения единого международного научно-технического коммуникативного пространства, вызванной начавшимися процессами интеграции между странами и культурами.

Надо признать, что отсутствие таких единых научных оснований не помешало активно на протяжении десятилетий осуществлять терминологическую работу как на национальном, так и на международном уровне на основе модели О. Вюстера. Появление международных и национальных организаций, связанных с терминологической работой, лишнее тому подтверждение.

Теоретические основания терминологии возникают существенно позже, несмотря на то что терминологическая работа осуществлялась уже достаточно долго и относительно успешно. И возникают эти теоретические основания как критика положений общей теории терминологии О. Вюстера. Точнее того, что невозможно научно обосновать эти положения, связанные с положениями о стандартизации терминологии, о привязке концепта в одной области знаний к одному термину, о соблюдении моносемии, о необходимости планировать терминологическую работу и т.д.

Появляются новые теории терминологии (коммуникативная теория М.Т. Кабре, социокогнитивная теория Р. Теммерман, фреймовая теория П. Фабер, социотерминологическая теория Ф. Година), демонстрирующие, с одной стороны, невозможность осуществления терминологической работы на основе общей теории О. Вюстера, с другой – плюрализм подходов к ее осуществлению. На основе новых теорий терминологии формируется разнообразие подходов к пониманию того, что такое термин, терминологическая работа, осознание того, как можно по-разному ее осуществлять и при каких обстоятельствах [10].

Если резюмировать предварительный итог приведенных подходов к пониманию терминологии, то можно констатировать, что у терминологии есть своя предметная область, но эта предметная область носит междисциплинарный характер и не может быть сведена к содержанию какой-либо из наук. В принципе такой вывод не нов и давно устоялся, но это не значит, что междисциплинарный характер терминологии все проясняет. Тем более, что научно-техническое развитие человечества и его социальные следствия постоянно

что-то добавляют в предметную область всех наук, в том числе и в терминологию. В связи с этим постараемся раскрыть, в чем заключается междисциплинарный и трансдисциплинарный характер терминологии.

Междисциплинарность и трансдисциплинарность предметной области терминологии и социально-философские основания

Даже в рамках каждого из названных подходов к пониманию терминологии, ее предметной области и дисциплинарного статуса можно обнаружить проявление интенции на междисциплинарный характер последней.

В рамках первого подхода исследователи сталкиваются с этим при изучении одного и того же предмета средствами разных наук. Например, вода как предмет химии и физики имеет абсолютно разные характеристики. В одном случае как предмет химии вода – это компонент (молекула), состоящий из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В другом случае как предмет физики вода – это жидкое состояние вещества, которое при давлении в 1 атм. (одна атмосфера) замерзает при температуре 0 °С и кипит при температуре 100 °С. Как видим, термин вода в химии и физике имеет разные концепты. Не исключено, что в биологии, геологии, других дисциплинах и технических сферах у воды также будут разные концепты, но выявление разности концептов воды не входит в область интересов исследователей из данных областей. Очевидно, это задача терминолога.

В рамках второго подхода исследователи (в основном лингвисты-лексикологи) также сталкиваются с тем, что невозможно исследовать сферу языка на основе только лингвистических средств. Язык (и как понятие, и как термин – феномен в достаточной степени неопределенный) – сложная конструкция, которая подвергается влиянию когнитивных, семиотических, семантических, прагматических, социальных и других факторов. Поэтому лингвистика (ее предмет) обрастает совокупностью смежных дисциплин, демонстрирующих сложный генезис языка. Это и социолингвистика, и психолингвистика, и историческая лингвистика, и компаративистская лингвистика, и антропологическая лингвистика, и персонология, и дискурсология, и когнитивная лингвистика и т.д. [11].

Особенное место в развитии терминологии как отрасли лингвистики (лексикологии) стали занимать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а вместе с их активным использованием – сеть Интернет. Даже появляется отдельное предметное поле в области лингвистики (соответственно терминологии) – лингвистика Интернета.

С его появлением изменились коммуникативные практики, поскольку возникли дополнительные каналы для взаимодействия, появились новые термины, отражающие сложность процессов общения. Как пишет Н.А. Ахренова, «в любой новой сфере человеческой жизни используется собственный, функционирующий в рамках нормативного общелитературного, язык. Не является исключением и виртуальная сфера интернета. Ее особенностью является тот факт, что эта сфера, в отличие от многих других, представляет собой симбиоз как собственно строго терминологического технического компьютерного и литературного языков, так и сленга, поликодовых лингвокреативных конструкций и пр.» [12. С. 3].

Опять же лингвисту сложно как-то вникать в нюансы новых сфер, связанных с развитием языка и появлением новых феноменов, которые он призван описывать. Семантическое связывание имеющегося словаря с новыми терминами и понятиями – это больше задача терминоведа (его сфера) с активным привлечением лингвистов и специалистов из этих сфер, нежели задача лингвистов и специалистов из профессиональных областей знаний.

В рамках третьего направления, где терминология рассматривается как самостоятельная сфера деятельности (отдельная научная дисциплина), мы также обнаруживаем междисциплинарные проявления в терминологической работе. Тот же О. Вюстер изначально понимал терминологию не как науку о терминах, а как науку о концептах. Тем самым австрийский исследователь хотел привязать терминологию к сфере специальных знаний (концептов, понятий), что делало терминоведа отчасти зависимым субъектом от специалистов из профессиональных областей.

Другое дело, что О. Вюстер искусственно «уходил» (игнорировал) от междисциплинарности терминологической работы за счет стандартизации. Терминолог обретал свое профессиональное призвание через процедуру стандартизации, в которой сознательно и искусственно редуцировались семантические, лингвистические, предметные аспекты ради достижения однозначности, точности, строгости термина и его концепта.

Но критика этой теории, о которой мы уже выше писали, показала, как плюралистично может строиться терминологическая работа, если не придерживаться общей теории терминологии. По мнению Р. Теммерман (представитель социокогнитивной теории терминологии), терминология в своей венской традиции имеет в качестве предмета изучения лексику специального языка. Но чтобы считаться научной дисциплиной, ей нужно было определить свои основные понятия и создать теоретическую базу, чему представители данной традиции не уделили должного внимания.

Главная причина заключалась в том, что интерес к терминологическим исследованиям сдерживался главной интенцией Вюстера и Инфотерма (международный информационный центр по терминологии) к унификации терминологии, т.е. к способам организации стандартизации. Если для Вюстера основной целью терминологии было избежать двусмысленности в международном и профессиональном общении, то очевидно, что сфера применения терминологии ограничивалась стандартизацией понятий и терминов. Но, как показала практика, работа с терминами может происходить и в других средах репрезентации и коммуникации, что требует более широкого взгляда на терминологию [5. С. 30].

Р. Теммерман говорит о том, что терминология – это наука о терминах, а не о концептах (как у О. Вюстера). Но при этом мы не должны забывать о том, как эти термины (элементы человеческого языка) соотносятся с понятиями (единицами человеческого разума в виде единиц понимания (концепты или категории)) и окружающей нас реальностью (объектами мира). Фактически для рассмотрения терминологических проблем необходимы философские основания, в которых онтологические аспекты соотносятся с эпистемологическими, семантическими и лингвистическими аспектами.

Не случайно в рамках третьего направления исследователи постоянно отмечают невозможность привязать терминологию как практическую дея-

тельность к какой-то одной дисциплинарной области. Более того, речь идет о том, что не нужно ее как науку о терминах противопоставлять в плане предметной направленности ей же как науке о концептах (понятиях). Терминология – это наука и о терминах, и о концептах (понятиях) одновременно. Как пишет Х. Рош, терминология – это нечто большее, чем специализированная лексикография, точно так же, как концепт (понятие), в силу своей экстралингвистической природы, не может быть сведен к говорящим о нем терминам. Признавая двойное (концептуальное (понятийное, знаниевое) и лингвистическое (язык для специальных целей)) измерение терминологии, важно уточнить, что терминология является одновременно наукой об объектах (концептах, знаниях об объектах) и наукой о словах (терминах). Онтология (в смысле базы знаний) проводит различие между определением термина, написанным на естественном языке (т.е. лингвистическим объяснением термина), и определением концепта (понятия), написанным на формальном языке (т.е. формальной спецификацией понятия, его онтологическим определением) [13. С. 128].

Сюда же можно еще включить коммуникативный аспект, чтобы представить предмет терминологии еще шире, нежели в лингвистическом и концептуальном (понятийном) планах.

Получается, что во всех рассмотренных подходах в отношении дисциплинарного статуса и предметной области терминологии мы не можем выявить дисциплину или предметную (профессиональную) область, к которой можно было бы отнести терминологию. В то же время терминологическая деятельность не может быть сведена к деятельности представителя профессиональной области (концептуальной сферы), лингвиста (лексиколога), составителя словарей и справочников, переводчика, социолога, осуществляющего опрос экспертов, и т.д.

Если невозможно свести терминологию и терминологическую работу к какой-то одной профессиональной области или дисциплине, но при этом нельзя не признать, что терминологическая деятельность обладает своим предметом и по факту активно осуществляется, то в таких случаях исследователи прибегают к поискам оснований в метадисциплинарных рамках (к метапозиции), позволяющим интегрировать все подходы в единый комплекс многообразных видов деятельности и знаний.

В отношении терминологии и терминологической деятельности такой метапозицией представляются, по мнению авторов статьи, социально-философские основания.

Во-первых, терминология и терминологическая работа – это деятельность, связанная с профессиональной коммуникацией в рамках как конкретного профессионального сообщества, так и в отношении всей совокупности таких профессиональных сообществ. Характер социализации в таких сообществах коррелируется с характером социализации как в рамках национальных, так и международных сообществ. А такая связь наиболее полноценно может быть осмыслена и представлена на уровне социально-философских подходов к интерпретации современного общества. Примером здесь может выступать корреляция исторически сложившихся типов обществ и типов науки, которые в рамках этих обществ функционировали. В частности, по мнению авторов, плюрализм античных полисов в плане своего политического

и общественного укладов породил плюрализм научных (философских) подходов к познанию мира. Демократия Афин, монархия Спарты, империя Македонского в общественно-политическом формате сопровождались разнообразием научных подходов в виде физики (натурфилософии) милетцев, детерминизма атомистов, релятивизма софистов и т.д. Для наглядности следует и напомнить про Средневековье, где доминанта религиозного мировоззрения определяла предметные области средневековой науки, связанные с приоритетом истины Священного Писания по отношению к истине Природы (богословие).

Аналогичные формы зависимости мы можем обнаруживать и сегодня в современном мире и в современной науке. Пример появления такого типа социальности, как сетевое сообщество с соответствующей средой коммуникации (например, Интернет или коллективные мессенджеры), не остался незамеченным наукой и научными сообществами, чей формат повлиял и на характер научной коммуникации, соответственно, и на терминологию.

Во-вторых, научное (или профессиональное) сообщество, как и любое сообщество, имеет аксиологическое измерение, придерживается определенных ценностей. Именно ценностный приоритет определяет степень вовлеченности человека в свою профессиональную деятельность. Ценности – это тот уровень социальности, который в наибольшей степени солидаризирует представителей сообщества (сообществ) между собой. Терминолог в каком-то смысле, выявляя терминологический состав той или иной профессиональной сферы, его концептуальные аспекты, касается и аксиологической стороны деятельности представителей рассматриваемой предметной сферы (предметных сфер). Зачастую качество терминологической обеспеченности профессиональной сферы зависит от степени ценностной солидарности ее представителей, готовности принять и пересмотреть тот или иной термин, его концептуальные основы.

Как в свое время отмечал Д. Фишман (известный социолингвист), тенденция рассматривать терминологическую деятельность в качестве «корпусного (концептуального) планирования» как нечто особенное, как еще один технический навык, который лингвист должен уметь извлекать из своей сумки трюков, втройне ошибочна. Она показывает непонимание лексики как таковой, корпусного (концептуального) планирования терминологии и общественной связи языкового планирования в целом.

Д. Фишман считал, что разработка терминологии – это нечто большее, чем «простое, техническое, лингвистическое упражнение»; что лексика – это не взаимозаменяемые, сухие и унылые «гайки и болты», ни «бесконечные списки белья, без рифмы и причины, без порядка и шаблона, без систематических связей друг с другом и со всеми другими аспектами языка». Известный социолингвист этим хочет сказать, что важно общественное покровительство, наличие которого существенно облегчает и улучшает качество терминологической работы [14. С. 108]. А это общественное покровительство возможно только при ценностной солидарности членов профессионального сообщества.

Кстати, если обратиться к анализу социально-философских подходов в отношении вопроса характера социальности современного общества (сообществ), то здесь мы можем столкнуться со сложностью ее идентификации,

учитывая многомерность и разнородность способов социализации людей, неопределенности социального статуса человека (людей). В частности, один из исследователей современного типа общества З. Бауман подчеркивает, что одна из характеристик современной социальности – абсолютизация неопределенности социального статуса человека. Он констатирует, что «современная неопределенность – мощная сила индивидуализации. Она разделяет, а не объединяет, и поскольку никому не сообщают, в каком подразделении он проснется на следующий день, идея „общих интересов“ становится все более туманной и теряет всю практическую ценность.

Современные страхи, тревоги и обиды созданы для того, чтобы переживать их в одиночку. Они не складываются, не аккумулируются в „общую причину“, не имеют никакого определенного, а тем более очевидного адреса» [15].

Конечно же, описываемые З. Бауманом характеристики социальности говорят о сложности организации общественных отношений и ценностей. Данные характеристики сложно отрицать. Многие исследователи помимо британского социолога, говорят об имплицитности социального взаимодействия, дефиците доверия, неопределенности социального субъекта (Ж.Л. Нанси, М. Кастельс, П. Штомпка, Ф. Фукуяма и др.). И это свидетельство в том числе отсутствия аксиологического единства, которое терминология очень хорошо ощущает на себе. Не случайно исследователи говорят об актуализации терминологической деятельности не только как способе уточнения лексической стороны терминов, но и как способе установления социальной солидарности профессиональных сообществ.

В-третьих, это связано с социально-философскими основаниями, но в меньшей степени, нежели первые два пункта. Речь идет о логико-семантическом аспекте языковых выражений, к которым нельзя не отнести терминологию. Как определять значение в языке, как определять истинное значение языкового выражения? Начиная с Г. Фреге поиск семантических способов преодоления парадоксов в языке стал одним из важнейших векторов в аналитической философии. Есть в данной традиции логико-семантический вектор (например, Б. Рассел, ранний Л. Витгенштейн и др.), но есть и социальный вектор, связанный с тем, что значение языкового выражения зависит от социального контекста его применения (значение как употребление позднего Л. Витгенштейна, а также дискуссия по поводу проблемы следования правилу, вызванная формулировкой скептического аргумента С. Крипке).

Связь значения языкового выражения с контекстом его употребления, ведение языковой игры по некому правилу, представляет собой необходимость понимания того, что из себя представляет социальный контекст. Не случайно на значимость данной зависимости значения языкового выражения и социума стали обращать внимание исследователи. Например, П. Уинч в своей «Идее социальной науки», Д. Блур в «Витгенштейн, правила и институты», и др. [16, 17].

По крайней мере, можно говорить о том, что социально-философские знания играют косвенную роль в решении семантических вопросов. А это непосредственно связано с терминологией и терминологической работой, где семантические аспекты оказывают серьезное влияние на саму терминологию и ее концептуальную сферу.

Таким образом, можно констатировать, что, по мнению авторов, социально-философские основания выступают наиболее приемлемой базой, интегрирующей предметные области, куда могут быть встроены все дисциплинарные сферы, так или иначе связанные с терминологической деятельностью. По крайней мере социально-философские основания позволяют объединять представления о мире с представлениями о характере социального устройства общества (обществ), их эпистемологическими, лингвистическими, семантическими, логическими, национально-этническими и другими способами выражения данных представлений. Это позволяет нам охарактеризовать терминологию как междисциплинарную и трансдисциплинарную область научных и профессиональных знаний, включающих в себя понимание последней как науки о терминах, науки о концептах, науки о профессиональной и социальной коммуникации на национальном и национальных языках, науки о ценностных ориентирах профессиональных сообществ в частности и общества в целом и т.д.

Несколько слов о трансдисциплинарности терминологии. Под трансдисциплинарностью авторы предлагают понимать вовлечение неакадемических заинтересованных сторон в процесс производства знаний (концептов, понятий) и терминов, выражающих данные знания (концепты, понятия) [18]. Это означает, что общество в лице разных своих групп или представителей обращается к профессиональным сообществам с целью осуществления терминологической работы при решении той или иной проблемы. Опыт недавно свершившейся пандемии коронавируса (COVID-19) применительно к терминологии очень явно продемонстрировал трансдисциплинарный характер последней, которая затронула не только сугубо медицинские концепты, но и концепты, связанные с политикой, с экономической активностью, с рынком труда и занятости, с торговлей и общепитом, досугом, транспортом и т.д. Собственно социальный (ценностный) вектор изменений, обусловленный пандемией, определил лингвистический, концептуальный, коммуникативный и иные векторы терминологической работы, направленной на выражение происходящего. Как отмечают М.-К. Вермут, П. Самбре, в этот период пришлось заниматься терминологией в областях, которые изначально казались косвенно связанными с вирусами и пандемией, но оказали значительное влияние в посткризисный период. Опыт пандемии удивительным образом стимулировал множество терминологических и лексических инноваций, в том числе совершенствование мультимодальных цифровых ресурсов и междисциплинарное взаимодействие с участием экспертов в области онтологии, терминологии и общественной коммуникации, внося вклад в последовательное использование языка и эффективную коммуникацию в таких областях, как здравоохранение, наука, политика и СМИ [19. С. 175–176].

Социолингвистический подход

Мы попытались обрисовать выше, на основании чего лучше интегрировать дисциплинарные области научных знаний, связанных с терминологической работой. Но не значит, что это единственный подход к пониманию дисциплинарной статуса и предметной области последней. Например, М. Чтату считает, что терминология сегодня – это область прикладной лингвистики, которая включает в себя работу в пределах специализированной лексикогра-

фии, написания переводов и преподавания языков [6]. Есть еще другие подходы, но об этом упоминается для того, чтобы показать, что наш подход не является однозначным и единственно возможным.

Наша позиция заключается в том, что терминология – это область, которая находится на стыке социума (ценности, нормы, идеалы), языка (терминов), профессиональных знаний (концептов), процесса взаимодействия между этими областями (коммуникативное пространство) и т.д., для интеграции которых социально-философские основания в виде концепций общественного развития и социальных конструктов лучше подходят, нежели какие-то другие основания. По крайней мере прикладная лингвистика предполагает изучение аспектов применения языка и тех трансформаций, которые происходят в этом процессе. Но на наш взгляд, применение языка происходит в социальной среде (будь то профессиональное сообщество или любая спонтанная группа) и именно ее влияние оказывается наиболее значимым фактором для лингвистических изменений. Учитывает ли это прикладная лингвистика – большой вопрос. Очевидно, что все это касается и терминологии.

Поэтому методологическим средством, которое в настоящий момент наиболее уместно для осуществления терминологических исследований и терминологической работы, представляется социолингвистический подход, сочетающий в себе социологические, лингвистические, семантические, коммуникативные и другие методы. Главным его преимуществом является механизм фиксации лингвистических трансформаций – посредством изучения их социальной природы, понимания того, например, какие термины и какие концепты начинают доминировать в общем лингвистическом и коммуникативном пространстве, а также осознания того, в интересах каких социальных групп, и какие ценностные ориентиры там представлены и т.д.

Никакие другие методологические средства, кроме социолингвистического подхода, исследовать подобные корреляции не смогут.

Таким образом, можно констатировать, что, по мнению авторов, самыми оптимальными основаниями для терминологии являются социально-философские подходы к изучению общественного развития и уклада, поскольку они позволяют сформировать наиболее широкое предметное поле для интеграции того многообразия упоминаемых в статье дисциплин для исследования, разработки, стандартизации терминологии и осуществления терминологической работы. Преимущество социально-философских оснований заключается еще и в том, что они позволяют сохранять предметную аутентичность тех дисциплин, которые в контексте этих оснований используются в процессе терминологической деятельности.

Список источников

1. *Татаринов В.А.* Почему терминоведение, объявленное специальностью XXI-го века в ЕС, выведено из научно-административного обихода в России // Россия в мире: гуманитарное, политическое и экономическое измерение : материалы Всерос. научн. конф. (Москва, 19 марта 2010 г.) / РАН и др. М. : Научный эксперт, 2010. С. 1880–1886.
2. *Myking J.* Against Prescriptivism? The ‘Sociocritical’ Challenge to Terminology // *IITF Journal*. 2001. № 12 (1–2). P. 49–64.
3. *L’Homme M.-C., Heid U., Sager J. C.* Terminology during the last decade (1994–2004) // *Terminology*. 2003. № 9 (2). P. 151–161.
4. *Cabr  Castelv  M.T.* Theories of terminology. Their description, prescription and explanation // *Terminology*. 2003. № 9 (2). P. 163–199.

5. Temmerman R. Approaches to terminology. Now that the dust has settled... // SYNAPS. 2007. № 20. P. 27–36.
6. Chtatou M. Introduction To The Science Of Terminology – Analysis // Eurasia Review. 2022. URL: <https://www.eurasiareview.com/08012022-introduction-to-the-science-of-terminology-analysis> (дата обращения: 18.02.2024).
7. Гринёв-Гриневиц С.В. Введение в терминоведение. М. : Моск. лицей, 1993. 309 с.
8. Хакимова Г.Г. Развитие терминологии как отдельной дисциплины и ее статус в современном языкознании // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17, № 2. С. 950–954.
9. Vakulenko M.O. Term and Terminology: Basic Approaches, Definitions, and Investigation Methods (Eastern-European perspective) // IITF Journal. 2013–2014. Vol. 24. P. 13–27.
10. Ардашкин И.Б. К вопросу о ключевых тенденциях в зарубежных теориях терминологического планирования: социолингвистический аспект // Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. № 2 (41). С. 87–101.
11. Гринёв-Гриневиц С.В. Особенности развития терминоведения в начале XXI века // Лингвистика и образование. 2021. Т. 1, № 1 (1). С. 49–70.
12. Ахренова Н.А. Доминанты современной интернет-лингвистики : втореф. дис. ... д-ра филол. наук. Мытищи, 2018. 53 с.
13. Roche C. Ontological definition // Handbook of Terminology. 2015. Vol. 1. P. 128–152.
14. Fishman J.A. Modelling rationales in corpus planning: Modernity and tradition in images of the good corpus // In Progress in language planning / ed. J. Cobarrubias, J.A. Fishman. Berlin : Mouton, 1983. P. 107–118.
15. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. URL: https://royallib.com/book/bauman_zigmunt/tekuchaya_sovremennost.html (дата обращения: 18.02.2024).
16. Уинч П. Идея социальной науки. М. : Рус. феноменологическое общество, 1996. 106 с.
17. Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. London ; New York : Routledge, 1997. 173 p.
18. Rigolot C. Transdisciplinarity as a discipline and a way of being: complementarities and creative tensions // Humanities and Social Sciences Communications. 2020. Vol. 7. P. 1–5.
19. Wermuth M-C., Sambre P. The terminological impact of pandemics COVID-19 and beyond // Terminology. 2023. Vol. 29, iss. 2. P. 169–179.

References

1. Tatarinov, V.A. (2010) Pochemu terminovedenie, ob'yavlennoe spetsial'nost'yu XXI-go veka v ES, vyvedeno iz nauchno-administrativnogo obikhoda v Rossii [Why terminology, declared a specialty of the 21st century in the EU, has been withdrawn from scientific and administrative use in Russia]. *Rossiya v mire: gumanitarnoe, politicheskoe i ekonomicheskoe izmerenie* [Russia in the World: Humanitarian, Political and Economic Dimension]. Proc. of the Conference. Moscow, March 19, 2010. Moscow: Nauchnyy ekspert. pp. 1880–1886.
2. Myking, J. (2001) Against Prescriptivism? The ‘Sociocritical’ Challenge to Terminology. *IITF Journal*. 12(1–2). pp. 49–64.
3. L’Homme, M.-C., Heid, U. & Sager, J.C. (2003) Terminology during the last decade (1994–2004). *Terminology*. 9(2). pp. 151–161.
4. Cabré Castelví, M.T. (2003) Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. *Terminology*. 9(2). pp. 163–199.
5. Temmerman, R. (2007) Approaches to terminology. Now that the dust has settled... *SYNAPS*. 20. pp. 27–36.
6. Chtatou, M. (2022) *Introduction to the Science of Terminology – Analysis*. [Online] Available from: <https://www.eurasiareview.com/08012022-introduction-to-the-science-of-terminology-analysis> (Accessed: 18th February 2024).
7. Grinev-Grinevich, S.V. (1993) *Vvedenie v terminovedenie* [Introduction to Terminology Studies]. Moscow: Moscow. Lyceum.
8. Khakimova, G.G. (2012) Razvitie terminologii kak otдел'noy distsipliny i ee status v sovremennom yazykoznanii [Development of terminology as a separate discipline and its status in modern linguistics]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta*. 17(2). pp. 950–954.
9. Vakulenko, M.O. (2013–2014) Term and Terminology: Basic Approaches, Definitions, and Investigation Methods (Eastern-European perspective). *IITF Journal*. 24. pp. 13–27.
10. Ardashkin, I.B. (2021) K voprosu o klyuchevykh tendentsiyakh v zarubezhnykh teoriyakh terminologicheskogo planirovaniya: sotsiolingvisticheskiy aspekt [On the issue of key trends in foreign theories of terminological planning: A sociolinguistic aspect]. *Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium*. 2(41). pp. 87–101.

11. Grinev-Grinevich, S.V. (2021) Osobennosti razvitiya terminovedeniya v nachale XXI veka [The development of terminology in the early 21st century]. *Lingvistika i obrazovanie*. 1(1). pp. 49–70.
12. Akhrenova, N.A. (2018) *Dominanty sovremennoy internet-lingvistiki* [Dominants of modern Internet linguistics]. Abstract of the Philology Dr. Diss. Mytishchi.
13. Roche, C. (2015) Ontological definition. *Handbook of Terminology*. 1. pp. 128–152.
14. Fishman, J.A. (1983) Modeling rationales in corpus planning: Modernity and tradition in images of the good corpus. In: Cobarrubias, J. & Fishman, J.A. (eds) *In Progress in Language Planning*. Berlin: Mouton. pp. 107–118.
15. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
16. Winch, P. (1996) *Ideya sotsial'noy nauki* [The Idea of Social Science]. Moscow: Russian Phenomenological Society.
17. Bloor, D. (1997) *Wittgenstein, Rules and Institutions*. London; New York: Routledge.
18. Rigolot, C. (2020) Transdisciplinarity as a discipline and a way of being: complementarities and creative tensions. *Humanities and Social Sciences Communications*. 7. pp. 1–5.
19. Wermuth, M.-C. & Sambre, P. (2023) The terminological impact of pandemics COVID-19 and beyond. *Terminology*. 29(2). pp. 169–179.

Сведения об авторах:

Ардашкин И.Б. – доктор философских наук, доцент; профессор отделения социально-гуманитарных наук школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Ардашкина А.И. – лаборант отделения социально-гуманитарных наук школы общественных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия), студентка факультета иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: ardashkinaai@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Ardashkin I.B. – Dr. Sci. (Philosophy), docent; professor at the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Ardashkina A.I. – laboratory assistant at the Department of Social Sciences and Humanities, School of Social Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation); student of the Faculty of Foreign Languages, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ardashkinaai@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.02.2024;
одобрена после рецензирования 18.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.02.2024;
approved after reviewing 18.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 1(091)

doi: 10.17223/1998863X/78/7

«СЕМЕЙНЫЙ ХРОНОТОП» И МЕСТНАЯ («ЛОКАЛЬНАЯ») ИСТОРИЯ В ПАМЯТИ ИММИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2022–2023 гг.)

Александр Викторович Овчинников

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия;

Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия,

ovchinnikov8_831@mail.ru

Аннотация. Констатируется важная роль семейной памяти в процессах адаптации и интеграции иммигрантов. Вводится понятие «семейного хронотопа», который отличается от официального исторического канона «страны приема» и по многим параметрам ему противостоит. Предполагается, что «точки пересечения» между «семейным хронотопом» иммигрантов и символическим пространством «новой родины» могут возникнуть в результате заинтересованности «пришлыми» краеведческими знаниями и объектами. Данное взаимодействие может сконструировать новые «места памяти» иммигрантов, которые являются таковыми и для местных жителей.

Ключевые слова: историческая память, историческая культура, семейная память, семейный хронотоп, фронтир, иммигранты, краеведение, места памяти

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 22-28-00503 «Трансформация коллективной памяти миграционных сообществ в современной России: межпоколенческая динамика, семейные ценности и коммеморативные практики».

Для цитирования: Овчинников А.В. «Семейный хронотоп» и местная («локальная») история в памяти иммигрантов в Республике Татарстан (по материалам полевых исследований 2022–2023 гг.) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 84–93. doi: 10.17223/1998863X/78/7

Original article

“FAMILY CHRONOTOPE” AND THE LOCAL HISTORY IN THE MEMORY OF IMMIGRANTS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN (BASED ON THE MATERIALS OF FIELD RESEARCH IN 2022–2023)

Alexander V. Ovchinnikov

*Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation;*

*Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russian Federation,
ovchinnikov8_831@mail.ru*

Abstract. The importance of family memory in the processes of adaptation and integration of immigrants is stated. The concept “family chronotope” is introduced, which differs from the official historical canon of the “host country”, and in many ways opposes it. It is assumed that the “points of intersection” between the “family chronotope” of immigrants and the symbolic space of the “new homeland” may arise as a result of interest of “newcomers” in

local lore knowledge and objects. This interaction can create new “places of memory” for immigrants that are also shared by local residents.

Keywords: historical memory, historical culture, family memory, family chronotope, frontier, immigrants, local lore, places of memory

Acknowledgements: The article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-00503: Transformation of the Collective Memory of Migration Communities in Modern Russia: Intergenerational Dynamics, Family Values and Commemorative Practices.

For citation: Ovchinnikov, A.V. (2024) “Family chronotope” and the local history in the memory of immigrants in the Republic of Tatarstan (based on the materials of field research in 2022–2023). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 84–93. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/7

Введение

Отношение к иммигрантам является важным маркером уровня развития гражданско-правового сознания и степени соблюдения прав человека. Не меньшее влияние на взаимодействия «местных» и «пришлых» оказывает историческая культура [1], т.е. распространенные представления о прошлом с точки зрения официального государственного нарратива и обыденного сознания [2]. Сложившиеся на постсоветском пространстве этноцентричные истории с трудом интегрируют в свои конструкты образы прошлого иммигрантов. Последним приписываются ключевые исторические идеи «стран исхода» (например, сюжеты о «исконной территории обитания народа»). В предыдущих работах я пытался показать, что такие глобально-исторические сюжеты представляют собой часть официозной «высокой культуры», которая «объясняет реальность» исходя из интересов нескольких сильнейших акторов (в основном, государств) [3].

«Объясняемые» (иммигранты и местное население) живут в ином символическом пространстве, которое государству интересно только по мере взаимодействия с ним самим. Важнейшими элементами этого символического пространства являются семейная и территориальная идентичности. С экономической и глубоко личностной (эмоционально-аффективной) точек зрения данные идентичности важнее для человека, чем, например, конструируемые элитами некие «цивилизационные различия» (научную критику цивилизационного подхода см.: [4]). Поэтому актуально изучать не «приписываемые» иммигрантам исторические взгляды, а их собственную «семейно-территориальную» («локальную») интерпретацию минувшего, и исходя из полученных результатов предложить основные векторы мнемонической адаптации и интеграции.

Ранее мною отмечалась важность актуализации у иммигрантов не этнонациональных историй их «стран исхода», а именно семейных историй в их комбинаторике с краеведческими знаниями локальной зоны сегодняшнего пребывания [5]. Целью данной статьи является попытка введения в формирующийся теоретический базис нового понятия – «семейный хронотоп», дальнейшее осмысление особенностей взаимоотношений государственной и семейной историй, а также проверка выдвигаемых гипотез с помощью эмпирического материала – данных полевых исследований автора в 2022–2023 гг. (интервьюирования представителей 20 семей иммигрантов и анкетирования 80 иммигрантов, проживавших на момент исследования в г. Казани).

На мой взгляд, эвристическая ценность идеи хронотопа [6] пока не в полной мере осознана применительно к исследованиям по семейной памяти. Ее включение в методологический базис позволит соотнести теоретический анализ обширного эмпирического материала с фундаментальными проблемами времени [7] и пространства [8, 9] в целом, социального времени-пространства [10], а также представить семейную историю как целостный и «самодостаточный» объект исследования, «деколонизировав» «семейное» от, например, государственного и этнического.

Понятие «семейного хронотопа»

Семейная память часто рассматривается как «вспомогательный» вид памяти по отношению к памяти государственной или национальной. Видимо, подобный статус отражает характерный для постсоветского пространства «коммеморативный» государство- и этноцентризм. Официальные бюрократические структуры являются главным актором конструирования прошлого, поэтому семейная память оказывается в «подчиненном» по отношению к ним положении. В условиях иммиграции, когда усиливается «семейная сплоченность», семья на время «освобождается» от «патронажа» официальной истории «страны исхода» и, пока еще «сторонится», исторического канона «страны приема». Возрождаются домодерные реалии, когда семья становится крайне автономным (почти «изолированным») социальным институтом, и поведение индивида (иммигранта) во многом зависит от мнения родственников (в трудных условиях экономических трудностей личность «размывается» в семейном коллективе).

Большую роль в означенных процессах играет семейная память, которая в рамках «иммиграционного единения» семьи предстает набором важных социально-мифических конструктов. Для удобства изучения последних я предлагаю использовать понятие «семейного хронотопа».

В отечественной философской традиции признается важная роль М.М. Бахтина (1895–1975) в изучении феномена хронотопа. По мнению исследователя, хронотоп представляет собой объединение пространства и времени в сознании индивида или литературном произведении [11. С. 341]. На мой взгляд, Михаил Бахтин понял относительность пространственно-временных категорий, которые не являются постоянными константами, а зависят от сознания индивида. Хронотоп, на мой взгляд, ни коим образом нельзя рассматривать как некое искажение «объективной реальности». Наоборот, субъективная реальность «более реальна», нежели навязываемые всевластными акторами свои субъективные представления об окружающем (например, разные вариации политических карт мира, глобальные и национальные истории и т.д.). Если в условиях гражданского общества государство превращается в корпорацию-посредника между другими общественными силами, то и его, прежде монопольное, право на «объяснение реальности» должно стать лишь одним из вариантов таких объяснений (при этом необходимо учитывать отличия природного и социального, и не доходить до призыва, например, к отмене стандартов мер и весов).

Эвристичная ценность понятия «хронотоп» применительно к анализу «проблемы иммигрантов» (или, учитывая внутренних мигрантов и эмигрантов, в целом «проблемы мигрантов») заключается в его научном взаимодей-

полнении с понятием «фронтира», который широко используется в данной области исследований. «Фронтир» означает, прежде всего, движение в определенном территориальном направлении, освоение новых территорий [12]. Здесь наблюдаются такие элементы хронотопа, как воображение «нового» и, соответственно, «старого» пространств, конструирование «плотного на события» времени заселения прежде неведомых земель и «разреженного» времени векового проживания поколений на родине.

В последнее время фронтир понимается учеными не только как территориальное движение, но и как социальное. Например, продвижение иммигрантов и их потомков по слоям социальной стратификации является социальным фронтиром, проходящим в особом социальном пространстве-времени [13]. Фронтиром также можно считать постепенную адаптацию и интеграцию иммигрантов в систему различных взаимоотношений на новом месте жительства [14].

«Семейным хронотопом» можно считать пространственно-временные представления индивидов о прошлом и настоящем семьи, с которой они себя сами идентифицируют. Подобное определение позволяет говорить о неоднородности (прежде всего, по поколенческому критерию) семейной памяти.

Семейный хронотоп важно не путать с разрабатываемой в литературоведении темой «прозы – романа – семейной хроники». Специалисты отмечают следующие черты «семейных хроник»: линейное течение времени и *«семейная проблематика (наличие нескольких поколений одного рода, микроклимат семьи, проблемы отцов и детей), специфика историзма»* [15. С. 53]. Отмечая важность подобных исследований, применительно к заявленной в заголовке статьи темы, следует отметить высокую степень «внесемейности» подобных нарративов, сконструированных специально для читающей публики под давлением актуальной политической обстановки или идеологических потребностей государства. «Семейные хроники» отражают не столько «семейный хронотоп», сколько включенность семейной жизни в общественно-политические процессы (см., например, роман и телесериал «Вечный зов»). Объективными особенностями семейных отношений являются высокой степени эмоционально-интимные отношения, ситуативность, забвение, поэтому структурированная в угоду внешнему читателю «семейная хроника» в реальности малоинформативна.

Семейный хронотоп отличается субъективным восприятием прошлого и настоящего членами семьи. Упорядочивание же внешним наблюдателем (исследователем) семейной истории неминуемо приводит к идеальному и весьма условному общему знаменателю, оперировать которым в дальнейших построениях, на мой взгляд, некорректно. Важно не забывать, что иммиграционное сообщество не является строго организованной структурой с вертикальным управлением. Таковым в целях контроля его пытается сделать государство, деля «пришлых» по этническому принципу, и даже создавая бюрократические структуры по взаимодействию с «воображенными этносами» (см. проанализированные мною особенности исторической политики «Дома дружбы народов» в г. Казань (Республика Татарстан)) [3].

Следует констатировать наличие «государственного хронотопа», который представляет собой динамику официально транслируемых (например, через учебники, СМИ, законодательные акты, административно-политические и исторические карты и т.д.) представлений о прошлом, настоящем и будущем

государства. В советских и постсоветских практиках «государственный хронотоп» пытался включить в себя семейные истории иммигрантов. Иными словами, государство, в своих интересах конструируя историческое время и представления о своей территории, ожидает от семьи историю в «контексте эпохи» и предлагает индивидам уже готовые «семейные хронотопы».

«Семейные хронотопы» иммигрантов г. Казани

Исходя из предложенного теоретического дискурса материалы проведенных автором в 2022–2023 гг. полевых исследований семейной памяти иммигрантов г. Казани предстают следующим образом.

Главным итогом работы стала констатация факта, в целом, «изолированности» семейных хронотопов иммигрантов (особенно, у молодежи) от государственных хронотопов стран приема и исхода. Официальные дискурсы актуализируют историко-культурный фактор интеграции и позиционирует социальную среду, как мозаику «культур и цивилизаций с уникальным историческим прошлым», тогда как жизненные стратегии семей иммигрантов почти полностью исключают учет «исторических особенностей».

Постулируемые национальными историями как «определяющие», культурно-исторические факторы оказались самыми неупоминаемыми в потоке записанных в «Googl-формы» семейных хроник респондентов разных возрастных групп: *«Я родился в Узбекистане в Ферганской области, моему отцу 58 лет он работает в автобазе а маме 52 она работала в БТИ сейчас она на пенсии. кроме меня есть две сестры они оба замужем, у обеих по трое детей. а мне 18 лет я увлекаюсь футболом»*; *«Я родилась в Республике Узбекистан Ферганской обл в городе Коканде. Отец преподавал в Автодорожном техникуме. Мама работала на больницы. Я окончила Политехнический институт. 1988 году вышла замуж. У меня трое детей. Две девочки, и сын. Шесть внуков. Муж работает на автобазе, я 30 лет работала БТИ, сейчас нахожусь на пенсии. Данный момент работаю на Добропече»*¹.

Семейные хронотопы выражают следующие важные для иммигрантов пространственно-временные точки: место рождения (типична конкретизация до области и населенного пункта), место работы родителей, место учебы, смена семейного положения, рождение детей и других родственников. Когда же информанты «выводились» на разговоры о «национальном» и «историческом», то в лучшем случае с трудом вспоминали услышанные (в основном в СМИ и Интернете) «клише» (даже напрямую обращались к Интернету, пытались найти, например, факты истории татар).

Отдельно взятая семья иммигрантов напоминает «мини-государство» со своей внутренней и внешней политикой, экономическими интересами и, конечно же, памятью, которая отлична от образчиков «высокой культуры». Даже имеющие относительно высокий социальный статус иммигранты на деле не стремятся «приобщиться» к официальным идеологемам и конструируют свои семейные хронотопы «на расстоянии» от государства.

В этом отношении интересны варианты семейной истории супружеской пары из Казахстана, переехавшей в Россию в 2002 г. Респонденты ответственно к просьбе описать историю своей семьи, и готовили представленные ниже тексты в течение целого месяца. Иными словами,

¹ Полевые материалы А.В. Овчинникова. Пунктуация и орфография сохранены.

у них было время, чтобы определить, по их мнению, самое важное в истории семьи. В результате получились следующие варианты семейных хронотопов:

1. Муж: *«Я родился в городе Кокчетав, КазССР в 1963 году. История появления семьи в которой я родился в Казахстане такова: в 1870 году мой прадед со своей матерью перебрались пешком из деревни Яна Кишит Казанской губернии в город Кокчетав. Мой прадед по началу был приказчиком у купца Соколова (в Кокчетаве), который со временем, не имея собственных детей выделил прадеду часть своего 5000 рублей на свое дело, так прадед сам стал купцом. Ходил за товаром с караванами в Китай, обзавелся семьей, построил три дома в Кокчетаве. Один из этих домов стоит до сих пор в нем находится музей. Мой дед один из шести детей прадеда родился в Кокчетаве в 1903 году, получил образование в университете в Москве. Вернулся в Кокчетав, женился на дочери купца из города Петропавловск (Казахстан). У них родилось девять детей, выжили шестеро, в том числе мой отец. Отец работал водителем скорой помощи, преподавал в автошколе ДОСААФ, женился в 1962 году на моей матери, которая родилась в Китае в татарской семье. Дед ее был муллой в городе Хайлар (КНР), в возрасте 8 лет она с семьей переехала с родителями в Кокчетав. У меня есть брат, который и сейчас проживает с семьей в Кокчетаве, у него двое детей. У меня жена и трое детей и в 2002 году я получил приглашение на работу в Казань и переехал сюда с женой и двумя младшими детьми. В настоящее время проживаю в Казани, у меня трое детей, зять, две снохи и четверо внуков»¹.*

В приведенном тексте – пример абсолютно изолированного от государственного семейного хронотопа. В семейных времени и пространстве не нашлось места для важных с точки зрения официальной истории событий – войн, развала государств и т.д. Например, отсутствуют важные для государственного хронотопа временные границы между Российской империей, СССР и современными Россией и Казахстаном.

2. Жена: *«Я родилась в городе Алма-ата в 1960 году. В семье была единственным ребенком, росла без отца, родители развелись рано. Мы жили троим: я, мама и бабушка. Мама была единственной дочерью и кроме нее у бабушки было еще пять сыновей. Моя бабушка была дочерью раскулаченного крестьянина из Башкирии, который был раскулачен и сослан в Сибирь, поэтому историю своей семьи я толком не знаю: об этом не принято было говорить. В Сибири бабушкина семья жила в городе Тайшет, а в возрасте когда ей было 14 лет они переехали в Казахстан в небольшой аул под Алма-атой. бабушка была замужем дважды, первый муж ей погиб в начале финской войны, второй муж без вести пропал в ВОВ в 1942 году. Он одна поднимала шестерых детей, работала в колхозе за трудодни, жили они в землянке, жизнь ее была тяжелой. Мама из-за того что она единственная девочка в семье тоже с детства много трудилась. Несмотря на тяжелую жизнь все бабушкины дети очень хорошо учились, четверо из них закончили школу на отлично, моя мама и ее младший брат получили высшее образование. Мама работала в текстильной промышленности, а ее младший брат стал офицером советской армии. Из истории семьи отца я знаю только что*

¹ Полевые материалы А.В. Овчинникова. Пунктуация и орфография сохранены.

его отец воевал в ВОВ, погиб под Киевом и там же захоронен в братской могиле. В 1981 году я вышла замуж, сейчас у меня муж и трое детей, четверо внуков. В 2002 году муж получил приглашение на работу в Казань и мы переехали сюда с двумя младшими детьми»¹.

В данном случае фиксируются «точки пересечения» государственного и семейного хронотопов: раскулачивание, советско-финляндская война, Великая Отечественная война. Эти события в дискурсе семейной истории наделяются негативными коннотациями, так как явно «нарушили нормальный ход жизни».

Иммиграция не означает отсутствия «сложного подросткового возраста» и «конфликта отцов и детей», который может казаться началом выхода подростка из прежнего «культурного поля» и интеграцию в символическое пространство «новой Родины». Анкетирование второго поколения иммигрантов, родившихся в России или переехавших в раннем возрасте, свидетельствует о подчеркнутом уважительном отношении к «стране исхода», но при этом она, как и у родителей, не занимает значительного места в семейном хронотопе. Хотя общероссийские культурные элементы (например, язык) усваиваются, в силу необходимости, в должной мере, границы хронотопа все равно не становятся диффузными. Индивид продолжает ассоциировать себя прежде всего со своей семьей.

«Семейный хронотоп» иммигрантов и локальные «места памяти»

«Реальной» точкой взаимодействия семейных хронотопов «местных» и «пришлых» могут стать исторические достопримечательности их нынешнего совместного района проживания, которые они часто видят и образы которых уже связаны с какими-либо событиями семейной истории (т.е. стали «местами памяти»).

Иммигрант, его семья прибывают не столько из «страны исхода» в целом, сколько из определенного небольшого района, который они хорошо знают и с которым у них ассоциируются жизненные истории, семейные предания и, как правило, отрывочные исторические сведения. «Места памяти» характеризуются следующим образом: «Я считаю что это дом бабушки, потому что мы 2 года назад потеряли дедушку»; «наверное родной дом»; «Важным местом памяти является родительский дом, где произошло большое количество событий. Дом, где сплочались все родственники»; «В 2019 году в городе Коканд состоялся всемирный фестиваль ремесленников, всей семьей были»; «Дом в котором родились мои родители и кладбище где они похоронены»; «Мы были в Баку на Каспийском море, горячие источники, девять башня, водопады»; «Город Кокчетав дом родителей, где я родился и вырос, где жило четыре поколения нашей семьи»; «Дом в котором я родилась и выросла, город Алма-ата, который я очень люблю»; «Скорее всего, дом отца матери» и т.д.

В большинстве случаев свои «места памяти» респонденты локализовали в стране исхода, но редко ассоциировали их со страной целом. Только один

¹ Полевые материалы А.В. Овчинникова. Пунктуация и орфография сохранены.

² Полевые материалы А.В. Овчинникова. Пунктуация и орфография сохранены.

раз «место памяти» отождествлялось с внутренним российским объектом: «Да, конечно. Могут рассказать о прекрасном городе Казани»¹.

В настоящее время иммигранты проживают не в России в целом, не в Татарстане, а в конкретных деревнях, селах, поселках и городах. Актуализация «местного хронотопа» (в том числе путем появления блока соответствующих вопросов на экзаменах на получение ВНЖ и гражданства) поможет иммигрантам формировать новую семейную историю, наделять особым символическим значением историко-культурные и природные объекты вокруг себя, что приведет к диффузии местной истории и исторической памяти иммигрантов, чего на более высоком, государственном, уровне, как показал опыт советского и российского этнофедерализма, достигнуть гораздо сложнее. Постепенно обнаружатся общие элементы семейных хронотопов иммигрантов и местного населения, что будет означать интеграцию данных социальных групп.

Список источников

1. Тишков В.А. Новая историческая культура. М. : Изд-во МГОУ, 2011. 60 с.
2. На пути к новому прошлому? Культурная память России в ситуации глобальных миграционных вызовов: монография / А.А. Линченко, О.В. Головашина, Д.А. Аникин, А.В. Овчинников, А. Буллер, В.С. Благинин, Р.Ю. Батищев. СПб. : Алетей, 2023.
3. Овчинников А.В. «История старших»: историческая политика Дома Дружбы народов г. Казани // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 2. С. 37–46. doi: 10.15826/tetm.2022.2.036
4. Шнирельман В.А. Цивилизационный подход как национальная идея // *Национализм в мировой истории* / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М. : Наука, 2007. С. 4–24.
5. Овчинников А.В. В иерархии «матрешки идентичностей»: «шахматная доска» отечественной исторической памяти (краеведение и иммигранты) // *Новое прошлое / The New Past*. 2023. № 2. С. 192–201. doi: 10.18522/2500-3224-2023-2-192-201
6. Политов А.В. Онтологический смысл понятия хронотопа в философских идеях А. Ухтомского и М. Бахтина // *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук*. 2014. Т. 14, вып. 4. С. 50–62.
7. Каменев А.С. Теория относительности А. Эйнштейна и некоторые философские проблемы времени // *Вестник Московского городского педагогического университета*. Серия: Философские науки. № 2 (14). 2015. С. 42–59.
8. Сафонова Н.В. К апориям Зенона // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология*. 2018. Т. 4 (70), № 1. С. 65–73.
9. Шкарупа В.М. Обоснование косвенной неразрешимости апории Зенона «Ахилл» посредством наглядного представления неевклидовой геометрии // *Вестник Омского университета*. 2020. Т. 25, № 1. С. 74–77.
10. Бурнашев К.Э. Хронотоп – ключ к познанию социального пространства // *Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского*. Серия: Социальные науки. 2007. № 2 (7). С. 15–19.
11. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // *Сочинения* : в 7 т. М. : Языки славянских культур, 2012. Т. 3. С. 340–503.
12. Тернер Ф. Дж. Фронтир в американской истории / пер. с англ. А.И. Петренко. М. : Весь Мир, 2009. 304 с.
13. Овчинников А.В. Символический предел фронта: «генофонд людей» и миграция, прошлое и настоящее // *Журнал пограничных исследований* 2020. № 2 (5). С. 60–76.
14. Глостанова М.В. Транскультурация как модель социокультурной динамики и проблема множественной идентификации // *Вопросы социальной теории*. 2011. Т. V. С. 126–149.
15. Никольский Е.В. Семейная хроника: проблемы истории и теории // *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. Серія: Філологічні науки. 2013. № 2 (6). С. 52–54.

¹ Полевые материалы А.В. Овчинникова. Пунктуация и орфография сохранены.

References

1. Tishkov, V.A. (2011) *Novaya istoricheskaya kul'tura* [New Historical Culture]. Moscow: MSOU.
2. Linchenko, A.A., Golovashina, O.V., Anikin, D.A., Ovchinnikov, A.V., Buller, A., Blaginin, V.S. & Batishchev, R.Yu. (2023) *Na puti k novomu proshlomu? Kul'turnaya pamyat' Rossii v situatsii global'nykh migratsionnykh vyzovov* [On the way to a new past? The cultural memory of Russia in the situation of global migration challenges]. St. Petersburg: Aleteyya.
3. Ovchinnikov, A.V. (2022) "Istoriya starshikh": istoricheskaya politika Doma Druzhby narodov g. Kazani ["The history of the elders": The historical policy of the House of Friendship of Peoples of Kazan]. *Tempus et Memoria*. 3(2). pp. 37–46. doi: 10.15826/tetm.2022.2.036
4. Shnirelman, V.A. (2007) Tsivilizatsionnyy podkhod kak natsional'naya ideya [The civilizational approach as a national idea]. In: Tishkov, V.A. & Shnirelman, V.A. (eds) *Natsionalizm v mirovoy istorii* [Nationalism in world history]. Moscow: Nauka. pp. 4–24.
5. Ovchinnikov, A.V. (2023) In the hierarchy of the "matryoshka of identities": The "chess-board" of national historical memory (local lore and immigrants). *Novoe proshloe – The New Past*. 2. pp. 192–201. (In Russian). doi: 10.18522/2500-3224-2023-2-192-201
6. Politov, A.V. (2014) Ontologicheskii smysl ponyatiya khronotopa v filosofskikh ideyakh A. Ukhtomskogo i M. Bakhtina [The ontological meaning of the concept of chronotope in the philosophical ideas of A. Ukhtomsky and M. Bakhtin]. *Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk*. 14(4). pp. 50–62.
7. Kameney, A.S. (2015) Teoriya otnositel'nosti A. Eynshteyna i nekotorye filosofskie problemy vremeni [A. Einstein's theory of relativity and some philosophical problems of time]. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki*. 2(14). pp. 42–59.
8. Safonova, N.V. (2018) K aporiyam Zenona [To the aporias of Zeno]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya*. 4-1(70). pp. 65–73.
9. Shkarupa, V.M. (2020) Obosnovanie kosvennoy nerazreshimosti aporii Zenona "Akhill" posredstvom naglyadnogo predstavleniya neevklidovoy geometrii [Justification of the indirect undecidability of Zeno's aporia "Achilles" through a visual representation of non-Euclidean geometry]. *Vestnik Omskogo universiteta*. 25(1). pp. 74–77.
10. Burnashev, K.E. (2007) Khronotop – klyuch k poznaniyu sotsial'nogo prostranstva [Chronotope is the key to understanding social space]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki*. 2(7). pp. 15–19.
11. Bakhtin, M.M. (2012) *Sochineniya* [Works]. Vol. 3. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. pp. 340–503.
12. Turner, F.J. (2009) *Frontir v amerikanskoj istorii* [The Frontier in American History]. Translated from English by A.I. Petrenko. Moscow: Ves' Mir.
13. Ovchinnikov, A.V. (2020) Simvolicheskiy predel frontira: "genofond lyudey" i migratsiya, proshloe i nastoyashchee [The symbolic frontier limit: The "human gene pool" and migration, past and present]. *Zhurnal pogranichnykh issledovaniy*. 2(5). pp. 60–76.
14. Tlostanova, M.V. (2011) Transkul'turatsiya kak model' sotsiokul'turnoy dinamiki i probleme mnozhestvennoy identifikatsii [Transculturation as a model of sociocultural dynamics and the problem of multiple identification]. *Voprosy sotsial'noy teorii*. 5. pp. 126–149.
15. Nikolskiy, E.V. (2013) Semeynaya khronika: problemy istorii i teorii [The family chronicle: Problems of history and theory]. *Visnik Dnipropetrovs'kogo universitetu imeni Al'freda Nobelya. Seriya: Filologichni nauki*. 2(6). pp. 52–54.

Сведения об авторе:

Овчинников А.В. – кандидат исторических наук, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ (Москва, Россия); доцент кафедры менеджмента Казанского государственного энергетического университета (Казань, Россия). E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ovchinnikov A.V. – Cand. Sci. (History), researcher at the Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation); associate professor at the

Department of Management, Kazan State Energy University (Kazan, Russian Federation).
E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 05.12.2023;
одобрена после рецензирования 18.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 05.12.2023;
approved after reviewing 18.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья
УДК 304.2+378
doi: 10.17223/1998863X/78/8

СОЦИАЛЬНОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО В ВИРТУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Владимир Валерьевич Петров

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия;
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Новосибирск, Россия, vvpetrov@mail.nsu.ru*

Аннотация. В работе показано, что развитие виртуальной коммуникации послужило рычагом стихийного социального мифотворчества. Выявлено, что виртуальное образовательное пространство является благоприятной средой распространения социальных мифов, влияющих на формирование личности. Обосновано, что стихийное распространение социальных мифов в виртуальном образовательном пространстве способно привести к снижению качества образования в эгалитарном секторе.

Ключевые слова: система образования, массовое сознание, иллюзорная реальность

Для цитирования: Петров В.В. Социальное мифотворчество в виртуальном образовательном пространстве // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 94–104. doi: 10.17223/1998863X/78/8

Original article

SOCIAL MYTH-MAKING IN THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE

Vladimir V. Petrov

*Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation;
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation
vvpetrov@mail.nsu.ru*

Abstract. Mythology, acting as one of the forms of reality constructor, is an integral part of culture. The emergence of virtualization and the rapid development of the communication space served as a lever for the rapid development of social myth-making, which is actively being introduced into all spheres of society, including the education system. Thanks to the virtualization of the educational environment, on the one hand, the pace of construction, development and dissemination of social myth increases, the architecture of living space is built, behavior, relationships and norms of the existing order are sanctioned, and the influence of social myth on the ways of personality formation is updated. On the other hand, by increasing the speed of spread of social myth in the virtual environment, as well as its communication accessibility, active spontaneous myth-making is carried out, influencing the formation of mass consciousness. The virtual environment is a form of communication where broad interpersonal interaction is realized through digital technologies. For social mythology, it acts as an ideal one and contributes to the construction and dissemination of social myths present in learning processes. This environment influences human consciousness and participates in the formation of personality. With the advent of new technologies, only the form of the social myth changes. The content of social myth and social mythology does not undergo significant changes. Social myth-making in the virtual educational space develops spontaneously and in an avalanche-like manner. It needs mechanisms for social regulation and, above all,

control over the quality and reliability of the content offered. Such control, carried out by all actors in the educational process, taking into account the principles of freedom of expression and pluralism of opinions of participants in communication in the virtual educational space, will allow the formation of the necessary educational competencies without limiting the discussion environment and academic freedom.

Keywords: education system, mass consciousness, illusory reality

For citation: Petrov, V.V. (2024) Social myth-making in the virtual educational space. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 94–104. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/8

Мифология, выступая в качестве одной из форм конструктора реальности, является неотъемлемой частью культуры. Встраиваясь в систему общественных отношений и влияя на социальные процессы, миф приспосабливается к современным реалиям и становится социальным элементом – социальным мифом. В самом общем смысле под социальным мифом понимается сформировавшееся на бессознательном уровне мировоззрение, влияющее на социальные действия людей и выражающее интересы различных социальных групп, а социальное мифотворчество представляет собой процесс создания социальных мифов, общественных иллюзий в разных сферах общественной жизни [1. С. 119].

Актуальность социальной мифологии обусловлена тем, что современный социальный миф – это не архаичный, отживший себя вымысел, а переживаемый, действующий, встроенный в реальность и наделяющий ее смыслом феномен. Миф создает для человека иллюзию понимания мира, он находит поддержку в массовом сознании, в свою очередь массовое сознание опирается на миф. Поскольку социальный миф рождается посредством коммуникации, то развитие коммуникационного пространства неизбежно приводит к расширению социальной мифологии.

С начала XX в. анализ социального мифа как феномена широко осуществлялся отечественными (Е.М. Мелетинский, А.Ф. Лосев, В.Я. Пропп, М.М. Бахтин, П.С. Гуревич др.) и зарубежными (Ж. Сорель, Э. Кассирер, Р. Барт, Ф. Ницше, З. Фрейд, Г. Лебон, К. Леви-Строс, Э. Дюркгейм и др.) исследователями, но при этом их внимание, прежде всего, было сосредоточено на классической мифологии и процессах мифотворчества, а также на изучении специфики мифосознания как особенной формы познания и создания социокультурной реальности.

Интенсивное распространение информационно-коммуникационных технологий и последующих процессов виртуализации послужило рычагом стремительного развития социального мифотворчества, которое активно внедряется во все сферы жизни общества, в том числе и в систему образования. Образовательное пространство¹, расширяясь за счет виртуализации, приобретает новые инструменты для совершенствования процесса обучения. Благодаря виртуализации образовательной среды, с одной стороны, возрастают темпы конструирования, развития и распространения социального мифа,

¹ Образовательное пространство является неотъемлемой составной частью социального пространства, включающего в себя комплекс системных, процессуальных, ресурсных, субъектно-деятельностных и духовно-информационных составляющих. Целостность данного комплекса обеспечивается интеграционными процессами, проявляющимися на всех его уровнях и затрагивающих все компоненты пространства, а также непрерывностью образовательного процесса во всех его составляющих и по всем параметрам [2. С. 8].

происходит выстраивание архитектуры жизненного пространства, санкционирование поведения, отношений и норм существующего порядка, а также актуализируется влияние социального мифа на способы формирования личности. С другой стороны, за счет увеличения скорости распространения социального мифа в виртуальной среде, а также его коммуникационной доступности, осуществляется активное стихийное мифотворчество, влияющее на формирование массового сознания [3. С. 24]. Анализ современного социального мифа и мифотворчества в системе образования, переходящего в виртуальную плоскость, представляет собой инструмент исследования будущего. Для того чтобы понять, каким образом и в каких пределах современное социальное мифотворчество способно изменить систему трансляции фундаментального знания, необходимо выявить специфику распространения социальных мифов в виртуальном образовательном пространстве и определить механизмы возможного социального контроля.

Поскольку данная проблема носит многоаспектный характер, то для нас чрезвычайно важными являются не только работы философов, но и социологов, культурологов и политологов. Так, управление массовым сознанием с помощью мифотворческих инструментов рассматривается в трудах Дж. Гибсона, Д. Гордона, Ж. Дюбуа, И.Л. Викентьева, Е.В. Черневич, М.Б. Ямпольского и других исследователей. В работах Р. Барта, созданных в семиотическом ключе, показано, что миф приобрел статус эффективной методологической категории для исследования быта, повседневности, рекламы и продвижения определенных идей. Данное направление получило развитие в трудах Ю.М. Бохеньского, А.Н. Притчина, Б.С. Терemenko, А.В. Ульяновского и других ученых, акцентирующих внимание на собственно мифологических феноменах.

Социологические аспекты массовой коммуникации раскрыты в трудах советских и российских ученых Э.Г. Багирова, Н.Н. Богомоловой, Б.А. Грушина, Т.М. Дридзе, Ю.А. Левады, А.П. Шарикова. Данные работы ориентированы на выявление параметров структуры коммуникационного процесса и не акцентируют его содержательные аспекты.

Социальные мифы в отечественном образовании достаточно детально рассматривались Т.А. Козловой, И.А. Колесниковой, М.А. Мазниченко, И.Д. Сулимой, А.Д. Фофановой и др., но переход мифа в виртуальное информационно-коммуникационное пространство практически не затрагивался.

Анализ работ Р.Ф. Авдеева, Е.С. Баразговой, И.Г. Борисенко, А.Е. Войскунского, Г.Р. Громова, И.Б. Новика, В.Ф. Олешко, Б.С. Павлова, А.А. Уварова, А.В. Хуторского, С.И. Черныха и других авторов по проблемам использования информационных технологий в образовательном процессе показал, что вопросам виртуализации образовательного пространства посвящено достаточно большое количество исследований, в которых раскрываются вопросы общих подходов к использованию информационных технологий, однако виртуальное образовательное пространство как область социального мифотворчества отдельно не рассматривается. Перечисленные работы представляют для нас несомненную ценность, но каждая из них имеет свою достаточно узкую специфическую направленность. В формате данной статьи полный анализ рассматриваемого феномена провести достаточно проблематично, поэтому мы акцентируем исследовательское внимание на ключевых характеристиках современной социальной мифологии в виртуальном образовательном пространстве.

Прежде всего, для нас важно определить сущность современного мифа как части социальной реальности. А.В. Ставицкий отмечает, что «вся разница между мифом „архаичным“ и мифом „современным“ заключается лишь в том, что первый – уже отжил свое „умер“ и воспринимается исключительно как миф, т.е. вымысел, фикция, заблуждение, обман. Второй же миф – живой, прочувствованный, переживаемый, творимый, действующий. Он полностью отождествляется с реальностью, наделяя ее высшим смыслом» [4. С. 168]. Определение социальной мифологии – сложно осмысляемый процесс ввиду его неоднозначной интерпретации. Разные источники дают различное его толкование, что связано со сферой употребления данного феномена, а также с непосредственным авторским вкладом в его развитие и изучение. Ряд исследователей связывает феномен «социальная мифология» с идеологической и политической подоплекой. Так, например, П.С. Гуревич определял социальную мифологию как особый тип идеологического сознания, а причины ее возникновения связывал с усилением кризисных процессов в капиталистической экономике, социальных отношениях, политике и общественном сознании [5. С. 6–7]. В свою очередь, А.М. Дубравина [6. С. 127] и П.А. Плюто [7. С. 215] определяют социальный миф в той или иной взаимосвязи с социальными иллюзиями. А.Г. Иванов и И.П. Полякова предлагают следующее толкование термина «социальная мифология»: «Социальная мифология – это аксиологически нагруженный феномен, образующий систему мифов о процессах общественного развития, обществе в целом, оказывающий существенное влияние на общественное сознание и приводящий к активизации деятельности отдельных социальных групп, всего социума» [8. С. 11]. На наш взгляд, последнее определение весьма полно отражает специфику деятельности социальных мифов в области социального, однако ему не хватает функциональных черт причин инициативности социальных мифов. Первой чертой социального мифа является наличие власти, воли, заданной извне цели; вторая черта обусловлена связью живущих внутри мифа, социальный миф служит установлению и поддержанию мировоззрения; третья черта подчеркивает искривление и замещение реальной информации, которая берется за основу для создания социального мифа. По мнению А.В. Ульяновского, «единственное, в чем солидарны мыслители – в некоторой степени ложности мифа, как будто миф искажает действительное положение вещей для живущих в мифе...» [9. С. 70]. Он отмечает, что если есть возможность найти точки зрения, когда информация ложна, в то время, как существуют точки зрения, когда она истинна, но при этом присутствует лицо, заинтересованное в строго определенной интерпретации – тогда именно эта интерпретация и будет выступать в качестве современного мифа [10. С. 19]. Помимо изложенного выше, социальный миф должен являться не просто внедряемым в общественное сознание знанием, но и стать добровольно принимаемой нормой, как правило, не вызывающей сомнения.

Несмотря на разноаспектный характер конструирования определения «социальный миф» различными исследователями, тем не менее, мы можем выявить суть социального мифа, которая заключается в сокрытии реального знания, его частичной трансформации в иллюзию, выполняющую необходимую функцию – ориентацию общественного поведения и социального отношения в определенном направлении. Мы будем понимать социальный миф

как намеренно сконструированный образ, отвечающий запросам уполномоченного субъекта, способный объяснить собственную значимость и являющийся истиной для выбранной целевой аудитории.

Тогда социальная мифология может определяться как система, охватывающая социальное бытие в виде мифов, придающих социальной реальности мифологическую иллюзорность с целью подмены реального знания для формирования определенного отношения и поведения. Развитие данной системы происходит за счет социального мифотворчества, отражающего два процесса: целенаправленное продуцирование мифов и стихийное их возникновение в мифологическом сознании. Стихийное возникновение социальных мифов, т.е. «настоящее» социальное мифотворчество – процесс объективного формирования мифа, дистанцированный от воли и непосредственного влияния социальных объектов. Самостоятельно миф может возникнуть либо как потребность настоящего времени, попытка и средство объяснить те обстоятельства или ситуации, которые не могут быть объяснены с рациональной точки зрения, либо как упрощенная интерпретация не для всех понятных объяснений. В отличие от стихийного, целеустремленное мифотворчество является рациональным мифотворчеством, формирующим в качестве итогового продукта миф с заранее обдуманым замыслом. В настоящее время отчетливо проявляется тенденция намеренного конструирования социальных мифов, отвечающих определенным запросам и совмещающих в себе упрощенную интерпретацию тех или иных фактов. Именно эти два процесса – стихийное и мнимое мифотворчество – мы можем наблюдать в виртуальной плоскости. Динамика социального мифотворчества в виртуальной среде содержит как хаотичное, иррациональное появление социальных мифов, так и намеренное их конструирование и распространение. Таким образом, под социальным мифотворчеством мы будем понимать следующее: социальное мифотворчество представляет собой процесс создания и распространения искажающих, упрощающих или подменяющих реальное знание информационных сообщений, которые оказывают влияние на поведение людей и их отношение к действительности. Данные сообщения могут быть созданы как случайно в результате недостаточной информированности, так и намерено, отвечая интересам и целям либо отдельных индивидов, либо социальных групп.

По данным А.П. Корякиной, механизмы мифологизации в наши дни работают более чем успешно: виртуализация вступает в союз с мифологизацией, «становясь не только ее незаменимой помощницей, но и сливаясь с ней в единое целое, что ускоряет процессы мифологизации во много раз» [11. С. 103]. Появление мифов в виртуальной среде является актуальной темой для многих исследований современной действительности. Так, в исследовательских работах начала XXI в., связанных с мифотворчеством, акцент смещается в сторону новых технологий мифотворчества. Тенденция последнего десятилетия – исследование феномена мифотворчества в виртуальном пространстве глобальной информационной сети [3. С. 26]. За счет виртуализации социальная мифология «захватывает» новые площадки транслируемой информации, адаптируется к новым условиям и тем самым расширяет поле социальных мифов – в этом плане мы можем говорить о непосредственной мобильности социальной мифологии. Поскольку виртуальная среда представляет собой форму общения, где реализуется широкое межличностное

взаимодействие, осуществляющееся посредством цифровых технологий [12. С. 99], то для социальной мифологии она выступает в качестве идеальной, способствующей конструированию и распространению социальных мифов, присутствующих в процессах обучения¹, влияющих на человеческое сознание и формирующих личность [14. С. 70]. Социальные мифы неизбежно содержатся в процессах воспитания и образования, а благодаря современным технологиям сфера образования существует в двух реальностях – реальной и виртуальной. Таким образом, социальные мифы одновременно существуют в нескольких плоскостях образовательного пространства, колоссально увеличивая сферу собственного распространения. В свою очередь, процессы виртуализации, развивающиеся в современных реалиях, трансформируют и переводят классическое образование на качественно новый уровень – учебные заведения частично уходят в виртуальное поле в том смысле, что учебный процесс, преодолевая физические дистанции, во многих случаях не требует очного присутствия в одном пространстве и в одно время всех вовлеченных субъектов действия, кроме того, виртуальность несет в себе ряд возможностей для построения разнообразных симуляционных структур [15. С. 7]. В самом широком смысле виртуальное образовательное пространство может быть представлено как «информационное пространство взаимодействия участников образовательного процесса, порождаемое информационно-коммуникативными технологиями» [16. С. 53]. В рамках нашей работы под виртуальным образовательным пространством мы будем понимать особую многофункциональную пространственную модель, реализующую совокупность информационных и коммуникационных технологий для благоприятного взаимодействия участников образовательного процесса друг с другом и с образовательными объектами, направленную на достижение ими компетентных результатов.

Как мы отмечали ранее, социальные мифы мягко и постепенно создают нужный образ образовательной системы в мировоззрении широких слоев населения. И в этом плане, перемещаясь в плоскость виртуального образовательного пространства, они не трансформировали и не утратили свои сущностные характеристики, а приобрели обоснованные причины перехода на новый уровень реализации образования. С появлением новых технологий, в частности с появлением новых средств массовой коммуникации, происходит изменение лишь формы социального мифа. Содержание социального мифа и, соответственно, социальной мифологии не подвергается при этом существенным изменениям. Соответственно, социальные мифы в виртуальном образовательном пространстве представляют собой те же мифы «реального» классического образования, но под влиянием ряда причин имеющие смысл возникновения и распространения в виртуальной плоскости образовательного процесса. Одной из важных черт виртуального пространства является его массовость, где географически не связанные между собой индивиды, тем не менее, находятся в одном месте, взаимодействуют друг с другом, делятся опытом и знаниями, собираются и организуют сообщества, вещая на огромные аудитории, формируя ценности и нормы массовой культуры. Виртуальное образовательное пространство, выступая площадкой взаимодействия большого количества людей, связанных общей образовательной идеей, является идеальной средой для

¹ Как отметил К. Флад, «Миф – это форма объяснения» [13. С. 9].

распространения социальных мифов, предоставляя возможность глобального охвата аудитории и распространения необходимых установок.

Важной причиной интенсивного развития социального мифа в виртуальном образовательном пространстве является то, что массовая коммуникация делает мифотворчество дистантным и анонимным [17. С. 13], т.е. появляется возможность сохранения анонимности создателя – в сети помимо официальных и формальных образовательных ресурсов существует и развивается множество неформальных сообществ и объединений (студенческие группы, форумы, «консультационные организации», «школы» и т.д.), на платформах которых могут размещаться «посты», объявления, новости, программы и тому подобное пользователями, пожелавшими остаться анонимными; при этом содержание предлагаемого к размещению материала может носить явный/ неявный характер информации, содержащей какие-либо предпосылки или действительные элементы социальных мифов. Образование же, как мы отмечали ранее, является важнейшим системообразующим социальным институтом, благодаря которому определяются профессиональные, научные, интеллектуальные, культурно-социальные перспективы и направления любого рода деятельности в социуме. Переход образования в виртуальную плоскость формирует виртуальное образовательное пространство, представляющее собой особую многофункциональную разнонаправленную пространственную модель, реализующую совокупность информационных и коммуникационных технологий для взаимодействия участников образовательного процесса друг с другом и с образовательными объектами, но результат при этом становится сложнопрогнозируемым. Соответственно, социальное мифотворчество, которое стихийно и лавинообразно развивается в виртуальном образовательном пространстве, нуждается в социальном регулировании, прежде всего в контроле качества и достоверности предлагаемого контента. Для того чтобы подобное регулирование было действительно социальным, а не формальным, необходима выработка четких критериев и создание определенных механизмов. Прежде всего, обозначим, что под социальным регулированием мы понимаем «совокупность информационных программных и материальных ресурсов, которыми располагают государства, межгосударственные образования и негосударственные социальные структуры, действующие в киберпространстве, для того, чтобы убеждаться в соответствии поведения пользователей всем правилам, предписаниям, нормативным актам и законам, регулирующим информационное взаимодействие в виртуальной среде, а в необходимых случаях и осуществлять воздействие на пользователей» [18]. Л. Лессиг, исследовавший проблему регулирования взаимоотношений в телекоммуникационных сетях, предложил классификацию, состоящую из четырех способов контроля: осуществление формального контроля посредством законов и нормативно-правовых актов; неформальные правила участников коммуникации, выраженные нормами; рыночная регуляция посредством предоставления платного доступа к определенному рода контенту; применение средств технического контроля [19]. Основные положения концепции Л. Лессига можно рассматривать как фундамент программы социального контроля в медиапространстве. Для нас принципиально важно, что данная концепция реализована не на каком-либо одном уровне, а на трех взаимосвязанных: нормативно-правовом, техническом и неформальном. Ос-

нову первого уровня составляют конкретные государственные законы (Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [20] и др.), а также официальные интернет-организации (напр., «Лига безопасного интернета»¹ и ряд других); технический контроль обусловлен применением специализированных компьютерных программ и фильтров (в качестве примера можно привести, например, сервис «Белый интернет»²), кроме того, примерами могут выступать пользовательские соглашения; что же касается системы неформального контроля, то она, как правило, воплощена в правилах сетевой этики (Нетикет³) [24. С. 17].

На наш взгляд, в качестве регуляторов социального мифотворчества в виртуальном образовательном пространстве могут выступать следующие механизмы. Во-первых, модерация контента. Платформы, на которых происходит реализация образовательных проектов и программ, могут иметь различные алгоритмы для проверки и фильтрации контента, размещаемого пользователями. Данная модерация, основанная на заранее установленных политиках и пользовательских соглашениях, будет препятствовать распространению недостоверной информации. Во-вторых, автоматический анализ текста. Использование технологий, обрабатывающих естественный язык, а также применение машинного обучения позволяет автоматически анализировать тексты, благодаря чему можно выделять ключевые фразы или слова, относящиеся к потенциально неприемлемому социальному мифотворчеству, предупреждая об этом пользователя. В-третьих, система рейтингов и обратная связь. Для пользователей может быть реализована возможность комментирования и оценки материалов, представленных в виртуальном образовательном пространстве, с целью создания механизма обратной связи. Данный подход позволит пользователям самостоятельно определять ресурсы с низкой степенью достоверности размещаемого контента, включая потенциально неприемлемые социальные мифы и высказывания. И, наконец, в-четвертых – осуществление обучения и повышения уровня информационной грамотности. С целью релевантного подхода к взаимодействию с социальными мифами виртуальное образовательное пространство может включать в себя программы и проекты, нацеленные на повышение уровня информационной грамотности, направленной на формирование у обучающихся навыков рефлексивного осмысления получаемой информации и развитие критического мышления (при условии обязательной предварительной оценки данных программ и проектов внешним общепризнанным экспертным сообществом).

Комбинация обозначенных механизмов и форм контроля, на наш взгляд, может помочь в сдерживании социального мифотворчества в виртуальном образовательном пространстве. Так, например, комбинация модерации контента и автоматического анализа текста может позволить оперативно выяв-

¹ Лига безопасного Интернета учреждена в 2011 г. при поддержке МВД России, Минкомсвязи и Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Основная цель – создание безопасного пространства Интернета на территории Российской Федерации [21].

² Выступает в качестве «путеводителя» по безопасности в онлайн-среде для блогеров и простых пользователей. В настоящее время подписан договор о сотрудничестве между «Белым интернетом» и Ассоциацией блогеров и агентств (АБА), представляющий собой соглашение о философии цифровой гигиены и грамотности [22].

³ Нетикет (неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет») – правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых придерживаются большинство [23].

лять и удалять потенциально неприемлемую или вредоносную информацию. Рейтинги и обратная связь позволяют пользователям делиться своим мнением о качестве реализации образовательного процесса и давать публичную оценку недостоверным или сомнительным ресурсам. Экспертное сообщество способно выступать в роли авторитетного источника, располагающего достоверной информацией. Повышение уровня информационной грамотности поможет обучающимся в виртуальном образовательном пространстве самостоятельно отличать достоверное знание от намеренно сконструированного социального мифа: еще раз подчеркнем, что осуществление контроля и обратной связи направлено не столько на запрет или ограничение распространения социальных мифов в виртуальном образовательном пространстве, что является практически неразрешимой задачей, сколько на создание возможности для пользователя самостоятельно определять достоверность и значимость предлагаемого контента.

Подобный контроль, осуществляемый со стороны всех акторов образовательного процесса с учетом принципов свободы выражения и плюрализма мнений участников коммуникации в виртуальном образовательном пространстве, позволит сформировать необходимые образовательные компетенции, не ограничивая дискуссионную среду и академическую свободу. В противном случае, неконтролируемое распространение социальных мифов в виртуальном образовательном пространстве способно привести к снижению качества образования в эгалитарном секторе.

Список источников

1. Калиниченко С.С., Квеско Р.Б., Шини Т. Определение места мифодизайна как социокультурного феномена // Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312, № 6. С. 118–120.
2. Иванова С.В. Образовательное пространство в научных исследованиях и правовых документах: понятия, практика применения, сложности и риски // Ценности и смыслы. 2014. № 5 (33). С. 7–9.
3. Никитенко Т.А. Современное мифотворчество в контексте философских исследований // Философия в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы. Ярославль : Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского, 2019. С. 21–27.
4. Ставицкий А.В. Современный миф как социокультурный феномен // Культура народов Причерноморья. 2009. № 132. С. 166–173.
5. Гуревич П.С. Социальная мифология. М. : Мысль, 1983. 175 с.
6. Дубравина А.М. Социальные иллюзии и формы их объективации // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 1. История и археология. Философия. Политология. 2018. Т. 10, № 2. С. 124–130.
7. Плютто П.А. Исследование реальности социокультурного виртуального: опыт анализа социокультурных иллюзий. М. : Прогресс-Традиция, 2014. 367 с.
8. Иванов А.Г., Полякова И.П. Социальная мифология в пространстве повседневности и масс-медиа // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. Вып. 1. С. 5–15.
9. Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб. : Питер, 2005. 544 с.
10. Ульяновский А.В. Современные мифы и безграничное наслаждение в Internet. СПб. : СПбГУ, 2012. 149 с.
11. Корякина А.П. Постмодернистский взгляд на проблему подлинности: хаосмос смыслов и переход к виртуализации бытия. Киров : Вятский гос. ун-т, 2016. 206 с.
12. Петров В.В. Локализация как доминирующий фактор развития национальных систем образования // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 74. С. 96–104.
13. Флад К. Политический миф. Теоретическое исследование / пер. с англ. А.Г. Георгиева. М. : Прогресс-Традиция, 2004. 263 с.

14. Афанасьева Т.П., Мазниченко М.А., Тюнников Ю.С. Мифологическая динамика педагога: преемственность мифологизированных представлений и сценариев на разных этапах профессионального пути // Наука и школа. 2018. № 5. С. 63–74.
15. Виртуализация межвузовских и научных коммуникаций: методы, структуры, сообщества / под. ред. Н.Е. Покровского. М. : СоПСО, 2010. 156 с.
16. Кондратович И.В., Чеботарёва Е.А. Виртуализация Российского образовательного пространства в условиях современного информационного общества // Вестник Российского нового университета. Серия: человек и общество. 2020. № 3. С. 51–57.
17. Тихонова С.В. Коммуникационные структуры социальной мифологии. Саратов, 2008. 244 с.
18. Бондаренко С.В. Виртуальные сетевые сообщества девиантного поведения. URL: <https://cyberpsy.ru/articles/bondarenko-internet-deviantnost/> (дата обращения: 18.02.2023).
19. Lessig L. Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0. NY Basic Book, 2006. 321 с.
20. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 19.02.2023).
21. Лига безопасного интернета. URL: <https://ligainternet.ru/> (дата обращения: 19.02.2023).
22. «Белый интернет» будет строить блогосферу, свободную от опасностей // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/12/13/strimy-v-zakone.html> (дата обращения: 13.12.2023).
23. Нетикет – неписанные этические нормы Сети // Образовательный портал ТГУ. URL: http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1604/book.pdf (дата обращения: 27.02.2023).
24. Бакланцева А.А. Социальный контроль в русскоязычном интернет-пространстве в современных условиях медиатизации общества // Гуманитарные, социально-экономические науки. 2015. № 5. С. 16–18.

References

1. Kalinichenko, S.S., Kvesko, R.B. & Shinn, T. (2008) Opredelenie mesta mifodizayna kak sotsiokul'turnogo fenomena [Determining the place of myth-design as a socio-cultural phenomenon]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*. 312(6). pp. 118–120.
2. Ivanova, S.V. (2014) Obrazovatel'noe prostranstvo v nauchnykh issledovaniyakh i pravovykh dokumentakh: ponyatiya, praktika primeneniya, slozhnosti i riski [Educational space in scientific research and legal documents: concepts, application practice, difficulties and risks]. *Tsenosti i smysly*. 5(33). pp. 7–9.
3. Nikitenko, T.A. (2019) Sovremennoe mifotvorchestvo v kontekste filosofskikh issledovaniy [Modern myth-making in the context of philosophical research]. In: *Filosofiya v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: problemy i perspektivy* [Philosophy in the Modern Educational Space: Problems and Prospects]. Yaroslavl: Yaroslavl State Pedagogical University. pp. 21–27.
4. Stavitskiy, A.V. (2009) Sovremennyy mif kak sotsiokul'turnyy fenomen [Modern myth as a sociocultural phenomenon]. *Kul'tura narodov Prichernomor'ya*. 132. pp. 166–173.
5. Gurevich, P.S. (1983) *Sotsial'naya mifologiya* [Social mythology]. Moscow: Mysl'.
6. Dubravina, A.M. (2018) Sotsial'nye illyuzii i formy ikh ob'ektivatsii [Social illusions and forms of their objectification]. *Vestnik Grodnenskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Yanki Kupaly. Seriya 1. Istoriya i arkhologiya. Filosofiya. Politologiya*. 10(2). pp. 124–130.
7. Plyutto, P.A. (2014) *Issledovanie real'nosti sotsiokul'turnogo virtual'nogo: opyt analiza sotsiokul'turnykh illyuziy* [The study of the reality of the sociocultural virtual: Experience in the analysis of sociocultural illusions]. Moscow: Progress-Traditsiya.
8. Ivanov, A.G. & Polyakova, I.P. (2018) Sotsial'naya mifologiya v prostranstve povsednevnosti i mass-media [Social mythology in the space of everyday life and mass media]. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*. 1. pp. 5–15.
9. Ulyanovskiy, A.V. (2005) *Mifodizayn: kommercheskie i sotsial'nye mify* [Myth design: commercial and social myths]. St. Petersburg: Piter.
10. Ulyanovskiy, A.V. (2012) *Sovremennyye mify i bezgranichnoe naslazhdenie v Internet* [Modern myths and limitless pleasure on the Internet]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
11. Koryakina, A.P. (2016) *Postmodernistkiy vzglyad na problemu podlinnosti: khaosmos smyslov i perekhod k virtualizatsii bytiya* [A postmodernist view on the problem of authenticity: The chaos of meanings and the transition to the virtualization of being]. Kirov: Vyatka State University.
12. Petrov, V.V. (2023) Localization as a dominant factor of the national education systems' development. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 74. pp. 96–104. (In Russian).

13. Flood, K. (2004) *Politicheskii mif. Teoreticheskoe issledovanie* [Political myth. Theoretical Research]. Translated from English by A.G. Georgiev. Moscow: Progress-Traditsiya.
14. Afanasieva, T.P., Maznichenko, M.A. & Tyunnikov, Yu.S. (2018) Mifologicheskaya dinamika pedagoga: preemstvennost' mifologizirovannykh predstavleniy i stsenariy na raznykh etapakh professional'nogo puti [Mythological dynamics of the teacher: The continuity of mythologized ideas and scenarios at different stages of the professional path]. *Nauka i shkola*. 5. pp. 63–74.
15. Pokrovsky, N.E. (2010) *Virtualizatsiya mezhuniversitetskikh i nauchnykh kommunikatsiy: metody, struktury, soobshchestva* [Virtualization of interuniversity and scientific communications: Methods, structures, communities]. Moscow: SoPSO.
16. Kondratovich, I.V. & Chebotareva, E.A. (2020) Virtualizatsiya Rossiyskogo obrazovatel'nogo prostranstva v usloviyakh sovremennogo informatsionnogo obshchestva [Virtualization of the Russian educational space in the conditions of the modern information society]. *Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: chelovek i obshchestvo*. 3. pp. 51–57.
17. Tikhonova, S.V. (2008) *Kommunikatsionnye struktury sotsial'noy mifologii* [Communication Structures of Social Mythology]. Saratov: [s.n.].
18. Bondarenko, S.V. (n.d.) *Virtual'nye setevye soobshchestva deviantnogo povedeniya* [Virtual network communities of deviant behavior]. [Online] Available from: <https://cyberpsy.ru/articles/bondarenko-internet-deviantnost/> (Accessed: 18th February 2023).
19. Lessig, L. (2006) *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*. NY Basic Book.
20. Russian Federation. (2006) *Federal'nyy zakon "Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii" ot 27.07.2006 N 149-FZ (poslednyaya redaktsiya)* [Federal Law N 149-FZ "On Information, Information Technologies and Information Protection" dated July 27, 2006 (latest edition)]. [Online] Available from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Accessed: 19th February 2023).
21. *Safe Internet League*. [Online] Available from: <https://ligainternet.ru/> (Accessed: 19th February 2023).
22. *Rossiyskaya gazeta*. (2023) "Belyy internet" budet stroit' blogosferu, svobodnuyu ot opasnostey [The "White Internet" will build a blogosphere free from dangers]. [Online] Available from: <https://rg.ru/2023/12/13/strimiy-v-zakone.html> (Accessed: 13th December 2023).
23. Tomsk State University. (n.d.) *Netiket – nepisanye eticheskie normy Seti* [Netiquette – unwritten ethical standards of the Network]. [Online] Available from: http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1604/book.pdf (Accessed: 27th February 2023).
24. Baklantseva, A.A. (2015) Sotsial'nyy kontrol' v russkoyazychnom internet prostranstve v sovremennykh usloviyakh mediatizatsii obshchestva [Social control in the Russian-speaking Internet space in modern conditions of mediatization of society]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie nauki*. 5. pp. 16–18.

Сведения об авторе:

Петров В.В. – кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела социальных и правовых исследований Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук; доцент кафедры социальной философии Института философии и права Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск, Россия). E-mail: vvpetrov@mail.nsu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Petrov V.V. – Cand. Sci. (Philosophy), docent, senior researcher, Department of Social and Legal Research, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); associate professor, Department of Social Philosophy, Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk National Research State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: vvpetrov@mail.nsu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.02.2024;
одобрена после рецензирования 18.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 11.02.2024;
approved after reviewing 18.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья
УДК 168.1, 37.01
doi: 10.17223/1998863X/78/9

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Александр Юрьевич Чмыхало¹, Марина Алексеевна Жаркова²

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия,*

¹ *sanichtom@tpu.ru*

² *mma1252@tpu.ru*

Аннотация. Обоснована необходимость концептуализации новой грамотности – смарт-грамотности, как более соответствующей системному характеру проблем, встающих перед современным обществом в условиях развития смарт-технологий. Цель работы – эксплицировать содержание современных социокультурных теорий к осмыслению грамотности, выявить ключевые тенденции в трансформации представлений о грамотности в условиях развития смарт-технологий. В результате исследования выявлены тенденции зарождения нового направления в интерпретации грамотности, для которого характерно утверждение о том, что смарт-технологии формируют иную технико-технологическую реальность, в которой применяются более совершенные инструменты и устройства, радикально меняющие качество жизни.

Ключевые слова: грамотность, смарт-технология, смарт-грамотность

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00316, <https://rscf.ru/project/24-28-00316/>

Для цитирования: Чмыхало А.Ю., Жаркова М.А. Концептуализация грамотности в условиях развития смарт-технологий: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 105–117. doi: 10.17223/1998863X/78/9

Original article

CONCEPTUALIZATION OF LITERACY IN THE CONDITIONS OF SMART TECHNOLOGY DEVELOPMENT: FORMULATING THE PROBLEM

Alexander Yu. Chmykhalo¹, Marina A. Zharkova²

^{1, 2} *National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *sanichtom@inbox.ru*

² *mma1252@gmail.com*

Abstract. The presented study substantiates the need to conceptualize a new – smart – literacy as more consistent with the systemic nature of the problems facing modern society in the context of the development of smart technologies. The research is relevant because smart technologies are increasingly penetrating into all areas – the production system, education, healthcare, trade, everyday life, etc. In this situation, a new concept of literacy is emerging, which should take into account the nuances that arise in connection with their

implementation in various spheres of human life and society. Currently, the theoretical foundations for literacy research have been formed. However, each of the presented directions has both its advantages and disadvantages, which require special consideration and analysis. The work aims to explicate the content of modern approaches to understanding literacy and to identify key trends in the transformation of ideas about literacy in the context of the development of smart technologies. A contradictory picture is shown of the understanding of what smart technologies are: modern research literature contains many approaches to defining the concept of smart technology, and each of them has its own limitations and hidden contradictions, which leaves its mark on the difficulties understanding this phenomenon within the framework of existing literacy theories. In modern Western literacy studies, the introduction of elements of smart technologies into certain areas of life is still viewed more as an experiment with unpredictable results and consequences than as something accomplished and established. As a result of the study, trends in the emergence of a new direction in literacy research have been identified, the proponents of which consider the transition of IT to the state of smart technologies to be a *fait accompli*. It is characterized by an indication of the need for further understanding of literacy, taking into account the fact that smart technologies are forming a different technical and technological reality, in which more advanced tools and devices are used that radically improve everyone's quality of life.

Keywords: literacy, smart technology, smart literacy

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00316, <https://rscf.ru/project/24-28-00316/>

For citation: Chmykhalo, A.Yu. & Zharkova, M.A. (2024) Conceptualization of literacy in the conditions of smart technology development: formulating the problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 105–117. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/9

Начиная со второй половины XX в. и вплоть до настоящего времени в области информационных технологий перманентно происходили революционные процессы, оказавшие влияние на различные стороны жизни современного общества. Последним итогом их развития стало появление особой разновидности технологий, так называемых смарт-технологий. Развитие смарт-технологий за последнее время стало столь бурным и значительным, что они проникли буквально во все сферы жизни общества. Развитие смарт-технологий, проникновение их в систему образования, здравоохранения и другие сферы актуализируют осуществление новых исследований в области грамотности и их концептуализации, что объясняется рядом обстоятельств.

1. Рождение философского дискурса о грамотности еще в середине прошлого века происходило на фоне значительных изменений в экономической, политической и социальной сферах жизни людей, особенно в странах третьего мира. В условиях перемен грамотность стала ключевой способностью, дающей человеку возможность быть активным участником разворачивающихся процессов. Рассматривая возникновение смарт-технологий как принципиально новый этап не только в развитии ИКТ, но и в развитии общества в целом, можно предполагать формирование фундаментальных сдвигов и в требованиях к грамотности как способности человека дать адекватный ответ тем вызовам, которые несет с собой это развитие.

2. Начиная с 1970-х гг. понятие «грамотность» стало рассматриваться не только в контексте социальных, но и культурных отношений, которые меняются вместе с изменением технико-технологических условий. Отсюда появление новых видов грамотности, которые были выделены вследствие появления новых технологий, а именно медиаграмотности, информационной

грамотности и т.д. Появление смарт-технологий и их принципиальная новизна указывают на необходимость включения в контекст рассмотрения грамотности формирование элементов культуры смарт-общества.

3. Отличительной особенностью смарт-технологий является то, что они создают видимость легкости обращения с ними и нетребовательности в овладении каким-либо новым видом функциональной грамотности. Являясь дальнейшим развитием технологий, применение которых возможно посредством овладения уже известными видами грамотности – цифровой, компьютерной, медиа-грамотностью и пр., – смарт-технологии снижают актуальность овладения этими видами грамотности в силу того, что в любое время и в любом месте обучаемому может быть предоставлена помощь. В этих условиях формируется не просто новая разновидность, а новая парадигма грамотности, суть которой состоит в способности адекватно, эффективно воспользоваться предоставляемой поддержкой. Такое понимание грамотности вступает в противоречие с целями как традиционного образования, так и альтернативных его направлений, для которых накопление знаний и навыков было и остается основной целью. Вместе с тем очевидна необходимость исследования данного вопроса для его подтверждения или опровержения.

4. В ходе изменений представлений о грамотности шел процесс трансформации ценностной составляющей. От первичного понимания, состоящего в рассмотрении грамотности как критерия оценки статуса человека, в направлении все меньшей индивидуальности и ориентированности на оценку качества работы всей системы образования. Внедрение смарт-технологий в образование, приведшее к созданию смарт-образования, утверждает новый этос, состоящий в персонализации и адаптации технологий образования к самому пользователю, в индивидуализации потребностей ученика, поддержке самообразования.

Таким образом, можно полагать, что в ситуации появления новых смарт-технологий, перехода образования в состояние умного образования (Smart education), а общества в состояние смарт-общества и прочего происходит формирование оснований для зарождения новой концепции грамотности, которая должна учесть те нюансы, которые возникают в связи с их внедрением в различные сферы жизни человека и общества.

К настоящему времени в исследованиях грамотности в философии языка, педагогике, психологии, социологии, социолингвистике и других наук сложилось множество теоретических подходов, в рамках которых сформированы различные модели грамотности. Среди них можно выделить конструктивизм, социальный конструкционизм, транзакционную теорию, теорию обработки информации / когнитивной обработки, теорию социокультурных перспектив, социокогнитивную теорию, структурализм, критическую теорию, постструктурализм и др. [1. Р. 4].

В силу того, что смарт-технологии представляют собой не только технико-технологический феномен, но и явление, оказывающее влияние на формирование новых социальных феноменов, например, таких как смарт-образование, смарт-город, смарт-общество и др., для прояснения тенденций трансформации грамотности под влиянием развития технологий необходимо взглянуть с позиции именно тех теорий, которые рассматривают грамотность в социокультурном аспекте.

Данное направление в исследованиях грамотности формируется с момента выхода в 1980–1990-е гг. работ американского социолингвиста Джеймса Пола Джи (James Paul Gee), а также работ С. Скрибнер и Майкла Коула (S. Scribner and M. Cole), Рона и Сюзанн Сколлон (R. Scollon and S. Scollon), Брайана Стрита (B. Street) и других ученых и получает название «Новые исследования грамотности» («The New Literacy Studies» (NLS)). Идейное содержание исследований этой группы Джеймса Пола Джи охарактеризовал как направление, которое выступало против традиционного психологического подхода к грамотности и определения ее в терминах психических состояний. Сторонники NLS считали, что грамотность – это не только то, что содержится у людей в их голове, но и то, что имеет место внутри самого общества [2. Р. 2].

Позднее теоретическая ориентация этих исследователей получит свое продолжение в работах J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear, D.J. Leu, W. Kist, G. Kress и др. Это направление в исследовании грамотности получит название «The New Literacies Studies» и будет отличаться от направления «The New Literacy Studies» (NLS) содержанием и идейной направленностью исследований, в частности, вниманием к онтологической основе формирования грамотности [3. С. 115–116].

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. на арену исследований выходит новое поколение, которое обратило внимание на формирование множества новых разновидностей грамотности, вызванных появлением технических средств связи – мобильных телефонов, сети Интернет и т.д. Эти исследователи стали рассматривать возникновение новых практик грамотности как основы формирования более широкого социального порядка, который получил название «новый коммуникативный порядок». Они обратили внимание на то, что в современных условиях письменные, устные и аудиовизуальные формы общения интегрированы в мультимодальные гипертекстовые системы, доступные через Интернет и Всемирную паутину. Это обстоятельство позволило выдвинуть идею возникновения так называемой «кремниевой грамотности» (Silicon literacy), которая представляет собой иные способы создания значений в этих новых коммуникационных системах.

Таким образом, в настоящее время сформированы теоретические основания для исследования грамотности. Однако каждое из представленных направлений имеет как свои достоинства, так и свои недостатки, которые требуют специального рассмотрения и анализа. Именно поэтому в настоящей статье осуществлена экспликация содержания социокультурных теорий к осмыслению грамотности и предпринята попытка выявить ключевые тенденции в трансформации представлений о грамотности в условиях развития смарт-технологий.

При рассмотрении вопроса о концептуализации грамотности в эпоху развития смарт-технологий предварительно необходимо дать некоторые пояснения по поводу того, почему данные технологии обращают на себя столь существенное внимание, что можно говорить о возможности формирования специфической грамотности, требуемой для их дальнейшей разработки и применения.

Несмотря на достаточно бурное развитие технологий, обозначаемых с использованием термина «смарт», в исследовательской литературе отсут-

ствуется единство в понимании того, что же они означают. Складывается весьма противоречивая картина, в рамках которой мы имеем множество подходов к определению понятия «смарт-технология», каждый из которых имеет свои ограничения и скрытые противоречия. Это характерно как для зарубежной, так и для отечественной исследовательской мысли, которая по большей части затрагивает весьма ограниченный круг проблем. Лишь в последние годы, благодаря работам отечественных исследователей И.Б. Ардашкина и В.А. Суровцева, обозначилось достаточно новое направление осмысления смарт-технологий, состоящее в философском анализе подходов к определению смарт-технологий [4, 5].

Уникальность современного понимания смарт-технологий состоит в том, что в процессе образования данного понятия в результате осуществления процесса абстрагирования прослеживается использование трех видов порождающих их ментальных абстракций, приведших к рождению понятия-знака (выступающего результатом отождествления), понятия-обобщения (результат объединения различных предметов в единый класс) и понятия-ассоциации (итог установления взаимосвязи между представлениями), а именно:

1) понятие смарт-технология выступает в качестве понятия-знака для обозначения конкретных, чувственно воспринимаемых объектов – телефонов, датчиков, интерактивных досок и пр. Данные объекты могут иметь и собственные понятия-знаки, например смартфон, смарткарта и др., но в то же время общим для них понятием-заместителем может выступать понятие «смарт-технология»;

2) понятие «смарт-технология» выступает в качестве понятия-обобщения целого спектра «умных» технологий, например, таких как беспроводные технологии (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFID и т.д.), блокчейн (Blockchain), технологии распознавания образов (Image Recognition) и пр. [6];

3) понятие «смарт-технология» рассматривается в качестве соединения в себе ряда сущностей, что выразилось возникновении такого подхода к определению, в котором смарт-технология рассматривается как аббревиатура – SMART, состоящая из первых букв английских слов Specific – конкретный, Measurable – измеряемый, Achievable – выполнимый, Relevant – релевантный, отражающий реальные потребности, Time-specific – своевременный. Хотя имеются и иные подходы к интерпретации представленной аббревиатуры, например, S-self-directed, M-motivated, A-adaptive, R-resource-enriched, T-technology (S-самоуправляемый, M-мотивированный, A-адаптивный, R-обогащенный ресурсами, T-технология) [7].

Наряду с подходами, выделяющими специфическую «техническую» сущность смарт-технологий, появляются и такие, которые указывают на их особую социальную, культурную, познавательную специфику. В частности, И.Б. Ардашкин в качестве ключевой сущностной характеристики данных технологий обращает внимание на минимизацию роли человека в различных процессах жизнедеятельности, осуществляемую посредством данных технологий, на их способность заменить человека во всех сферах и процессах, где это возможно и максимально. Иными словами, он полагает, что сущность смарт-технологий – это выполнять роль субъекта там, где их применяют [4. С. 36].

Суммируя сказанное, необходимо отметить следующие обстоятельства, заставляющие посмотреть на смарт-технологии как на совершенно особый этап в развитии технологического облика современного общества, требующий формирования нового состояния грамотности для адекватного обращения с ними.

Во-первых, смарт-технологии представляют собой открытую систему, которая продолжает формироваться. В настоящее время не представляется возможным четко очертить перечень технологий и технических средств, которые бы исчерпывали собой сферу смарт-технологий. Причем она включает в себя не только микротехнологии, но и совокупность технологий большого масштаба, несущих значительные социальные последствия (например, смарт-образование или смарт-город) [8, 9].

Во-вторых, несмотря на то, что смарт-технологии рассматриваются как новый этап в технологическом развитии общества, их невозможно воспринимать как нечто совершенное, завершенное в своем создании, а наоборот, предполагается, что в их отношении необходимо осуществлять непрерывный процесс развития и замены одних технологий на другие, более совершенные. Создание и освоение смарт-технологий требует непрерывного формирования новых знаний и, соответственно, среды и инфраструктуры для их производства и трансляции [10, 11]. Любая технология, которая сегодня обозначается как «смарт-технология», завтра уже перестает быть таковой в силу меньшей своей способности быть «умной» на фоне новой технологии. От своих создателей и пользователей смарт-технологии требуют постоянного совершенствования, расширения круга познавательных задач и поиска возможных решений.

В-третьих, практика применения смарт-технологий оказывает влияние на формирование комплекса проблем этического характера. Эти проблемы создают столь существенные барьеры в технической области, что они ставят под вопрос необходимость дальнейшего развития всей сферы ИТ. В частности, речь идет о возможности сохранения конфиденциальности пользовательской информации, поставлена под сомнение возможность наложить технические ограничения на получение не подлежащей разглашению информации. Уже сформировались реальные условия для создания «цифрового концлагеря». Выполняя роль субъекта, превращая человека исключительно в пользователя технологий, смарт-технологии ставят вопрос об утрате человеком собственной субъективности и актуализируют поиск и обоснование новых требований к грамотности не только в области естественно-научного и технического знания, но и в области гуманитарного, этического.

Таким образом, появление и развитие смарт-технологий вызывает к жизни формирование комплекса проблем онтологического, гносеологического и аксиологического характера, которые потребовали своего осмысления в том числе через призму формирования типа грамотности, адекватного сложившимся обстоятельствам.

О новой парадигме грамотности, характерной для общества XXI в. и вызванной к жизни развитием информационных технологий, способных заменить человека, исследователи заговорили еще в середине 1990-х гг. Свое концептуальное осмысление этот новый взгляд на грамотность получил в исследованиях Джеймса Пола Джи, Брайана Стрита и других представителей

«Новых исследований грамотности» (The New Literacy Studies). С самого начала они выступили против традиционного психологического подхода к грамотности и определения ее в терминах психических состояний и психических обработок, предложив использовать социокультурный подход к пониманию грамотности и представив его в качестве новой теоретической и исследовательской парадигмы. Например, Скрибнер и Коул сформулировали «практическое описание грамотности» в котором грамотность понимается как конкретные навыки, приобретаемые в ходе осуществления тех или иных социальных практик, а Б. Стрит предложил идеологическую модель, в которой грамотность рассматривалась как следствие действия некоторого арсенала концепций, конвенций и практик, принятых в данной культуре, в рамках которых каким-то знаниям и умениям, например по использованию языка в письменной или устной речи, отдается предпочтение в силу действия политических, экономических, социальных факторов. Дж.П. Джи сформулировал версию понимания грамотности в терминах первичного и вторичного дискурсов. Под первичным дискурсом он понимает первоначальное само собой разумеющееся понимание того, кто мы, кем являемся, какие вещи мы и подобные нам люди делаем, что ценим, во что верим и пр. Это понимание формируется в ходе первичной социализации. Вторичные дискурсы – это те, которым люди обучаются в ходе своей социализации за пределами домашней социализации в составе местных, государственных, национальных групп и учреждений, например, в рамках своей деятельности в офисах, в школах, в религиозных организациях и т.д. Овладение вторичным дискурсом приводит к формированию различных видов грамотности, таких как «визуальная грамотность», «компьютерная грамотность», «литературная грамотность» и т.д. [2. Р. 168–176].

Теоретики «Новых исследований грамотности» обосновали ведущую роль социокультурного контекста в формировании представлений о грамотности, которое на рубеже XX–XXI вв. вылилось в возникновение новых типов грамотности, например компьютерной грамотности. Они отмечали парадоксальную роль науки и технологий в трансформации представлений о грамотности, состоящую в том, что чем выше уровень их развития и способность заменить человека, тем ниже требования к грамотности. По этому поводу Дж.П. Джи писал, что «современная наука и технологии фактически создают множество рабочих мест, на которых требования к грамотности снижаются, а не повышаются благодаря замене человеческих навыков компьютерами и другими видами технологических устройств» [2. Р. 40]. Формирование данного, а равно и иных парадоксов, связанных с грамотностью, и страхов по ее поводу вызвано не только развитием науки и технологий, но и процессами глобализации экономики, а также противоречиями, порождаемыми ею, например неспособностью многих людей идти в ногу с происходящими изменениями, требующими новых знаний и уровня грамотности. Страх, который демонстрируют люди по поводу роста требований к уровню грамотности в развитых обществах, указывает на наличие глубоких политических, социальных и этических проблем, в контексте разрешения которых он и может быть преодолен.

Вместе с тем для представителей данного направления бурное развитие ИТ не являлось каким-то особо выдающимся фактором. В терминологии кон-

цептуальных построений Дж.П. Джи сфера производства и применения компьютерных технологий – всего лишь одна из составляющих вторичного дискурса, определяющая формирование одного из множества иных видов грамотности – компьютерной. Тогда как дискурс, в рамках которого и формируется грамотность, это всегда, по его мнению, интеграция различных высказываний, действий, оценок [2. Р. 180–181].

Однако игнорировать далее бурное развитие ИТ и те изменения, которые происходят в обществе под их непосредственным или косвенным влиянием, было невозможно. Поэтому обращение к анализу роли ИТ в трансформации представлений о грамотности было делом времени. О формировании онтологически новой грамотности под воздействием развития ИТ заговорили представители «The New Literacies Studies» К. Ланкашир и М. Нобель (С. Lankshear, М. Knobel). Вводя идею об онтологически новой грамотности, они указывали на необходимость различения их позиции, зависящей от понимания грамотности в рамках «Новых исследований грамотности». В отличие от представителей NLS К. Ланкашир и М. Нобель указывали на то, что ИТ вызвали к жизни формирование новой природы, нового материала для грамотности.

Первая часть этой природы, имеющая по преимуществу «технический» характер, связана с развитием цифровых технологий и, как следствие, появлением «посттипографических» форм текстов и текстового производства. Если традиционная грамотность опиралась на тексты, размещенные в печатных изданиях, то современная грамотность – на тексты, создаваемые и распространяемые с помощью электронных средств. В настоящее время мы имеем дело с мультимодальными формами текстов, которые могут поступать через цифровой код в виде звука, текста, изображений, видео, анимации и любой их комбинации. В силу этого «онтологически новая» грамотность, о которой говорят К. Ланкашир и М. Нобель, включает в себя такие вещи, как знание и умение использовать и создавать гиперссылки между документами и изображениями, звуками, фильмами, осуществлять обмен текстовыми сообщениями на мобильном телефоне; использовать цифровые семиотические языки и пр. [12. Р. 28–29]

Вторую составляющую онтологически новой грамотности, отличную от технической, К. Ланкашир и М. Нобель обозначают как «этический материал». Они полагают, что новая грамотность предполагает существенно иную конфигурацию ценностей, чем обычная грамотность. Под этим они подразумевают то, что тексты, создаваемые и распространяемые с помощью электронных средств, носят более совместный, распределенный характер, они менее индивидуализированы и менее автороцентричны, чем тексты, с которыми мы имели дело ранее, при использовании традиционных видов грамотности. Итогом возникновения особого технического характера новой грамотности стало формирование нового этоса для нее.

Таким образом в работах представителей «Новых исследований грамотности» (The New Literacy Studies) и сторонников «The New Literacies Studies» была обоснована новая парадигма в рассмотрении понятия «грамотность», связанного с социальным и культурным контекстами, а также представлены доводы онтологического и аксиологического характера в пользу необходимости пересмотра представлений о нем. Дальнейшее развитие исследований грамотности в значительной степени определялось именно этими идеями.

В работах, опубликованных в 1990-е гг., они лишь предсказывали те изменения, которые будут происходить в отношении грамотности под воздействием появления новых технических средств связи – мобильных телефонов, сети Интернет. Эти изменения, предрекали они, приведут к возникновению новых практик грамотности, которые заложат основу формирования иного социального порядка, который Б. Стрит (B. Street) назвал «новым коммуникативным порядком» (New Communicative Order). По этому поводу он писал, что людям еще «...предстоит научиться обращаться с различными значками и знаками, отображаемыми на таких компьютерных дисплеях, как Word for Windows со всеми его комбинациями знаков, символов, границ, изображений, слов, текстов, изображений и т.д. Крайним вариантом этой позиции является понятие «конец языка» – мы больше не говорим о языке в своем довольно традиционном представлении о грамматике, лексике и семантике, а, скорее, сейчас мы говорим о более широком спектре семиотических систем, охватывающих чтение, письмо и речь» [13. Р. 10]. Но уже в работе Иланы Снайдер (Ilana Snyder) «A New Communication Order: Researching Literacy Practices in the Network Society» [13], вышедшей в свет в 2001 г., новый коммуникативный порядок описывается как нечто свершившееся. Характеризуя данный порядок, И. Снайдер указывала, что он учитывает практику грамотности, связанную с экранными технологиями, широко известными как компьютерное общение, при этом традиционные печатные, логоцентрические практики чтения и письма становятся лишь частью того, чему люди должны научиться, чтобы быть грамотными [14. Р. 119]. Вместе с тем она показала, что в силу высокой динамики развития ИТ необходимо выстраивать программу дальнейших исследований, которая позволит осмыслить практику работы на компьютерах и сформировать новое понимание компьютерной грамотности [14. Р. 127]. Уже в 2002 г. выходит сборник работ под названием «Silicon Literacies. Communication, Innovation and Education in the Electronic Age», в котором во вступительной статье И. Снайдер заявила о наличии радикальных изменений в практике грамотности под воздействием электронной коммуникации и формировании нового состояния грамотности – «кремниевой грамотности» (Silicon literacy), возникшей и сформировавшейся в контексте становления нового коммуникативного порядка [15].

Формирование концепции кремниевой грамотности было ответом на запрос со стороны общества, все больше вовлекаемого в различные сферы применения компьютерной техники, где люди вынуждены были учиться разбираться в новых для себя знаковых системах. В ее рамках утверждалось, что язык компьютера – это комбинация знаков, символов, изображений, слов и звуков, который функционирует не только в соответствии с правилами грамматики, лексики и семантики. Он включает в себя более широкий спектр семиотических систем, используемых для передачи смысла, – системы движущегося изображения, звука, разговорной и письменной речи, пространства и жестов. Эти системы включают в себя знаки, которые могут передавать различный смысл, а потому требуют формирования новых соглашений по поводу передаваемого ими смысла и выработки новых навыков для их успешного использования. Изучение мультимодальных текстов, создаваемых с помощью языка компьютера, отныне невозможно без применения междисциплинарного набора методов, включающих методы лингвистического, семиотического,

социального, культурного, историко-критического анализа, а практики грамотности становится возможным понять только через рассмотрение их включенности в определенный социальный, политический, экономический, культурный и исторический контекст.

Однако необходимо подчеркнуть консерватизм их позиции и преемственность с идеями представителей «Новых исследования грамотности», в рамках которых грамотность также рассматривалась как социокультурный, а не ментальный феномен. Выделяя и анализируя примеры проявления кремниевой грамотности в различных областях деятельности, в первую очередь в образовании, они склонны отказаться от рассмотрения компьютерных и коммуникационных технологий в абсолютно новых терминах, поскольку полагают, что многое из того, что считается новым, известно уже несколько десятков лет. Именно поэтому такие феномены можно рассматривать через терминологию, используемую для обозначения уже известных технологий. Например, текстовые программы можно представить как своего рода пишущую машинку, а электронные таблицы и базы данных как калькулятор.

И. Снайдер, К. Бивис (С. Beavis), К. Бигам (С. Bigum) [16, 17] и другие теоретики кремниевой грамотности, делая акцент на анализе роли и места мультимодальных текстов, создаваемых с помощью компьютера, предпочитают рассматривать вопросы, связанные с развитием современных ИТ и их влиянием на грамотность, с использованием уже устоявшейся терминологии, в рамках которой используются уже привычные термины, такие как «компьютерная и информационная грамотность», «цифровая грамотность» (Computer and information literacies, digital literacy) [18]. Они полагают, что использование ИТ в образовании и иных сферах нужно рассматривать как все еще плохо изученную среду, требующую осторожности, критики и проведения дополнительных исследований. Это же касается и технологий, обозначаемых с использованием слова «smart».

Подводя итог, можно констатировать, что в современных западных исследованиях грамотности хоть и открылась новая страница, ориентированная на выявление и осмысление дальнейших тенденций в развитии информационных технологий, однако внедрение элементов смарт-технологий в те или иные сферы жизни, в том числе в сферу образования, все еще рассматривается, скорее, как эксперимент с непредсказуемыми результатами и последствиями, чем как нечто свершившееся и устоявшееся.

Вместе с тем все больше прослеживаются ростки зарождения нового направления в исследованиях грамотности, сторонники которого считают свершившимся фактом переход ИТ в состояние смарт-технологий [19, 20]. В связи с этим они полагают важным указать на необходимость дальнейшего осмысления грамотности с учетом того, что смарт-технологии формируют иную технико-технологическую реальность, в которой применяются более совершенные инструменты и устройства, радикально улучшающие качество жизни всех и каждого. Смарт-технологии, отмечают они, расширяют права и возможности людей и делают их менее зависимыми от кого бы то ни было, позволяют им круглосуточно управлять своим здоровьем, образованием, бытом, получать информацию и делиться опытом.

Однако повышение способности людей использовать смарт-технологии не может быть обеспечено только лишь повышением качества научной, циф-

ровой, информационной и медиаграмотности в отдельности. Важным компонентом внедрения смарт-технологий является не только осуществление изменений во внешней среде, но и создание потенциала для генерирования изменений в мышлении людей и отношения их к окружающей среде. Развитие и внедрение смарт-технологий оказывает влияние на наращивание потенциала изменений на всех уровнях – индивидуальном, организационном, коммерческом, техническом и политическом. Отсюда все более очевидна потребность в концептуализации новой грамотности – смарт-грамотности, более соответствующей системному характеру проблем, встающих перед современным, быстро развивающимся обществом.

Список источников

1. Unrau N.J., Alvermann D.E., Sailors M. Literacies and Their Investigation through Theories and Models // *Theoretical Models and Processes of Literacy*. N.Y., 2018. P. 3–34.
2. Gee J. *Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses* (5th ed.). Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315722511>
3. Чмыхало А.Ю., Макиенко М.А. Социальные коммуникации в образовании в условиях внедрения смарт-технологий // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2022. № 66. С. 111–126. doi: 10.17223/1998863X/66/11
4. Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. Смарт-технологии как понятие и феномен: к вопросу о критериях // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2021. № 60. С. 32–44. doi: 10.17223/1998863X/60/4
5. Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. К вопросу об эпистемологии смарт-технологий и их визуализации: ведет ли смарт-образование к смарт-эпистемологии? // *Праксема. Проблемы визуальной семиотики*. 2019. № 4 (22). С. 9–35.
6. Sultan M., Ahmed K.N. Smart to Smarter: Smart Home Systems History, Future and Challenges // *Computing Conference*. 2017. URL: https://mohamed-sultan.com/paper/6-HBI_Sultan2016.pdf
7. Morrison M. History of SMART Objectives. URL: <https://rapidbi.com/history-of-smart-objectives/>
8. Dameri R.P. The Conceptual Idea of Smart City: University, Industry, and Government Vision // *Smart City Implementation. Progress in IS*. Cham : Springer, 2017. P. 23–43.
9. Cifaldi G., Serban I. Smart Cities-Smart Societies // eds. Karwowski W., Ahram T. *Intelligent Human Systems Integration. IHSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing*. Cham : Springer, 2018. Vol. 722. P. 700–707.
10. Miller M. *The Internet of Things: How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World*. Indianapolis : Pearson Education, 2015. 336 p.
11. Haupt M. What is a Smart Society? Toward the transcendent model society of 2030. URL: <https://medium.com/project-2030/what-is-a-smart-society-92e4a256e852>.
12. Lankshear C., Knobel M. *New literacies: everyday practices and social learning*. 3rd edition. Maidenhead, UK : Open University Press, 2011. 276 p.
13. Street B. New literacies in theory and practice: what are the implications for language in education? // *Linguistics and Education* 1998. № 10 (1). P. 1–24.
14. Snyder I. A new communication order: researching literacy practices in the network society // *Language and Education: An International Journal*. 2001. № 15 (1). P. 117–131.
15. Snyder I. *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age* (1st. ed.). Routledge, 2002. 190 p.
16. Beavis C. Reading, writing and role-playing computer games // *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age* (1st. ed.). Routledge, 2002. P. 47–61.
17. Bigum C. Design sensibilities, schools and the new computing and communication technologies // *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age* (1st. ed.) / ed. I. Snyder. Routledge, 2002. P. 130–140.
18. Aker M., Pentón Herrera L.J. Smart literacy learning in the twenty-first century: Facilitating PBSL pedagogic collaborative clouds // *Emerging technologies and pedagogies in the curriculum* / eds. S.Yu, M. Ally, A. Tsinakos. 2020. P. 429–445.

19. Sorensen K. Smart Health! Expanding the Need for New Literacies // Managing Infodemics in the 21st Century / eds. T.D. Purnat, T. Nguyen, S. Briand. Cham: Springer, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27789-4_6

20. Azzopardi-Muscat N., Sorensen K. Towards an equitable digital public health era: promoting equity through a health literacy perspective // Eur J Pub Health 29 (Supplement 3). 2019. P. 13–17.

References

1. Unrau, N.J., Alvermann, D.E. & Sailors, M. (2018) Literacies and Their Investigation through Theories and Models. In: Unrau, N.J., Alvermann, D.E., Sailors, M. & Ruddell, R.B. (eds) *Theoretical Models and Processes of Literacy*. Routledge. pp. 3–34.

2. Gee, J. (2015) *Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses*. 5th ed. Routledge. doi: 10.4324/9781315722511

3. Chmykhalo, A.Yu. & Makienko, M.A. (2022) Social Communications in Education in the Context of the Introduction of Smart Technologies. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 66. pp. 111–126. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/66/11

4. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2021) Smart Technologies as a Concept and Phenomenon: On Criteria. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 60. pp. 32–44. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/60/4

5. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2019) K voprosu ob epistemologii smart-tekhnologiy i ikh vizualizatsii: vedet li smart-obrazovanie k smart-epistemologii? [On the epistemology of smart technologies and their visualization: Does smart education lead to smart epistemology?]. *Praksema. Problemy vizual'noy semiotiki – Praxema. Problems of Visual Semiotics*. 4(22). pp. 9–35.

6. Sultan, M. & Ahmed, K.N. (2017) *Smart to Smarter: Smart Home Systems History, Future and Challenges*. [Online] Available from: https://mohamed-sultan.com/paper/6-HBI_Sultan2016.pdf

7. Morrison, M. (n.d.) *History of SMART Objectives*. [Online] Available from: <https://rapidbi.com/history-of-smart-objectives/>

8. Dameri, R.P. (2017) *Smart City Implementation. Progress in IS*. Springer, Cham. pp. 23–43.

9. Cifaldi, G. & Serban, I. (2018) Smart Cities-Smart Societies. In: Karwowski, W. & Ahram, T. (eds) *Intelligent Human Systems Integration. IHSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing*. Vol. 722. Springer, Cham. pp. 700–707.

10. Miller, M. (2015) *The Internet of Things: How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World*, Pearson Education. Indianapolis.

11. Haupt, M. (n.d.) *What is a Smart Society? Toward the Transcendent Model Society of 2030*. [Online] Available from: <https://medium.com/project-2030/what-is-a-smart-society-92e4a256e852>

12. Lankshear, C. & Knobel, M. (2011) *New Literacies: Everyday Practices and Social Learning*. 3rd ed. Maidenhead, UK: Open University Press.

13. Street, B. (1998) New literacies in theory and practice: what are the implications for language in education? *Linguistics and Education*. 10(1). pp. 1–24.

14. Snyder, I. (2001) A new communication order: researching literacy practices in the network society. *Language and Education: An International Journal*. 15(1). pp. 117–131.

15. Snyder, I. (2002) *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age*. 1st ed. Routledge.

16. Beavis, C. (2002) Reading, writing and role-playing computer games. In: Snyder, I. (ed.) *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age*. 1st ed. Routledge. pp. 47–61.

17. Bigum, C. (2002) Design sensibilities, schools and the new computing and communication technologies. In: Snyder, I. (ed.) *Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age*. 1st ed. Routledge. pp. 130–140.

18. Aker, M. & Pentón Herrera, L.J. (2020) Smart literacy learning in the twenty-first century: Facilitating PBSL pedagogic collaborative clouds. In: Yu, S., Ally, M. & Tsinakos, A. (eds) *Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum*. Springer. pp. 429–445.

19. Sorensen, K. (2023) Smart Health! Expanding the Need for New Literacies. In: Purnat, T.D., Nguyen, T. & Briand, S. (eds) *Managing Infodemics in the 21st Century*. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-031-27789-4_6

20. Azzopardi-Muscat, N. & Sorensen, K. (2019) Towards an equitable digital public health era: promoting equity through a health literacy perspective. *European Journal of Public Health*. 29(Supplement 3). pp. 13–17.

Сведения об авторах:

Чмыхало А.Ю. – кандидат философских наук, доцент отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: sanichtom@tpu.ru

Жаркова М.А. – кандидат философских наук, доцент отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: mma1252@tpu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Chmykhalo A.Yu. – Cand. Sci. (Philosophy), docent; associate professor at the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sanichtom@tpu.ru

Zharkova M.A. – Cand. Sci. (Philosophy), docent; associate professor at the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: mma1252@tpu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 11.02.2024;
одобрена после рецензирования 18.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 11.02.2024;
approved after reviewing 18.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья

УДК 81'27 + 316.34

doi: 10.17223/1998863X/78/10

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ МИФА О ГРАМОТНОСТИ

Петр Геннадьевич Шатунов¹, Евгений Артурович Найман²

¹ Кемеровский государственный университет», Новокузнецк, Россия

^{1,2} Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия

² Томский научный центр СО РАН, Томск, Россия

¹ shatunov.ph.d@gmail.com

² enyman17@rambler.ru

Аннотация. Анализируется миф о грамотности и его влияние на общество, раскрываются идеологические основания этого мифа. Авторы обнаруживают генетические основы мифа о грамотности в идеях о стандартном языке и национальном государстве и предлагают их деконструкцию по аналогии с мифом о грамотности для разработки альтернативных, справедливых подходов к ней.

Ключевые слова: миф о грамотности, стандартный язык, языковая идеология, письмо, идея о национальном государстве

Для цитирования: Шатунов П.Г., Найман Е.А. К вопросу об идеологических основаниях мифа о грамотности // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 118–128. doi: 10.17223/1998863X/78/10

Original article

THE IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE LITERACY MYTH

Petr G. Shatunov¹, Evgeny A. Nayman²

¹ Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute of Kemerovo State University,
Novokuznetsk, Russian Federation

^{1,2} National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

² Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russian Federation

¹ shatunov.ph.d@gmail.com

² enyman17@rambler.ru

Abstract. The article examines the literacy myth and its ideological foundations. The literacy myth plays a significant role in shaping educational policies and practices, but at the same time it can obscure important sociolinguistic issues such as linguistic inequalities, discrimination based on accent or dialect, and fail to recognize the diversity of forms and levels of literacy. The aim of the research in the article is a deep understanding of the genesis and functioning of the literacy myth in modern society. This myth does not exist independently – it is part of a system of other myths. The article shows that the literacy myth is based on the standard language myth, which in turn is based on the idea of the nation-state. Therefore, along with the task of analyzing the ideological foundations of the literacy myth, the authors also make an attempt to identify and

deconstruct the designated myths of a higher levels. Since literacy is closely related to writing, certain parts of the article are also devoted to this issue. To achieve the research objectives, the article uses an integrated approach: (1) to analyze the literacy myth, the concept of 'multiliteracies' by Brian Street and the method of critical analysis of the literacy myth by Harvey R. Graff are used; (2) in order to deconstruct the standard language myth, Roland Barthes' approach to the description of the myth is used, as well as Rosina Lippi-Green's model of language subordination process; (3) the idea of the nation-state is viewed through the lens of the concepts of 'imagined communities' by Benedict Anderson and 'invented tradition' by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. The article highlights how the literacy myth is used as a tool to maintain and exclude social hierarchies, and how this can hinder access to education and other opportunities for all layers of society. The authors show the need to study alternative approaches to literacy (that would contribute to social justice), including broader ones that take into consideration the impact of digitalization and the emergence of new myths on this basis.

Keywords: literacy myth, standard language, language ideology, writing, nation-state idea

For citation: Shatunov, P.G. & Nayman, E.A. (2024) The ideological foundations of the literacy myth. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 118–128. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/10

Согласно распространенному мнению, грамотность в современном мире является одной из важнейших составляющих экономической и социальной мобильности индивида, выступая ключевым фактором его образовательного процесса. Утверждение о высоком уровне грамотности как автоматической гарантии личностного успеха и социального прогресса позволяет говорить о набирающем популярность «мифе о грамотности», который играет важнейшую роль в формировании современной образовательной политики и практики. Устойчивость рассматриваемой мифологической конструкции опирается на целый ряд широко признанных положений о грамотности как нейтральном индикаторе человеческого интеллекта, маркере культурного превосходства и средстве социального продвижения. Несмотря на это, негативным последствием подобных установок может стать языковая дискриминация, приводящая к социальному неравенству, что в значительной степени актуализирует критический анализ идеологических оснований, границ и дальнейших теоретических перспектив «мифа о грамотности». Такая рефлексия необходима как для развития всей современной социальной теории, так и для совершенствования и разработки новых подходов к образовательному процессу с учетом языкового и культурного разнообразия.

Целью данной статьи является всесторонний анализ «мифа о грамотности», его генезиса, идеологии и особенностей функционирования. Опираясь на предложенную структурализмом методологию определения значения любого мифа путем сравнения с другими, близкими ему, мифами в системе, сформулируем проблему исследования в форме следующего вопроса: какие идеологические и мифологические конструкции лежат в основании «мифа о грамотности» и какова их функция в установлении и сохранении социального неравенства в современном обществе? В результате мы утверждаем, что «миф о грамотности», тесным образом связанный с письменной культурой, основан на мифе «стандартного языка», необходимого для обоснования идеи национального государства как единой культурной, политической и правовой сущности.

Методологической базой анализа выступили: концепция «многоуровневой грамотности» Брайана Стрита, критический анализ «мифа о грамотности» Харви Граффа, модель «языковой субординации» Розины Липпи-Грин, а также общий подход к критике мифа Ролана Барта. Теоретические источники

осмысления мифологической природы идеи «национального государства»: концепции «воображаемого сообщества» Бенедикта Андерсона и «изобретенной традиции» Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера.

В первую очередь необходимо рассмотреть неразрывную связь грамотности и письма. Несмотря на огромную значимость письма для нашей жизни, дать ему четкое определение совсем не просто. Причина тому – и многозначность понятия, и длительная история письма с его ключевой ролью в развитии общества. Одним из наиболее признанных исследователей можно считать американского лингвиста Игнаса Джея Гельба, который в своей знаменитой работе «Опыт изучения письма (Основы грамматиологии)» (1952) определяет письмо как «систему межличностной коммуникации, использующей условные визуальные знаки» [3. С. 23].

В англоязычной литературе письмо обозначается как «writing», а грамотность – «literacy». Проблема употребления данных понятий связана с их взаимозаменяемостью, имеющей простое объяснение: грамотность предполагает по крайней мере способности писать и читать, а те, в свою очередь, возможны только при наличии письма. Неслучайно в работе «Устная и письменная культура» Уолтера Онга концепция письменной культуры обозначена именно как «literacy» [9]. При этом понятие «грамотность» рассматривается как более широкое, нежели «письмо».

Возможны различные определения грамотности. В узком смысле она включает базовые способности чтения, письма и счета. В более широком и наиболее распространенном смысле грамотность – это возможности человека, используя языковые средства, участвовать в социальной жизни. Например, Брайан Стрит в работе «Грамотность в теории и на практике» (1984) создает концепцию «многоуровневой грамотности», согласно которой грамотность – не единый навык, а «набор социокультурных практик, зависящий от различных контекстов» [11. Р. 42]. К расширенному пониманию грамотности привели ряд этапов ее развития, преимущественно связанные с эволюцией письма. На каждом из них грамотность, наряду с письмом, выполняла различные функции:

1. Изобретение печатного станка (XV в.). На данном этапе грамотность рассматривалась как инструмент:

- социальной мобильности: грамотные люди получили лучшие возможности для трудоустройства и роста социального статуса;
- религиозных реформ: общество стало интерпретировать религиозные источники «из первых рук», что способствовало подъему протестантизма, бросившему вызов традиционному авторитету католической церкви;
- передачи культуры: массовое производство книг, преодолевая географические границы, содействовало распространению знаний, идей и культурных ценностей.

2. В эпоху Просвещения (XVIII в.) грамотность воспринималась как важный элемент:

- рационализма: грамотность становится средством борьбы с невежеством, суевериями и тиранией;
- гражданской активности: вовлекает членов сообщества в дискуссии по гражданским вопросам, выступая инструментом провозглашения социальных и политических изменений;

– экономического развития: признается решающим фактором экономического роста и промышленного развития.

3. В период промышленной революции (XVIII–XIX вв.) грамотность выступала:

– в качестве требования к квалифицированной рабочей силе: была необходима при трудоустройстве, закрепила за собой значение важного фактора экономического выживания;

– как фактор социального роста: изменила жизнь представителей рабочего класса и их семей за счет повышения заработной платы, улучшения уровня жизни и роста социальной мобильности;

– одной из основ социальной сплоченности: помогла преодолеть социальные разногласия и укрепить чувство национальной идентичности среди возрастающего по численности городского населения.

4. Развитие средств массовой информации (XX в.) позволило превратить грамотность в средства:

– потребления новостной и общей информации: развитие СМИ (газет, радио и телевидения) привело к появлению новых форм грамотности и изменило способы потребления информации;

– развлечения и досуга: ассоциируется с массовой культурой, поскольку журналы, комиксы и романы стали формами массового развлечения;

– политической пропаганды и убеждений: служит правительствам и политическим группам для пропагандистских целей и усиления влияния на общественное мнение.

5. Цифровой век (конец XX – начало XXI в.) значительно расширяет понимание грамотности, и сегодня она уже выступает в качестве инструментов:

– цифровой коммуникации и доступа к информации: цифровая грамотность стала необходимой для общения, доступа к информации и участия в онлайн-сообществах;

– глобальной связи: интернет объединил людей по всему миру, способствуя новым формам межкультурного общения и обмена идеями. Грамотность стала инструментом достижения взаимопонимания между различными мировоззренческими позициями;

– непрерывного обучения и адаптации. В быстро меняющемся цифровом мире она превратилась в непрерывный процесс обучения, требующий от людей адаптации к новым технологиям, информационным форматам и стилям общения.

Другими словами, на третьем этапе, в ходе промышленной революции, роль грамотности несколько изменилась: из орудия просвещения и рационализации она постепенно превращается в инструмент социального контроля. Этому могли способствовать следующие факторы:

1) возникновение национальных государств и необходимость социального контроля. Грамотность позволяла правящим классам распространять свою идеологию и обеспечивать соблюдение социальных норм;

2) экспансия европейского колониализма. Европейский колониализм XVIII и XIX вв. привел к навязыванию колонизированному населению европейских языков и практики приобретения грамотности, что зачастую делалось в ущерб языкам и культурам коренных народов, лишь укрепляя власть и господство колониальных администраций;

3) ограниченные возможности для получения образования. В период промышленной революции возрастает спрос на грамотную рабочую силу, поскольку новым технологиям и отраслям требовались работники, умеющие читать и писать. Однако доступ к образованию оставался ограниченным, а большинство рабочих оставались неграмотными, что делало их наиболее уязвимыми для эксплуатации и жесткого контроля;

4) развитие средств массовой информации и пропаганды. Развитие СМИ в XIX и XX вв. облегчило правящим классам распространение пропаганды и необходимой информации. Грамотность была необходима для понимания и взаимодействия с этими новыми формами распространения информации ради манипулирования общественным мнением и осуществления социального контроля;

5) сохранение традиционных социальных и политических иерархий. Классовые, половые и расовые традиционные социальные и политические иерархии продолжали существовать в течение XVIII в. и позднее. Грамотность часто использовалась для укрепления этих иерархий, поскольку обеспечивала доступ к образованию, занятости и политической власти преимущественно представителям привилегированных классов.

Указанные выше факторы и приводят к формированию «мифа о грамотности». Данный термин был введен историком образования Харви Граффом для описания упрощенного и зачастую неточного представления о приобретении грамотности как необходимого условия и неизменного результата экономического прогресса, демократической практики, когнитивного развития и восходящей социальной мобильности [5]. «Миф о грамотности» основан на следующих положениях, утверждающих, что грамотность:

- панацея от всех болезней общества, таких как бедность, невежество и преступность;
- универсальна в качестве единого стандарта, применимого ко всем культурам и контекстам;
- объективна в плане свободы от влияний власти или социальной иерархии;
- линейна в виде результата от непосредственного перехода от неграмотности, автоматически гарантирующего грамотному человеку прогресс во всех сферах его жизни.

В своей работе Графф подвергает критике данные положения и доказывает, что грамотность [5. Р. 12–13]:

1) не является необходимым условием экономического развития: существуют страны, добившиеся экономического развития, не имея высокого уровня грамотности (например, Южная Корея – в середине XX в. [4], Китай – с конца 1970-х гг. [8], Индия – в конце XX – начале XXI в. [10]);

2) не выступает в качестве достаточного условия для демократической практики, не гарантирует информированность членов сообщества и их гражданскую активность;

3) необязательно улучшает когнитивные способности: навыки грамотности важны, но они – не единственный фактор, способствующий когнитивному развитию;

4) не всегда приводит к росту социальной мобильности: помимо нее социальная мобильность нередко определяется такими факторами, как класс, этничность и пол.

Миф о грамотности не может рассматриваться как нечто безобидное, поскольку способен не только вызывать нереалистичные ожидания относительно преимуществ программ повышения грамотности, но и использоваться для оправдания неэффективной и несправедливой образовательной политики, а также стигматизации «неграмотных» членов сообщества.

По существу, миф о грамотности является вторичным относительно другого мифа – «мифа о стандартном языке». Используя подход Ролана Барта к анализу мифов, можно показать, что идеи стандартного языка и грамотности разделяют одни и те же мифологические признаки [2]. Рассмотрим различные аспекты «мифа о грамотности» в контексте данного подхода.

1. Деполитизация и натурализация. Идея стандартного языка часто представляется естественной и неоспоримой общественной нормой. Этот процесс маскирует исторические и политические решения, связанные с выбором и возвышением определенного диалекта или языкового варианта над другими. Представляя стандартный язык как правильную и престижную форму языка, другие диалекты и языковые варианты маргинализируются или объявляются неполноценными. Эта натурализация скрывает динамику власти и социальные расслоения, участвующие в процессе стандартизации, создавая впечатление, будто стандартный язык является не искусственным, а естественным выбором.

2. Множественность значений. Значения идеи стандартного языка зависят от различных контекстов: в одних она связана с ясностью, эффективностью и единством, а в других – символизирует угнетение, колониализм или нивелирование языкового разнообразия. В этом смысле миф о стандартном языке не имеет единого фиксированного значения. Такое контекстуальное многообразие позволяет использовать эту концепцию для различных идеологических целей: например, для укрепления национальной идентичности или оправдания языковой политики.

3. Форма и содержание. В мифе о стандартном языке решающую роль играют как форма (способ представления и продвижения языка), так и содержание (язык как таковой). Образовательные системы, средства массовой информации и официальные документы укрепляют литературный язык за счет своих институциональных форм, внедряя идею существенного превосходства данного языкового варианта над другими. Конкретные лингвистические особенности стандарта признаются более логичными или утонченными, нежели особенности нестандартов, что еще больше усиливает миф.

4. Культурный конструкт. Стандартный язык – это социокультурный конструкт, отражающий ценности, убеждения и властные структуры принимающего его сообщества. Выбор и обслуживание стандарта включают культурный выбор в отношении идентичности, престижа и социального порядка. Подобный выбор не является естественным или универсальным, а глубоко укоренен в конкретном историческом и социальном контексте сообщества.

5. Вторичная семиологическая система. Идея стандартного языка функционирует внутри семиотической системы, сообщая о социальной иерархии и культурных ценностях. Позиционируя стандартный язык как идеал, общество либо приписывает человека к культурному мейнстриму, либо исключает его из него, усиливая социальные разногласия и увековечивая статус-кво.

В этом смысле мы можем утверждать, что идея стандартного языка функционирует как миф, выдавая социальную и историческую конструкцию за якобы естественную и универсальную истину. Такой миф служит поддержанию социальной иерархии и властных отношений, оправдывая маргинализацию нестандартных языковых вариантов и их носителей.

Идею стандарта можно рассмотреть, прибегнув к модели «языковой субординации» американской исследовательницы Розины Липпи-Грин, представившей ее в своей работе «Английский с акцентом. Язык, идеология и дискриминация в Соединенных Штатах» [7]. Ее модель обеспечивает основу для понимания того, как общественные отношения и языковые идеологии способствуют дискриминации и подчинению носителей нестандартных языковых вариантов. Модель особенно полезна при анализе механизмов легитимации социального неравенства при помощи понятия «стандартного языка».

Модель Липпи-Грин содержит несколько этапов единого процесса, укрепляющего доминирование стандартного языка и маргинализацию других диалектов или языковых вариантов [7. Р. 69–71].

1. Язык мистифицирован. Правила и нормы языка представляются как естественные и самоочевидные, скрывая социальные процессы, определяющие «правильность» или «стандартность». Эта мистификация предполагает, что стандартный язык превосходит остальные диалекты или языки, несмотря на произвольность этих различий.

2. Утвержден авторитет. Эксперты (лингвисты, педагоги и медийные фигуры) заявляют о своем праве определять «правильное» языковое употребление. Их авторитет проистекает преимущественно из институциональной власти, а не из объективной оценки языковых практик. Стандартный язык представляется как единственно правильная форма, к освоению которой все должны стремиться.

3. Распространена дезинформация. К примеру, носителя стандартного языка квалифицируют как наиболее интеллектуального, а нестандартные диалекты называют искаженными версиями «настоящего» языка. Эти заведомо ложные утверждения усиливают стереотипы и предвзятость относительно тех, кто не соответствует стандарту.

4. Нестандартный язык представлен как тривиальный. Нонстандарты изображаются как неполноценные или подходящие только для неформальной или приватной обстановки, в то время как стандарт позиционируется как обязательный язык серьезных, публичных и формальных контекстов. Эта тривиализация снижает ценность языкового разнообразия и культурное значение диалектов.

5. Конформисты служат образцами положительного поведения. Людей, успешно освоивших стандартный язык, восхваляют и выставляют как пример для подражания. Остальные же вынуждены приспосабливаться к этой ситуации и ассимилироваться в ущерб своему языковому наследию и идентичности.

6. Нонконформистов унижают или маргинализируют. Продолжающих использовать нестандартные диалекты или языки подвергают стигматизации, угрожая социальными, образовательными и экономическими ограничениями, включающими дискриминацию при найме на работу, или негативным представлением в СМИ.

7. Даются четкие и понятные обещания. Приверженность стандартному языку – ключ к социальной мобильности, успеху и признанию. Такие обещания усиливают осознанную необходимость соответствия стандартным языковым нормам, рождая тревогу о последствиях невыполнения этого требования, выраженных в социальной и экономической изоляции.

8. Угрозы созданы. Скрытые или явные угрозы социального ostracism, ограниченных перспектив трудоустройства и недостатков образования принуждают к соблюдению стандарта, что еще больше укрепляет его доминирующее положение.

Модель Липпи-Грин раскрывает механизм использования идеологии стандартного языка для поддержания социальной иерархии и увековечения неравенства. Стандартизация не только маргинализирует носителей нестандартного, но и усиливает социальные различия по этническому, классовому и региональному признаку. Модель также показывает, что приверженность государственному языку связана не только с коммуникативной ясностью, но и глубоко укоренена в действующих властных институтах, осуществляющих социальный контроль. Все это заставляет пересмотреть устоявшиеся оценки стандарта, признавая легитимность и высокий статус всех языковых вариантов, существующих в сообществе.

Рассматривая миф о грамотности как производный от мифа о стандартном языке, необходимо отметить, что первый непременно наследует черты второго. Иными словами, между ними существует подобие, порождаемое особенностями их генезиса.

Миф о грамотности, описанный Харви Граффом, и миф о стандартном языке имеют несколько существенных сходств, отражающих общие представления о языке, образовании и их социальных функциях. Оба мифа влияют на восприятие языка и грамотности в обществе, а также на политику и практики в области образования и социального взаимодействия. Основные черты сходства между рассматриваемыми мифами обнаруживаются в следующем:

1) идеологическая основа: оба мифа основаны на глубоко укоренившихся идеологических представлениях, служащих интересам определенных социальных групп. И тот и другой поддерживают статус-кво и способствуют сохранению социального и экономического неравенства, представляя определенные формы языкового употребления как более желательные или «правильные» по сравнению с другими;

2) социальное исключение: как миф о грамотности, так и миф о стандартном языке могут привести к социальной изоляции тех, кто не соответствует установленным нормам. В случае грамотности это касается людей, чьи навыки чтения и письма считаются недостаточными; в случае стандартного языка – тех, кто говорит с акцентом или использует диалект, отличный от стандартного;

3) миф о линейном прогрессе: оба мифа подразумевают существование линейного пути развития от низших к высшим формам языка или грамотности, приводящему к социальному и экономическому успеху. Такая позиция упрощает природу сложных социальных взаимодействий и исторических контекстов развития языковых практик и навыков грамотности;

4) недооценка разнообразия: оба мифа недооценивают важность и ценность языкового и культурного разнообразия. Они продвигают однородный

подход к языку и образованию, игнорируя многообразие языковых практик и форм грамотности, существующих в различных культурных и социальных контекстах;

5) влияние на образовательную политику: и тот и другой оказывают значительное влияние на образовательную политику и практику, зачастую приводя к разработке оценочных процедур, ставящих определенные языковые компетенции и навыки грамотности в привилегированное положение относительно других, нанося им ущерб. В свою очередь, это может ограничивать доступ к образованию категориям граждан, не вписывающихся в узкие определения.

В целом оба мифа играют ключевую роль в формировании представлений о языке, образовании и социальной идентичности, а также определении наиболее значимых социальных знаний и навыков. Их критический анализ помогает выявить и оспорить положения социального неравенства, связанные с языком и грамотностью.

Также следует отметить, что существует и идея (-миф) более высокого порядка, нежели миф о стандартном языке. Это идея национального государства, и ее также можно рассматривать в мифологическом ключе. Концепция национального государства основана на предположении о существовании единой нации – группы людей с общим происхождением, историей, культурой и языком. Эта идея подразумевает, что у каждой нации должно быть свое государство, где она может реализовывать свои интересы и сохранять свою уникальность. Так, например, Бенедикт Андерсон рассматривает нацию как «воображаемое политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» [1. С. 47]. Эта мысль подчеркивает понимание национального государства как воображаемой сущности, потому что члены нации, лично не зная друг друга, формируют образ сообщества как ограниченного и суверенного.

Идеи, близкие Андерсону, можно обнаружить и в сборнике «Изобретение традиции» (под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера) [6]. Одна из его тем касается формирования обрядов и символов, связанных с монархией и государственностью в Великобритании. При этом рассматривается процесс создания и продвижения новых «традиций» в эпоху британского национального возрождения и модернизации. Эти «традиции» служили для укрепления идеи национального единства, легитимизации политической власти и формирования общенациональной идентичности. Примерами таких «изобретенных традиций» могут служить сложные придворные церемонии, парады, юбилеи, а также символы монархии и государственности, включая определенные процессуальные формы национальных праздников [6. Р. 101–164].

Таким образом, виртуальность нации и «изобретенные традиции» позволяют также рассматривать идею о национальном государстве как своеобразный миф. Миф о стандартном языке тесно связан с идеей национального государства, поскольку лингвистический стандарт считается важным элементом национальной идентичности. Стандартный язык выступает инструментом унификации различных диалектов и языковых практик в пределах государства, способствуя созданию общенационального коммуникативного пространства. В этом контексте «миф о стандартном языке» поддерживает

идею о лингвистической национальной однородности, которая, в свою очередь, укрепляет национальное единство и суверенитет.

Таким образом, грамотность – достаточно сложный, комплексный феномен, воспринимаемый сквозь призму целой системы социальных мифов. Он способствует поддержанию социальных иерархий и неравенства, игнорируя многообразие языковых и культурных практик. Изучение мифа о грамотности и его идеологических оснований позволяет проследить его влияние на социальные структуры, образовательные политики и социальные судьбы отдельных людей. Критический анализ этих идеологических оснований открывает путь к созданию более справедливых и инклюзивных подходов к образованию и социальной практике. И здесь приходит время для разработки альтернативных подходов к грамотности, способствующих теории социальной справедливости. Кроме того, современные контексты цифровизации и искусственного интеллекта способны породить новые мифологические социальные конструи, нуждающиеся в критическом анализе.

Список источников

1. *Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма* / пер. с англ. В. Николаева. М. : Кучково поле, 2016. 416 с.
2. *Барт. Р. Мифологии* / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М. : Академический Проект, 2008. 351 с.
3. *Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологии)* / пер. с англ. Л.С. Гробо-вицкой и И.М. Дунаевской. М. : Радуга, 1982. 366 с.
4. *Amsden A.H. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York : Oxford University Press. 1989. 379 p.
5. *Graff H.R. The literacy myth*. Routledge. 1991. 400 p.
6. *Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition*. Cambridge University Press. 1992. 328 p.
7. *Lippi-Green R. English with an Accent. Language, Ideology and Discrimination in the United States*. 2nd ed. London : Routledge, 2011. 384 p.
8. *Naughton B. The Chinese Economy: Transitions and Growth*. MIT Press. 2007. 528 p.
9. *Ong W.J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. Abingdon : Routledge, 2012. 232 p.
10. *Panagariya A. India: The Emerging Giant*. New York : Oxford University Press, 2008. 514 p.
11. *Street B.V. Literacy in Theory and Practice*. Cambridge University Press, 1984. 243 p.

References

1. Anderson, B. (2016) *Voobrazhayemyye soobschestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneni natsionalizma* [Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Translated from English by V. Nikolayev. Moscow: Kuchkovo pole.
2. Barthes, R. (2008) *Mifologii* [Mythologies]. Translated from French by S. Zenkin. Moscow: Akademicheskii projekt.
3. Gelb, I.J. (1982) *Opyt izucheniya pis'ma (Osnovy grammatologii)* [A Study of Writing (The Fundamentals of Grammatology)]. Translated from English by L. Grobovitskaya & I. Dunaevskaya. Moscow: Raduga.
4. Amsden, A.H. (1989) *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press.
5. Graff, H.R. (1991) *The Literacy Myth*. Routledge.
6. Hobsbawm, E. & Ranger, T. (1992) *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
7. Lippi-Green, R. (2011) *English with an Accent. Language, Ideology and Discrimination in the United States*. 2nd ed. London: Routledge.
8. Naughton, B. (2007) *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. MIT Press.
9. Ong, W.J. (2012) *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. Abingdon: Routledge.

10. Panagariya, A. (2008) *India: The Emerging Giant*. New York: Oxford University Press.
11. Street, B.V. (1984) *Literacy in Theory and Practice*. Cambridge University Press.

Сведения об авторах:

Шатунов П.Г. – старший преподаватель кафедры экономики и управления Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета (Новокузнецк, Россия); аспирант кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: shatunov.ph.d@gmail.com.

Найман Е.А. – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета; ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (Томск, Россия). E-mail: enyman17@rambler.ru.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Shatunov P.G. – senior lecturer at the Economics & Management Department, Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute of Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russian Federation); postgraduate student at the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: shatunov.ph.d@gmail.com.

Nayman E.A. – Dr. Sci. (Philosophy), professor at the Department of History of Philosophy and Logic, National Research State University (Tomsk, Russian Federation); leading research fellow, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). E-mail: enyman17@rambler.ru.

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.02.2024;
одобрена после рецензирования 18.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.02.2024;
approved after reviewing 18.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.35
doi: 10.17223/1998863X/78/11

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕТЕВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ЭКОЛОГИСТОВ И ВАКЦИОНИСТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Алексей Андреевич Барышев¹, Виталий Викторович Кашпур²,
Глеб Алексеевич Барышев³

^{1,2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

³ *Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия*

¹ *barishevnp@mail.ru*

² *vitkashpur@mail.ru*

³ *GAIBaryshev@tvel.ru*

Аннотация. Представлены результаты анализа дискурса и сетевой структуры экорадикальных, антиядерных и антивакционистских онлайн-сообществ в «ВКонтакте». Рассмотрено взаимоотношение их социально-сетевых и дискурсивных характеристик. Сделаны выводы о существенной роли властной позиции для структуризации дискурсивной формации, а также показана включенность антинюкеров в общую сеть и дискурс экорадикальных сообществ.

Ключевые слова: дискурс, поляризация дискурса, гегемонный дискурс, объекты дискурса, сетевая структура, формация дискурса, антинюкеры, антивакционизм, иммунология, экорадикализм

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-01333, <https://rscf.ru/project/22-28-01333/>

Для цитирования: Барышев А.А., Кашпур В.В., Барышев Г.А. Взаимоотношения сетевой и дискурсивной структуры сообществ экологистов и вакционистов в социальной сети «ВКонтакте» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 129–145. doi: 10.17223/1998863X/78/11

SOCIOLOGY

Original article

RELATIONSHIP OF THE NETWORK AND DISCOURSE STRUCTURE OF COMMUNITIES OF ECOLOGISTS AND VACCINATIONISTS ON THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE

Aleksey A. Baryshev¹, Vitaliy V. Kashpur², Gleb A. Baryshev³

^{1,2} National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

³ National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

¹ barishevnp@mail.ru

² vitkashpur@mail.ru

³ GAlBaryshev@tvel.ru

Abstract. The beginning of the 21st century is marked by increased attention to the problem of human intervention in natural processes. The avalanche of debates in the media and the Internet on a variety of issues from the safety of storing nuclear waste, the removal of landfills to regions remote from the places of “production” of garbage, the right of women to terminate pregnancy to mandatory vaccination against COVID-19 began to be compared in the intensity of passions with ideologically based conflicts and created a new type of conflict behavior, which is characterized by the transformation of any of the goals of humanity’s joint survival into the basis of a unique ideology disseminated through social networks. The article searches Russian online networks for manifestations of radical environmental, anti-vaccine, and anti-nuclear post-ideologies. The research problem was the relationship between their social network and discursive characteristics. The methodological basis was a power-discursive program of research into networks and institutions as social objects. Its application allowed us to receive the following results. Firstly, vaccination discourse is extremist in all its parts, not just the anti-vaccine one. Secondly, the key role in this is that it includes and voices the power position directly from within itself. Thirdly, environmental discourse reaches the extremist agenda in the part where it serves to justify and organize direct environmental action. Fourthly, anti-nukers are currently either an imagined community or part of a network of environmental communities, which, due to a power context different from environmentalists, has the most likely prospect of becoming participants in the official discourse of nuclear safety.

Keywords: discourse, polarization of discourse, hegemonic discourse, objects of discourse, network structure, formation of discourse, anti-newkners, anti-vaccinationism, immunology, eco-radicalism

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-01333, <https://rscf.ru/project/22-28-01333/>

For citation: Baryshev, A.A., Kashpur, V.V. & Baryshev, G.A. (2024) Relationship of the network and discourse structure of communities of ecologists and vaccinationists on the social network VKontakte. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 129–145. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/11

Введение

В настоящее время понятие «дискурс» в общенаучной речи становится все более и более переопределенным, утрачивая в ее потоке какое-либо конкретное содержание. Тем более условным и многозначным становится все

чаще встречающееся словосочетание «сетевой дискурс», или «дискурс онлайн-сообществ». Однако когда речь заходит об «экстремистском онлайн-дискурсе», привычная многозначность становится недопустимой, поскольку может быть чреватой огульными обвинениями в противоправной деятельности только на том основании, что за рубежом сообщества аналогичной направленности признаются экстремистскими.

В данной статье речь пойдет о достаточно новом понятии монотематического онлайн-экстремизма. В мировой правоохранительной практике такой экстремизм еще называют экстремизмом специального (особого) интереса или направленности, характеризуемом заикленностью его представителей на какой-либо единичной проблеме вне конвенциональных (левых, правых, религиозно-фундаменталистских) идеологических контекстов. Обычно до экстремистского уровня «распаляют» свой дискурс некоторые сообщества зеленых (экорадикалов), антивакционистов и антиньюкеров (антиядерщиков). Но это происходит, как правило, в офлайн и далеко не во всех странах. Поэтому одной из целей авторского исследовательского проекта «Монотематический онлайн-экстремизм: содержательные, структурные и динамические характеристики и взаимосвязь с идеологическим экстремизмом», поддержанного РНФ, было проверить, как обстоят дела с экстремизмами особой направленности в российском сегменте Интернета. В связи с этим обозначения соответствующих групп были проверены на присутствие в них «обвинительного уклона» и соответствующим образом скорректированы. С учетом этого фактическим направлением проекта стало исследование экологических, антивакционистских и «нуклеофокусированных» сообществ в Интернете с последующей квалификацией характера генерируемого ими дискурса.

Настоящая статья фокусируется на установлении границ дискурсов, решая исследовательскую проблему соответствия сетевой и дискурсивной структур, самопрезентующих свою принадлежность к тем или иным направлениям протеста. Дело в том, что самоидентификация и даже следование группы определенной лексике может резко расходиться с характером ее внешних связей. Кроме того, дискурсы и сообщества могут по-разному интерпретировать властные влияния, в одних случаях учитывая их в своей системе табу и умолчаний, никак не адаптируя их в свой состав, а в других случаях — имея высказывания так или иначе аффилированных с властью акторов и их высказывания в качестве своей органической части.

В связи с этим мы намерены получить ответы на следующие вопросы.

1. Совпадает ли номинальная самоидентификация сообществ с реальностью дискурсивного и организационного единства?

2. Каким образом происходит различение дискурсов в терминах модальности, способов формирования концептов и стратегий (перспектив) развития, генерируемых симбиотически интегрированными сообществами, каждое из которых может иметь собственный властный контекст существования?

3. Какова взаимосвязь «дискурса» и «структуры сообществ» в случае участия в них «власти» и какова перспектива развития возникающих на такой основе дискурсивных и сетевых конгломератов?

Эмпирическую базу исследования составили, во-первых, профили подписчиков и контент целевых сообществ в социальной сети «ВКонтакте», идентифицированных по лингвистическим маркерам экологического,

нуклеофокусированного и вакционистского дискурсов в период с 1 января по 30 ноября 2022 г.; во-вторых, анализ поисковых запросов по лингвистическим маркерам за период с 2018 по 2023 в «Яндексе»; в-третьих, полуструктурированные интервью с 30 участниками идентифицированных онлайн-сообществ, проведенные в период с ноября 2022 по июль 2023 г.

Методологическая рамка анализа дискурса в связи с гетерогенностью его субстрата

Наряду с тем, что дискурс генерируется сетевыми объединениями, которые могут совершенно по Гумилёву описываться как симбиозы, ксении или химеры, он и без этих сложностей своего субстрата имеет собственные внутренние проблемные места, например, те, которые относятся к понятию «релевантных» высказываний как «тела» дискурса: каким образом только начинающая формироваться совокупность высказываний «узнает» и создает свои тематические границы? Здесь было бы логично и просто прибегнуть к понятию темы, но сама тема, как утверждают исследователи дискурса, вторична по отношению к нему [1. С. 72]. В связи с подобными трудностями сформируем тот набор положений, которым мы будем руководствоваться в данной статье. Во-первых, «дискурс» – это понятие не всякой науки, а лишь такого ее конкретно-исторического состояния или направления, как социальный конструкционизм, который рассматривает социальную реальность в качестве производной от речевых практик, производящих выделение в окружающем мире конкретных объектов путем не просто наименования уже существующих в качестве выделенных, но путем их созидания в результате многочисленных переконфигураций и пересборок имеющихся элементов [2] (и если выделение новых элементов неживой природы представляет сложную проблему, то выделение новых объектов социальной реальности, таких как «социальное предпринимательство», «экстремизм», «зеленая экономика» или «EBITDA», «вакцинация» [3] – сложнейшую). Во-вторых, эти переконфигурации и пересборки социального [4] происходят не в монологичном режиме [5], а в режиме взаимодействия множества риторик как способов вербального убеждения в правильности чего-либо [6]. В-третьих, риторики предполагают и невербальные методы, включающие, например, демонстрацию работы потенциального объекта социальной реальности [7]. В-четвертых, сами конструируемые объекты состоят не только из слов (инструкций по эксплуатации, принципов действия), но и вполне материальных элементов, процесс сборки которых «с помощью слов» в социальный объект получает статус «материально-дискурсивной практики» [8]. Последнее важно в том плане, что наблюдатели, сводя дискурс только к «словам», часто забывают, что последние являются организаторами определенных преобразований и перемещений вещей. В этом плане можно сказать, «слова» становятся маркерами определенных процессов.

Что еще важно сказать про дискурс в перспективе предпринимаемого исследования? Важно сказать, что он обеспечивает отбор релевантных высказываний благодаря его замкнутости на решение какой-либо проблемы. Даже на уровне бытового обсуждения его заинтересованные участники быстро отсеивают досужих наблюдателей и неконструктивных резонеров, мнение которых перестает что-либо значить. На этой основе возникает такое свойство

дискурса, как его формационность [9, 10], благодаря вовлеченности участников в процесс совместного «думания и говорения» вся совокупность высказываний структурируется вдоль линий напряженностей, возникающих внутри нее [11]. При этом полученная структура может изменяться вследствие утраты некоторыми напряженностями прежней интенсивности и возникновения новых напряженностей [10].

Однако такая текучесть не означает непознаваемости дискурса: при постоянном изменении значений обсуждаемых предметов или даже при возникновении полной неопределенности в отношении них каждый данный момент общая конфигурация значений объекта дискурса является «данной» и может быть подвергнута анализу [12].

Итак, структура и функции дискурса оказались взаимосвязанными понятиями. Если стратегическая функция дискурса – это формирование надежного объекта социальной реальности, который несмотря на решающую роль в его образовании слов и идей, к тому же нередко противоречащих друг другу, способен достаточно продолжительное время сохранять свою идентичность на фоне других социальных объектов и служить тем целям, ради которых он изначально создавался или каким-либо другим целям, которые он «нашел» в ходе своей жизни, то тактические функции выражаются теми значениями, которыми объект дискурса наделяется его разнообразными, но заинтересованными участниками. Соответственно, структура дискурса задается наличием в нем зон различной функциональности. Эти функциональности могут различаться по идентичностям формируемых акторов (в любом дискурсе анализе формирование идентичности – важнейшая функция дискурса [13–15]). Эти зоны кроме функциональности могут различаться также и по значимости: например, гегемонный дискурс (гегемонная область дискурса) или зона дискурсивности (неопределенности) в анализе дискурса Э. Лакло [16].

В зависимости от того, выступает ли власть внутридискурсивным или экстрадискурсивным феноменом, будет конструироваться и процедура формирования идентичностей [17]. Как скоро будет показано, экстрадискурсивностью власти характеризуются дискурсы природоохранных активистов. В то же время дискурс вакцинации включает и озвучивает властную позицию прямо изнутри себя.

Анализ дискурса вакцинации

На основе лингвистических маркеров тематики вакцинации было выявлено 72 онлайн-сообщества, генерирующих «антивакционистский» и 18 – «провакционистский» контент. В «Топ-3» провакционистских сообществ по количеству участников вошли «Родители и дети. Здоровье и семья» ($n = 211\,828$), «Σ Научный скептицизм – против псевдонауки» ($n = 54\,112$), «Ваша Мама в Секте» ($n = 41\,666$). Соответствующая тройка больших антивакционистских групп состоит из сообществ «Прививки: «за» и «против»» ($n = 52\,905$), «ИММУННЫЙ ОТВЕТ – 2 июня – Всероссийская акция» ($n = 20\,546$), «Обратная стороны COVID» ($n = 19\,343$).

Из сетевых метрик провакционистских и антивакционистских групп следует, что интенсивность и разнообразие связей между провакционистскими сообществами при наличии у их сети подобия ядра в виде формально нейтральных групп оказываются намного ниже, чем у более многочисленных

групп антиваксеров. К этому же приходят зарубежные исследователи, отмечая, что связи антивакционистских групп друг с другом оказываются более рассеянными и свободными [18. С. 1314].

С точки зрения топологии обе сети демонстрируют незначительные различия структурного характера. Так, в сети антивакционистских сообществ (рис. 1) выделяется четыре кластера, которые можно обозначить как «Детский», дискутирующий о вакцинации детей; «Общий», характеризующийся отрицанием любых видов вакцинирования; «Конспирологический», который представляет вакцинацию в русле теорий заговора как инструмент социального контроля населения и обогащения «большой фармы»; и «Ковидный», в который объединены противники вакцинации только от COVID-19.



Рис. 1. Сеть антивакционистских сообществ

Сеть же провакционистских сообществ имеет три ярко выраженных кластера, которые можно условно обозначить как «Мифоборческий», разоблачающий всякого рода предрассудки, мешающие людям понять пользу вакцинации; «Экспертный», объединяющий группы, организуемые медицинскими учреждениями; и «Информационный», публикующий сообщения о существующих вакцинах от COVID-19 – рис. 2.

Итак, дискурс вакцинации дихотомичен, но его раздвоенность – особого рода, которую можно обозначить как «изначальную поляризованность» [19]. Это результат, фиксирующий «беспроцессную» поляризацию, резко контрастирует с постепенной поляризацией, начинающейся с различия «вакцино-поддерживающих» (vaccine supportive) и «вакцино-скептических» (vaccine hesitant) высказываний [20, 21].

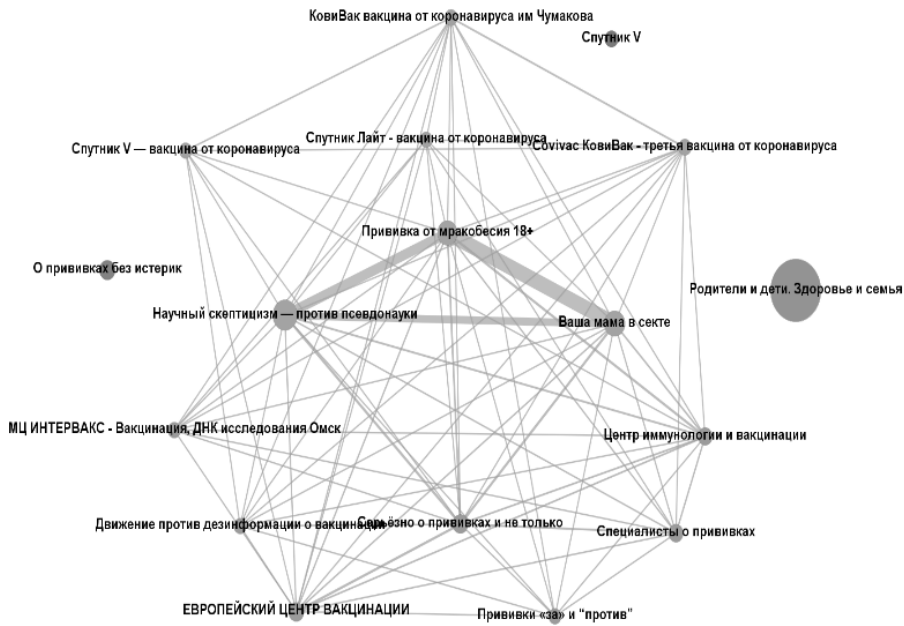


Рис. 2. Сеть провакционистских сообществ

Мобилизационная деятельность правительства в борьбе с коронавирусом сформировала основу для принятия общественным мнением единой бelligerentной метафоры военных действий для описания ситуации с коронавирусом и вакцинацией, образ которых стал конструироваться с привлечением тайных врагов, вынашивающих коварные замыслы по разрушению страны. В этих условиях объявляющие себя в качестве нейтральных группы не могли не подвергнуться дискредитации в глазах всех частей «общества» (в нашем кейсе – российского сегмента Интернета). В результате политические и экспертные сообщества (медицинские группы в том числе), обладающие властным ресурсом, активно вступили в борьбу с мифами антивакционистов. Однако эта борьба стала принимать очень быстро форму шельмования оппонентов, что вызвало ответную реакцию последних с повышением градуса языка вражды. В итоге дискурс превратился в арену раскручивания вербального насилия с обеих сторон. Навязчивое разоблачительство стало характерной чертой информационной активности обеих развернувшихся в атаке друг на друга лагерей, что в свете указанной метафоры превращается в типичную контрпропаганду в условиях войны. Воинственная риторика и дезинформация стали нормами дискурса вакцинации в «ВКонтакте». Примерно то же самое, но без отмеченной изначальности поляризации фиксируют исследователи вакцинации в других социальных сетях в других странах [18, 22].

Метафора войны тем более оказывается релевантной для рассмотрения дискурса вакцинации в «ВКонтакте», что участники противоборствующих сторон практически не вступают в индивидуальное общение друг с другом. Это и создает иллюзию «двух дискурсов». Объектами атак выступают занимаемые противником «позиции» и вскрываемые в соответствии с логикой теорий заговора происки закулисных бенефициаров. Для антивакционистов тайными

силами за спинами провакционистов выступает «большая фарма», обобщенный Билл Гейтс и отечественная элита, которая либо находится на службе у первых двух, либо имеет собственный интерес усиления контроля над обществом под предлогом борьбы с новой инфекцией. Для «проваксеров» антивакционисты служат интересам внешних врагов, желающих ослабления страны.

Как уже отмечалось [18], группы антивакционистов взаимодействуют друг с другом посредством более свободных и разнообразных связей. С точки зрения когнитивной функции дискурса как формы существования знания это означает, что провакционисты пользуются преимущественно готовым знанием, в то время как антивакционисты активно производят внутрисетевое знание. Отсюда, развивая милитаристскую метафорику, мы можем охарактеризовать специфику функционирования провакционистского знания как движение регулярной армии по заранее разработанному Генштабом плану. В то же время антивакционистское знание ведет себя «по-партизански», постоянно изменяясь в соответствии с обстановкой.

Дискурс вакцинации в социальной сети оставляет в настоящее время мало надежды на примирение. Однако в научном дискурсе уже более десятилетия циркулируют высказывания в пользу лучшего понимания тех идей, которые лежат в основе антивакционизма как системы убеждений [23]. Отдельные авторы, в частности А. Ката, рассматривает антивакционизм с явно гегемонной провакционистской позиции, постольку в ее тезисах содержится посыл постепенного «приручения» антивакционистов, которые просто «не ведают, что творят», путем «более релевантного и менее обвинительного диалога» [23. С. 1715] при безусловной правоте научно обоснованных подходов к борьбе с вирусными инфекциями. Таким образом, примирение видится на основе капитуляции стороны, невооруженной «правильным» знанием и сопротивляющейся только «из принципа».

Однако победа на основе уничтожения противника чревата отрицательными последствиями для самого победителя. Поэтому выскажемся о перспективе переконфигурирования дискурса из застойно поляризованного в развивающуюся систему производства знания о сосуществовании людей с микроорганизмами и вирусами на основе различных способов приобретения иммунитета к ним и лояльности к своеобразию образа жизни Другого. Появляющиеся в настоящее время работы, разделяющие такую перспективу [24, 25], не могут не внушать оптимизма в этом отношении.

Однако реальная переконфигурация дискурса в подобие латуровского Парламента [26. С. 227–230; 27], в котором одинаково будут проартикулированы позиции не только по поводу вакцинации, но и других видов иммунизации, состоится только тогда, когда в социальных сетях, как в онлайн, так и в офлайн, появятся реальные сообщества тех, кто пострадал как от вируса, так и от вакцинации, а также тех, кто перенес физическую и моральную травму, спасая людей в экстремальных условиях. Наличие таких сообществ, подобных тем, которые создают жертвы ядерных испытаний [28–30], может выступить критическим фактором повышения ответственности всех субъектов материально-дискурсивных практик, связанных с иммунизацией. В свою очередь ответственность всегда служит основой искомого доверия.

Структура существующего дискурса уже содержит возможность такой переконфигурации: ведь кроме основной линии напряженности, дихотомиче-

ски представляющей вред и пользу от вакцинации, он содержит и много других таких линий («естественная» и «искусственная иммунизация» [31], «общество» или «популяция» как единицы иммунологической политики, «индивидуальный» и «коллективный» иммунитет, ответственное гражданство [32] и неприкосновенность тела человека, «технэ» и «метис» как социальные ипостаси знания о сохранении жизни [33], онтологическая истинность и эпистемическое доверие [34]), вдоль которых может пойти его дальнейшая структура. Условием такой переструктуризации является готовность власти отказаться от поддержки одного из полюсов напряженности.

Анализ экологических дискурсов

На основе детекции по лингвомаркерам были выявлены 14 групп, допускающих появление радикального контента, и 10 нуклеофокусированных групп. В тройку наиболее массовых экорадикальных групп вошли «СФРИГАНИЛИ» (9 730 участников), «Нет полигону Тимохово и МСЗ в Ногинском р-не» (3 812), «Нет мусорному полигону в Сахарово!» (2 797). Среди экологических радикалов наиболее плотно связаны между собой сообщества фриганов. Наиболее крупные нуклеофокусированные сообщества: «NUKES» (220 764 подписчика), «Радиация [Коварные изотопы]» (11 070), «Ухта против „радиоактивного новостроя“» (6 041).

Анализ сети распространения информации в «нуклеофокусированной» среде выявил номинальный характер единства соответствующих сообществ: с точки зрения функционирования информационных потоков они почти никак не связаны между собой (рис. 3), за исключением случаев потребления информации историко-игрового характера от группы «NUKES» и достаточно заметного на фоне практически равнодушного отношения к друг другу общения между представителями сообществ «Коварные изотопы» и «Атомспектр».

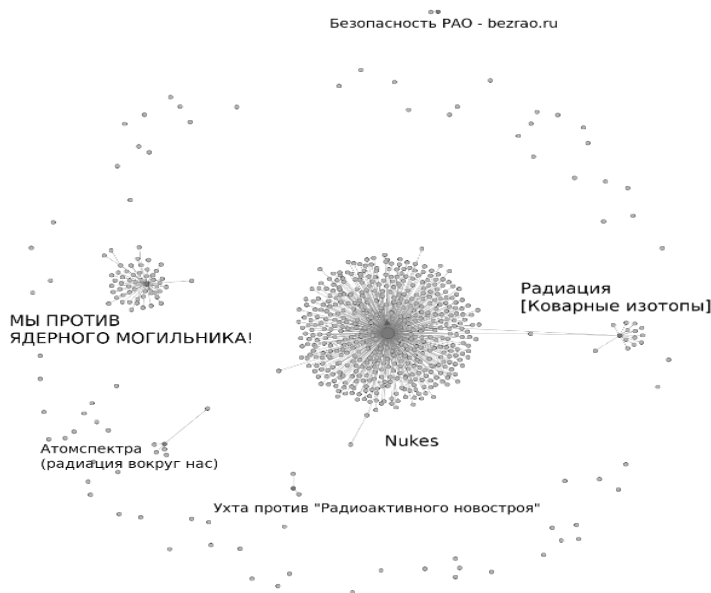


Рис. 3. Сеть распространения информации в «нуклеофокусированных» сообществах

Это привело к необходимости поиска реальных аффилиаций рассматриваемых групп. С этой целью было проведен анализ их связей с сообществами природоохранной направленности. Полученный результат (рис. 4) наглядно демонстрирует, по крайней мере, информационное единство нуклеофокусированных и экологических сообществ.

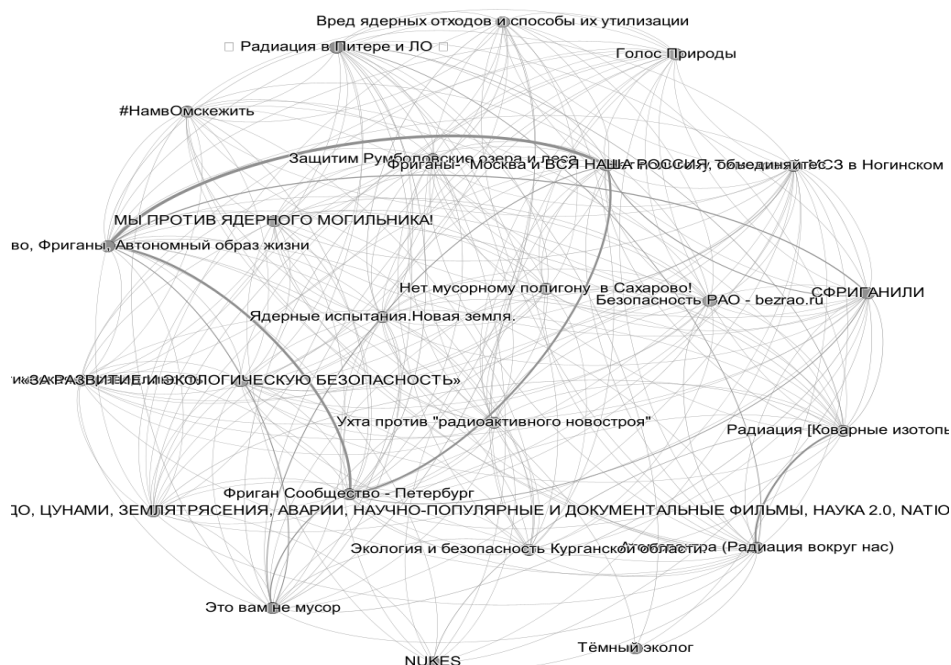


Рис. 4. Сеть взаимосвязи «нуклеофокусированных» и экологических сообществ

Однако составляют ли генерируемые ими потоки высказываний единую формацию дискурса или нет? Здесь возможны три ответа. Первый означает полное функциональное и структурное тождество дискурса, генерируемого экологистами, и дискурса, генерируемого нуклеофокусированными группами. Второй ответ состоит в признании формационного единства этих двух частей единого природоохранного дискурса, но предполагает некоторую степень их функциональной и(или) структурной обособленности в этом единстве. Третий ответ означает возможность существования разных формаций дискурсов при их наблюдаемом сетевом единстве.

Для получения наиболее коротким путем одного из названных предполагаемых ответов необходимо выяснить, как власть присутствует в обоих дискурсах (в качестве участника через своих представителей или в качестве «контекста», с оглядкой на который производятся высказывания). Анализ генерируемого в экологическом дискурсе контента и контента, генерируемого при обсуждении опасности, исходящей от ядерных объектов, материалов и отходов, позволяет зафиксировать в этом отношении несколько результатов.

Во-первых, оба дискурса дистанцированы от власти. «Власть» в лице организаций и конкретных должностных лиц в равной мере лишена представительства в этих дискурсах. Государство в отношении, например, природоохраны в лице своих природоохранных органов (Министерства природных

ресурсов и экологии РФ и его территориальных органов – управлений государственного экологического надзора, а также департаментов природопользования и охраны окружающей среды исполнительных органов субъектов Федерации) генерирует свой природоохранный дискурс с собственными правилами релевантности. В лице же государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «власть» генерирует особый дискурс ядерной энергетики, сфокусированный в отношении населения на безопасности ядерных объектов («дискурс ядерной безопасности»).

В этом контексте стратегическая функциональность экологов состоит не в критике официального дискурса природоохраны (в этом плане они почти никак не соприкасаются), а в одностороннем (без участия официальных оппонентов) формировании такого социального объекта, как система гражданского действия по предотвращению или преодолению ущерба (кем-либо и как-либо) природе, что позволяет квалифицировать в общем виде их дискурс как «дискурс экологического активизма». Таким же образом в отношении и к официальному природоохранному дискурсу, и бюрократически родственному ему дискурсу ядерной безопасности стратегически позиционирован и нуклеофокусированный дискурс.

Во-вторых, с точки зрения тактических отношений с властью рассматриваемые дискурсы оказываются радикально различны: экологисты склонны к оправданию не просто гражданского природоохранного движения, но прямых гражданских действий в защиту природы, чего нельзя сказать о нуклеофокусированных группах. Свойственные прямому действию в политике радикализм и экстремизм переводят, таким образом, дискурс экологического активизма в режим «дискурса прямого природоохранного действия», которое, однако, в качестве радикального или экстремистского относится лишь к таким функциональным частям дискурса, как защита «недвижимых» объектов окружающей среды (в качестве, например, ландшафтной основы культуры малых народов), оставляя прямые действия в защиту домашних животных в статусе вполне социально одобряемых. На последние, кстати сказать, приходится львиная доля контента, генерируемого природоохранными сообществами в «ВКонтакте».

Что касается нуклеофокусированных активистов, то для них путь прямого действия «физически» невозможен, поэтому они продолжают генерировать вполне согласующий с действующими законами нуклеофокусированный дискурс гражданского активизма, производящий их соответствующую идентичность. Однако их активизм в действительности оказывается в настоящее время достаточно слабым даже по сравнению с сообществами «в поддержку кошек и собак». Высказывания осторожных «радиофобов», хотя и постоянно приписывают виновность каким-либо институциональным акторам (правительство, «Росатом», отдельные топ-менеджеры), проговариваются скорее во фрейме «обращения к начальству». Создается впечатление, что это не голос жителей, переживающих за безопасность свою и своих близких, а голос блогеров, идущих в депутаты.

Соответственно, из предложенных трех вариантов ответа на вопрос о совпадении сетевого и дискурсивного единства «ядерщиков» и сторонников прямого действия в сфере охраны природы наиболее верным представляется третий: нуклеофокусированный дискурс и дискурс прямого природоохранно-

го действия представляют собой с точки дискурсивных стратегий различные дискурсивные формации.

В порядке прогноза можно сказать, что дискурс прямого природоохранного действия пойдет в направлении дальнейшей радикализации, а нуклеофокусированный дискурс будет эволюционировать в сторону сближения с официальным дискурсом ядерной безопасности в качестве его партнера и оппонента «от общественности» в процедурах согласования решений в сфере ядерной энергетики, постепенно утрачивая прежнюю плотность связи с природоохранными активистами. Данное предположение опирается на те функции зрелых дискурсов «антиньюкеров», которые определяют их политическое лицо в ряде стран. Так, например, в США антиядерные легальные образования представляют для энергетических корпораций «общественность», с которой необходимо найти консенсус при принятии тех или иных решений, связанных с использованием ядерных материалов [28]; во Франции – стране с сильными коммуналистскими традициями – «антиядерщики» выступают на стороне местного самоуправления при торгах по поводу размещения на территории коммун тех или иных элементов атомной индустрии [35].

Заключение

Проведенный анализ дискурсов и сообществ, выступающих наиболее вероятными кандидатами на статус «экстремистов особой направленности» (*extremists of special interest*), позволил прийти к выводам, во многом противоречащим сложившимся представлениям об этой категории экстремистов.

Начнем с формулирования этих выводов отдельно для вакционизма. Во-первых, так называемый дискурс антиваксеров (*antivaxxers*) сам по себе не обладает необходимыми признаками формационности и образует дискурсивное единство только в рамках изначально поляризованного дискурса вакцинации, имеющего также и провакционистскую составляющую. Критерием релевантности включаемых в него высказываний выступает их беллигерентность, или «риторика политизированной вражды» [36], безотносительно того, с каких позиций они подходят к вакцинации. Во-вторых, с позиции своего формационного единства дискурс содержит экстремистские высказывания, характеризующие как антиваккеры, так и проваккеры. В-третьих, ключевую роль в поляризованности и разворачивающейся на ее основе милитаризованности дискурса играет выступление представителей публичной и экспертной власти (безотносительно причин этого) на стороне одного из лагерей. В-четвертых, переход дискурса в более спокойный режим возможен только на основе его полной переконфигурации с формированием авторитетной силы, находящейся «над схваткой», о возможных кандидатах на формирование которой пока на уровне выводов говорить преждевременно.

Выводы в отношении экологистов соответствуют в целом их оценке либо как потенциальных, либо как фактических радикальных гражданских активистов с тенденцией перехода их дискурса в состояние оправдания и оформления практик прямого природоохранительного действия. Такое положение базируется на автономии этого дискурса от властного дискурса природоохранной системы и перспективе сохранения этой автономии. Однако при сближении экологического дискурса с университетским появляется возможность его дерадикализации [37].

Нуклеофокусированные группы в российской социальной сети «ВКонтакте» на данный момент оказались в качестве некоторой социальной категории, лишенной реального существования: их выделение является плодом лишь лингвистического маркирования без приложения данными «номиналами» каких-либо усилий, обеспечивающих их перевод в статус реальных акторов, характеризуемых признаками, актуальными для коллективного [38, 39] или коннективного действия [37, 40]. В результате эта номинальная общность может быть переконфигурирована путем «растаскивания» ее по тем группам и сетям, к которым реально причастны ее члены. Рассмотрение аффилированности части «ядерщиков» с сетью сообществ экологического активизма выявило их реальную агентность в качестве участников особого сегмента соответствующего дискурса. Однако с учетом дискурсивной стратегии экологов в направлении прямого действия вероятной перспективой данных немногочисленных «ядерщиков» становится интеграция последних в дискурс ядерной безопасности в качестве его формально независимого общественно-го крыла.

Список источников

1. Ревзина О.Г. Дискурс и дискурсивные формации // Критика и семиотика. 2005. № 8. С. 66–78.
2. Барышев А.А., Каптур В.В. Картирование концепта entrepreneurship на основе анализа лингвистических форм выражения новых значений // Социальные практики и управление: проблемное поле социологии. Новосибирск, 2022. С. 153–159.
3. Теория и практика социального предпринимательства : учебник / Г.А. Барышева, О.П. Недоспасова, Е.А. Фролова [и др.] ; под ред. Г.А. Барышевой. Томск : STT, 2018. 220 с.
4. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской ; под ред. С. Гавриленко. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
5. Dey P., Steyaert C. The politics of narrating social entrepreneurship // Journal of enterprising communities: people and places in the global economy. 2010. Vol. 4, № 1. P. 85–108.
6. Dey P., Steyaert C., Hjorth D. The rhetoric of social entrepreneurship: paralogy and new language games in academic discourse // Entrepreneurship as Social Change: A Third New Movements in Entrepreneurship Book. Cheltenham, 2007. P. 121–142.
7. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества / пер. с англ. К. Федоровой ; науч. ред. С. Миляева. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2013. 414 с.
8. Orlikowski W.J., Scott S.V. Exploring material-discursive practices // Journal of management studies. 2015. Vol. 52, № 5. P. 697–705.
9. Foucault M. L'Ordre du discours. Lecon inaugurale au College de France prononcee le 2 decembre 1970. Paris : Gallimard, 1971. 81 p.
10. Baryshev A. The regional spectra for the entrepreneurial motives and the dissemination of entrepreneurs' knowledge in the context of modern discursive formation of entrepreneurship // Economic and Social Development. 2019. Sp. ed. : XIV International Conference "Russian Regions in the Focus of Changes" : book of proceedings. P. 154–161.
11. Dey P., Mason C. Overcoming constraints of collective imagination: An inquiry into activist entrepreunering, disruptive truth-telling and the creation of 'possible worlds' // Journal of Business Venturing. 2018. Vol. 33, № 1. P. 84–99.
12. Барышев А.А. Классический и современный дискурсы предпринимательства и проблема социально-ролевых трансформаций предпринимательских практик // Российские регионы в фокусе перемен : сб. докл. : в 2 т. Екатеринбург, 2021. Т. 2. С. 142–145.
13. Bamberg M., De Fina A., Schiffrin D. Discourse and identity construction / M. Bamberg // Handbook of identity theory and research. New York, 2011. P. 177–199.
14. Мельникова О.Т., Кутковая Е.С. Дискурсивный подход к исследованию идентичности // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2014. № 1. С. 59–71.
15. Негруль С.В., Каптур В.В., Барышев А.А. Проблема конструирования социального предпринимательства как перформативного феномена: конкуренция смыслов и ценностей в

дискурсе ключевых стейкхолдеров // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 429. С. 91–99.

16. *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 2nd ed. London ; New York : VERSO, 2001. 217 p.

17. *Mole R.* Discursive identities/identity discourses and political power // Discursive constructions of identity in European politics. London, 2007. P. 1–21.

18. *Smith N., Graham T.* Mapping the anti-vaccination movement on Facebook // Information, Communication & Society. 2019. Vol. 22, № 9. P. 1310–1327.

19. *Baryshev A., Dunaeva D., Sarkisova A.* The vaccination debate on the social network vkontakte: a case of initially polarized online discourse // Социологические проблемы. 2021. Спецвыпуск. С. 137–161.

20. *Attwell K., Smith D.* Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities // International Journal of Health Governance. 2017. Vol. 22, № 3. P. 183–198.

21. *Dube E., Vivion M., MacDonald N.E.* Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications // Expert review of vaccines. 2015. Vol. 14, № 1. P. 99–117.

22. *Kata A.* Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm—An overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement // Vaccine. 2012. Vol. 30, № 25. P. 3778–3789.

23. *Kata A.* A postmodern Pandora's box: anti-vaccination misinformation on the Internet // Vaccine. 2010. Vol. 28, № 7. P. 1709–1716.

24. *Gosálbez P.N.M.* That ain't the question: To be vaxxer or anti-vaxxer at the brink of Catastrophe (short presentation). Minseln-Rheinfelden, 2021. 17 p.

25. *LeMonde J.* No Jab, No Pay, No Play and No Way: An anthropological exploration of Australian vaccination policies and the 'anti-vaxer' perspective. Queensland, 2018. 58 p.

26. *Ламур Б.* Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. с фр. Д. Я. Калугина ; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2006. 240 с.

27. *Middeldorp T.* The Parliament: a new public space // Parliament of Things. [S. l.], 2017. URL: <https://theparliamentofthings.org/longread/parliament-new-public-space/> (access date: 28.10.2023).

28. *Schiefelbein A.* Power to the People: Organizational Changes in the United States of America anti-nuclear movement, 1945–2008: Research Paper. [S. l.], 2016. URL: https://www.academia.edu/22077478/Power_to_the_People_Organizational_Changes_in_the_United_States_of_America_anti_nuclear_movement_1945_2008 (access date: 28.10.2023).

29. *Wiemann A.* Networks and Mobilization Processes: The Case of the Japanese Anti-Nuclear Movement after Fukushima. München : IUDICIUM, 2018. Vol. 61. 295 p.

30. *Wang X.* Knowledge communication in internet age and its impacts on public perception of nuclear risk // International Journal of Nuclear Knowledge Management. 2010. Vol. 4. P. 339–349.

31. Durability of vaccine-induced and natural immunity against COVID-19: a narrative review / N. Pooley, S. S. Abdool Karim, B. Combadière [et al.] // Infectious Diseases and Therapy. 2023. Vol. 12, № 2. P. 367–387.

32. *Lyons A. C.* Morality, responsibility and risk: The importance of alternative perspectives in vaccination research // International journal of behavioral medicine. 2014. Vol. 21. P. 37–41.

33. *Techne meets Metis: Knowledge and practices for tick control in Laikipia County, Kenya* / F. Mutavi, N. Aarts, A. Van Paassen [et al.] // NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences. 2018. Vol. 86. P. 136–145.

34. *Hendriks F., Kienhues D., Bromme R.* Trust in science and the science of trust // Trust and communication in a digitized world. Cham, 2016. P. 143–159.

35. *Якиевич А.В.* Фактор социального принятия ядерной энергетики и захоронения ядерных отходов в США, Франции и России // XIII Международная научно-практическая конференция «Система управления экологической безопасностью»: сб. материалов междунар. конф., Екатеринбург, 31 мая 2019 г. Екатеринбург, 2019. С. 297–302.

36. *Красиков В.И.* Онлайн-сообщества с риторикой политизированной вражды в социальных сетях // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 73. С. 91–107.

37. *Cieslik K.J., Leeuwis C., Dewulf A.R.P.J. et al.* Addressing socio-ecological development challenges in the digital age: Exploring the potential of Environmental Virtual Observatories for Connective Action (EVOCA) // NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences. 2018. Vol. 86. P. 2–11.

38. *Ostrom E.* A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems // Science. 2009. Vol. 325. P. 419–422.

39. Van Zomeren M., Postmes T., Spears R. Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives // *Psychological Bulletin*. 2008. Vol. 134, № 4. P. 504–535.

40. Bennett W.L., Segerberg A. The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics // *Information, communication & society*. 2012. Vol. 15, № 5. P. 739–768.

References

1. Revzina, O.G. (2005) Diskurs i diskursivnye formatsii [Discourse and discursive formations]. *Kritika i semiotika*. 8. pp. 66–78.

2. Baryshev, A.A. & Kashpur, V.V. (2022) Kartirovanie kontsepta entrepreneurship na osnove analiza lingvisticheskikh form vyrazheniya novykh znacheniy [Mapping the concept of entrepreneurship based on the analysis of linguistic forms of expressing new meanings]. In: Ilinykh, S.A. & Rovbel, S.V. (eds) *Sotsial'nye praktiki i upravlenie: problemnoe pole sotsiologii* [Social Practices and Management: Problem Field of Sociology]. Novosibirsk: Novosibirsk State University of Economics and Management. pp. 153–159.

3. Barysheva, G.A., Nedospasova, O.P., Frolova, E.A. et al. (2018) *Teoriya i praktika sotsial'nogo predprinimatel'stva* [Theory and Practice of Social Entrepreneurship]. Tomsk: STT.

4. Latour, B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory]. Translated from English by I. Polonskaya. Moscow: HSE.

5. Dey, P. & Steyaert, C. (2010) The politics of narrating social entrepreneurship. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*. 4(1). pp. 85–108.

6. Dey, P., Steyaert, C. & Hjorth, D. (2007) The rhetoric of social entrepreneurship: paralogy and new language games in academic discourse. In: Steyaert, C. & Hjorth, D. (eds) *Entrepreneurship as Social Change: A Third New Movements in Entrepreneurship Book*. Cheltenham. pp. 121–142.

7. Latour, B. (2013) *Nauka v deystvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnutri obshchestva* [Science in Action: Following Scientists and Engineers within Society]. Translated from English by K. Fedorova. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.

8. Orlikowski, W.J. & Scott, S.V. (2015) Exploring material-discursive practices. *Journal of Management Studies*. 52(5). pp. 697–705.

9. Foucault, M. (1971) *L'Ordre du discours. Lecon inaugurale au College de France prononcee le 2 decembre 1970*. Paris: Gallimard.

10. Baryshev, A. (2019) The regional spectra for the entrepreneurial motives and the dissemination of entrepreneurs' knowledge in the context of modern discursive formation of entrepreneurship. *Economic and Social Development*. Proc. of the 14th International Conference "Russian Regions in the Focus of Changes." pp. 154–161.

11. Dey, P. & Mason, C. (2018) Overcoming constraints of collective imagination: An inquiry into activist entrepreunering, disruptive truth-telling and the creation of 'possible worlds.' *Journal of Business Venturing*. 33(1). pp. 84–99.

12. Baryshev, A.A. (2021) Klassicheskiy i sovremennyy diskursy predprinimatel'stva i problema sotsial'no-rolevykh transformatsiy predprinimatel'skikh praktik [Classical and modern discourses of entrepreneurship and the problem of social-role transformations of entrepreneurial practices]. In: Platonov, A.M. (2021) *Rossiyskie regiony v fokuse peremen* [Russian Regions in the Focus of Change]. Vol. 2. Ekaterinburg: Ural Federal University. pp. 142–145.

13. Bamberg, M., De Fina, A. & Schiffrrin, D. (2011) Discourse and identity construction. In: Schwartz, S.J., Luyckx, K. & Vignoles, V.L. (eds) *Handbook of Identity Theory and Research*. New York: Springer. pp. 177–199.

14. Melnikova, O.T. & Kutkovaya, E.S. (2014) Diskursivnyy podkhod k issledovaniyu identichnosti [Discursive approach to the study of identity]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya*. 1. pp. 59–71.

15. Negrul, S.V., Kashpur, V.V. & Baryshev, A.A. (2018) The problem of constructing social entrepreneurship as a performative phenomenon: competition of meanings and values in the discourse of key stakeholders. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 429. pp. 91–99. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/429/11

16. Laclau, E. & Mouffe, C. (2001) *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. 2nd ed. London; New York: VERSO.

17. Mole, R. (2007) Discursive identities/identity discourses and political power. In: Mole, R. (ed.) *Discursive constructions of identity in European politics*. London: Palgrave Macmillan. pp. 1–21.

18. Smith, N. & Graham, T. (2019) Mapping the anti-vaccination movement on Facebook. *Information, Communication & Society*. 22(9). pp. 1310–1327.
19. Baryshev, A., Dunaeva, D. & Sarkisova, A. (2021) The vaccination debate on the social network Vkontakte: A case of initially polarized online discourse. *Sotsiologicheski problemi*. Spec. b. pp. 137–161.
20. Attwell, K. & Smith, D. (2017) Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities. *International Journal of Health Governance*. 22(3). pp. 183–198.
21. Dube, E., Vivion, M. & MacDonald, N.E. (2015) Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement: Influence, impact and implications. *Expert Review of Vaccines*. 14(1). pp. 99–117.
22. Kata, A. (2012) Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm – An overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement. *Vaccine*. 30(25). pp. 3778–3789.
23. Kata, A. (2010) A postmodern Pandora's box: anti-vaccination misinformation on the Internet. *Vaccine*. 28(7). pp. 1709–1716.
24. Gosálbez, P.N.M. (2021) *That ain't the question: To be vaxxer or anti-vaxxer at the brink of Catastrophe (short presentation)*. Minseln-Rheinfelden.
25. LeMonde, J. (2018) *No Jab, No Pay, No Play and No Way: An anthropological exploration of Australian vaccination policies and the 'anti-vaxer' perspective*. Thesis for: Bachelor of Arts Honours in Anthropology. Queensland.
26. Latour, B. (2006) *Novogo Vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoy antropologii* [There was No New Time. Essay on Symmetrical Anthropology]. Translated from French by D.Ya. Kalugin. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.
27. Middeldorp, T. (2017) *The Parliament: A New Public Space*. [Online] Available from: <https://theparliamentofthings.org/longread/parliament-new-public-space/> (Accessed: 28th October 2023).
28. Schiefelbein, A. (2016) *Power to the People: Organizational Changes in the United States of America anti-nuclear movement, 1945–2008: Research Paper*. [Online] Available from: https://www.acade-mia.edu/22077478/Power_to_the_People_Organizational_Changes_in_the_United_States_of_America_anti_nuclear_movement_1945_2008 (Accessed: 28th October 2023).
29. Wiemann, A. (2018) *Networks and Mobilization Processes: The Case of the Japanese Anti-Nuclear Movement after Fukushima*. Vol. 61. München: IUDICIUM.
30. Wang, X. (2010) Knowledge communication in internet age and its impacts on public perception of nuclear risk. *International Journal of Nuclear Knowledge Management*. 4. pp. 339–349.
31. Pooley, N., Abdool Karim, S.S., Combadière, B. et al. (2023) Durability of vaccine-induced and natural immunity against COVID-19: a narrative review. *Infectious Diseases and Therapy*. 12(2). pp. 367–387.
32. Lyons, A.C. (2014) Morality, responsibility and risk: The importance of alternative perspectives in vaccination research. *International Journal of Behavioral Medicine*. 21. pp. 37–41.
33. Mutavi, F., Aarts, N., Van Paassen, A. et al. (2018) Techne meets Metis: Knowledge and practices for tick control in Laikipia County, Kenya. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*. 86. pp. 136–145.
34. Hendriks, F., Kienhues, D. & Bromme, R. (2016) Trust in science and the science of trust. In: Blöbaum, B. (ed.) *Trust and Communication in a Digitized World*. Cham. pp. 143–159.
35. Yakshevich, A.V. (2019) Faktor sotsial'nogo prinyatiya yadernoy energetiki i zakhroneniya yadernykh otkhodov v SShA, Frantsii i Rossii [Factor of social acceptance of nuclear energy and nuclear waste disposal in the USA, France and Russia]. *Sistema upravleniya ekologicheskoy bezopasnost'yu* [Environmental Safety Management System]. Proc. of the 13th Conference. Ekaterinburg, May 31, 2019. Ekaterinburg. pp. 297–302.
36. Krasikov, V.I. (2023) Online communities with the rhetoric of politicized hostility on social media. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 73. pp. 91–107. (In Russian).
37. Cieslik, K.J., Leeuwis, C., Dewulf, A.R.P.J. et al. (2018) Addressing socio-ecological development challenges in the digital age: Exploring the potential of Environmental Virtual Observatories for Con-nective Action (EVOCA). *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*. 86. pp. 2–11.
38. Ostrom, E. (2009) A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*. 325. pp. 419–422.
39. Van Zomeren, M., Postmes, T. & Spears, R. (2008) Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. *Psychological Bulletin*. 134(4). pp. 504–535.

40. Bennett, W.L. & Segerberg, A. (2012) The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*. 15(5). pp. 739–768.

Сведения об авторе:

Барышев А.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры социологии Национального исследовательского Томского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных (Томск, Россия). E-mail: barishevnp@mail.ru

Кашпур В.В. – кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии Национального исследовательского Томского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных (Томск, Россия). E-mail: vitkashpur@mail.ru

Барышев Г.А. – руководитель проекта Проектного офиса по контрактной деятельности Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: GAlBaryshev@tvel.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Baryshev A.A. – Cand. Sci. (Economics), associate professor at the Department of Sociology of National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); senior researcher at the Research Laboratory for Applied Big Data Analysis, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: barishevnp@mail.ru

Kashpur V.V. – Cand. Sci. (Sociology), head of the Department of Sociology, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); senior researcher at the Research Laboratory for Applied Big Data Analysis, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vitkashpur@mail.ru

Baryshev G.A. – project manager of the Project Office for Contract Activities, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, R Russian Federation). E-mail: GAlBaryshev@tvel.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 29.11.2023;
одобрена после рецензирования 19.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 29.11.2023;
approved after reviewing 19.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья

УДК 373

doi: 10.17223/1998863X/78/12

ФАКТОРЫ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Андрей Петрович Глухов¹, Ирина Геннадьевна Соломина²

^{1,2} *Томский государственный педагогический университет,
Томск, Россия*

¹ *GlukhovAP@tspu.edu.ru*

² *solomina@tspu.edu.ru*

Аннотация. Представлены результаты исследования выявления роли социальных практик и агентов присвоения цифровой грамотности учащимися в процессе киберсоциализации. Результаты продемонстрировали вклад в формирование цифровой грамотности не только образовательных учреждений, но и неформальной цифровой образовательной среды, которая включает в себя различные коммуникативные и гейминговые практики, транслируемые ровесниками и старшими родственниками. Предложена экосистемная перспектива видения процессов киберсоциализации, открывающая направления для дальнейших исследований и коррекции цифровой подготовки.

Ключевые слова: цифровая грамотность, киберсоциализация, практики и агенты киберсоциализации

Благодарности: публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-20001, <https://rscf.ru/project/22-28-20001/>, и средств Администрации Томской области.

Для цитирования: Глухов А.П., Соломина И.Г. Факторы киберсоциализации и цифровая грамотность обучающихся // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 146–156. doi: 10.17223/1998863X/78/12

Original article

FACTORS OF CYBERSOCIALIZATION AND DIGITAL LITERACY OF STUDENTS

Andrey P. Glukhov¹, Irina G. Solomina²

^{1,2} *Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *GlukhovAP@tspu.edu.ru*

² *solomina@tspu.edu.ru*

Abstract. The development of digital literacy of all participants in the educational process is becoming an inevitable consequence of the digitalization of professional activities. Tomsk State Pedagogical University is implementing a project to identify the current level and profiles of students' digital literacy. The digital literacy model is structured on the basis of the DigitalCompSAT questionnaire, which presents profiles through five meta-competencies. The ecostructure of education includes various practices of cybersocialization

that affect the level of students' digital literacy. Important agents of cybersocialization are subject teachers, computer science teachers, class teachers, teachers of ICT disciplines, heads of profile/course projects, specialists and teachers of institutions of additional education. Classmates, leaders of virtual communities, bloggers, gamers, and stimulators also act as agents of cybersocialization. Intra-family communication also plays an important role, especially at higher levels of education. The main objective of this article is to identify the role and weight of social practices and agents in the process of cybersocialization, as well as to determine their impact on the level of development of specific meta-competences of students' digital literacy. To reach this objective, a statistical interpretation of the data of sociological surveys of senior schoolchildren and students of the secondary vocational education system was used. Respondents were found to rate highly their meta-competencies related to digital content creation, digital problem solving, and cybersecurity. Based on the surveys, the following conclusions were drawn. Informal digital educational environment, including social media and peer information exchange, has a significant impact on the development of digital skills. Parents and close relatives play a key role in information literacy education, digital content creation, and digital device skills. School education forms "academic" digital literacy, which includes skills in working with programs and databases. Peers, friends, and teachers also influence the development of competencies, especially in the area of digital content creation. The results of the study emphasize the importance of informal cybersocialization practices in the formation of students' digital literacy. It is important to take into account all factors and institutions for the effective design of digital skills programs.

Keywords: digital literacy, cybersocialization, practices and agents of cybersocialization

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-20001, <https://rscf.ru/project/22-28-20001/>, and funds from the Administration of the Tomsk Region.

For citation: Glukhov, A.P. & Solomina, I.G. (2024) Factors of cybersocialization and digital literacy of students. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 146–156. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/12

Введение

Быстро меняющаяся структура цифровой экономики предъявляет к системе образования новые требования в области цифровой трансформации. Дальнейший прогресс системы образования требует усилий, направленных на развитие цифровой грамотности всех участников образовательного процесса, а сама система нуждается в объективной оценке цифровых навыков обучающихся. Наличие базовой цифровой грамотности обучающихся и организация выстроенной системы контроля и управления ею в сфере образования становятся неизбежным следствием цифровизации всех сфер профессиональной деятельности.

Исследовательский коллектив Томского государственного педагогического университета реализует проект, направленный на выявление текущего уровня и профилей цифровой грамотности учащихся в региональной системе образования Томской области, а также ключевых факторов, влияющих на эффективность развития данных компетенций.

Создание региональной модели цифровой грамотности и операционализация ее измеримых показателей позволят внедрить в образование систему контроля цифровой грамотности на уровне региона. Ключевой для данной статьи концепт цифровой грамотности и подходы к его измерению претерпели за последние 20 лет значительную эволюцию.

Обзор литературы

По мнению создателя термина «цифровая грамотность» П. Гилстера, появление компьютеров и Интернета приводит к возникновению новых форм поведения, методов поиска информации и особенностей коммуникации [1. Р. 1].

Первоначально, на ранних этапах развития Интернета, исследователи связывали цифровую грамотность с другими комплементарными терминами, такими как медиаграмотность, компьютерная грамотность, и интерпретировали ее на основе навыков, связанных с функциональным использованием технологий [2. Р. 21438]. В более поздних исследованиях все больше акцентируется когнитивный аспект цифровой грамотности, которая определяется как «функциональный доступ, навыки и практики, необходимые для использования различных технологий в личной, академической и профессиональной сферах» [3. Р. 1]. Исследователи Г. Спайс и М. Бартлет выделяют три категории интеллектуальных процессов, связанных с цифровой грамотностью: поиск и использование цифрового контента, создание цифрового контента и передача цифрового контента [4].

П. Сторди предлагает рамки понимания грамотности, включающие шесть перспектив. Он определяет грамотность как способность человека или социальной группы взаимодействовать с цифровыми технологиями для создания и понимания смысла, общения, обучения и работы [5. Р. 472].

Е. Тан настаивает на понимании цифровой грамотности в мультимодальной перспективе в «новом текстовом ландшафте» социальных сетей [6. Р. 466].

В России в 2009–2010 гг. Фондом Развития Интернет, факультетом психологии МГУ под руководством Г.В. Солдатовой проводились исследования, где основное внимание было уделено изучению восприятия Интернета детьми и взрослыми, проблемам безопасности детей и подростков в Интернете, роли родителей в обеспечении безопасности и компетентности педагогов в использовании современных информационно-коммуникационных технологий [7]. А. Шариков, один из авторов и разработчиков проекта мониторинга цифровых компетенций, представляет четырехкомпонентную модель цифровой грамотности в рамках расчета Индекса цифровой грамотности граждан [8. С. 87–98].

В 2020 г. АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» разработал план внедрения системы оценки уровней компетенций цифровой экономики, аналогичной системе ГТО для всех возрастных групп. Разработчики отмечали отсутствие единой и согласованной системы оценки ИКТ-компетенций в цифровой экономике, а также нехватку мотивации для вовлечения людей в процесс овладения компетенциями и оценки их уровня.

Предложенная нами в проекте методологическая интерпретация концепта цифровой грамотности отличается экосистемным видением. Экосистемная рамка рассмотрения образовательной системы как институционально разомкнутого взаимодействия становится все более распространенной [9]. В последние десятилетия образовательная система испытывает значительные социокультурные изменения, что приводит к ее расширению, усложнению и выходу (размыканию) за рамки традиционных образовательных организаций. Образование взаимодействует с внешними участниками и выходит за преде-

лы установленных институциональных рамок, вследствие чего экосистемный подход к развитию образовательной системы становится все более значимым. Данный подход основан на комплексности, разнообразии и адаптивности образовательного пространства. Внедрение экосистемных моделей в образование направлено на интеграцию и коммуникацию внутренних элементов системы, а также вовлечение внешних сил, создание устойчивых потоков материальных, энергетических и информационных ресурсов. Экосистемный подход показывает, что образовательные результаты зависят от социокультурного контекста, а образовательные процессы влияют на весь жизненный опыт. Важно объединение образовательных и социально-культурных практик для связи развития человека, обучения и образования на протяжении всей жизни.

Намечаемые контуры экосистемной интерпретации цифровой грамотности в полиинституциональной перспективе позволяют разработать модель формирования цифровой грамотности обучающихся как результата включенности в комплекс киберсоциальных практик под воздействием различных институтов и акторов. Цифровая грамотность в данной перспективе рассматривается не как статичный набор навыков и знаний, а как динамическая образовательная практика, которая зависит от включенности в социальные контексты обучения, коммуникации, развлечений и потребления, образующие цифровую образовательную экосистему.

Задачи и методология

Целью данной статьи стало выявление роли и удельного веса социальных практик и агентов присвоения компетенций цифровой грамотности обучающимися в процессе киберсоциализации (что являлось одной из ключевых задач исследовательского проекта). Решение данной задачи позволит в дальнейшем перенастроить практики киберсоциализации для преодоления цифровых разрывов и асимметрии профилей в области цифровых компетенций.

В основу модели цифровой грамотности обучающихся был положен концепт опросника цифровой грамотности DigitalCompSAT [10]. Модель опросника DigCompSAT репрезентирует профили цифровой грамотности через пять ключевых метакомпетенций (информационная грамотность, коммуникации и взаимодействие, создание цифрового контента, безопасность, решение проблем).

В рамках экосистемной модели формирования цифровой грамотности на основании наблюдения и качественных исследований [11. С. 22–24] был выделен комплекс киберсоциализирующих практик и пул агентов присвоения цифровой грамотности обучающимися:

1. Учебные практики в школе, где агентами киберсоциализации являются учителя-предметники, учителя информатики и классные руководители, в системе СПО данную роль выполняют преподаватели ИКТ-дисциплин, руководители профильных/курсовых проектов и выпускных работ.

2. Практики дополнительного образования, реализуемые в рамках дополнительных кружков и секций в школе, центров робототехники, анимационных студий, кванториумов, IT-кубов и др., где агентами киберсоциализации выступают специалисты и преподаватели учреждений ДО, центров

цифровой подготовки детей и подростков, репетиторы, а также порой предприниматели в области инфобизнеса.

3. Практики общения в социальных сетях и мессенджерах, блогинга, стриминга, гейминга, где агентами киберсоциализации выступают ровесники, одноклассники/однокурсники, а также лидеры виртуальных сообществ, е-инфлюенсеры – блогеры, геймеры.

4. Практики внутрисемейной коммуникации, где агентами киберсоциализации выступают на ранних стадиях старшие члены семьи. В средней и старшей школе формируется ситуация реверсивного обучения (взаимообмен навыками и цифровыми лайфхаками), нередко цифрового кураторства со стороны детей над родителями.

На основании выявленных типов киберсоциальных практик и агентов киберсоциализации была выдвинута гипотеза о наличии неравномерного влияния данных практик и агентов на уровень развития конкретных метакомпетенций цифровой грамотности, образующих ее комплексный профиль.

Задача выявления ключевых факторов киберсоциализации, влияющих на индивидуальный профиль и уровень цифровой грамотности, решалась на основе статистической интерпретации данных социологических опросов старших школьников и учащихся системы СПО. С данной целью было проведен стандартизированный социологический опрос 330 респондентов – учащихся старших классов школы (9–11-е классы) и 446 респондентов – учащихся СПО в г. Томске и Томской области. Выборка носила целевой характер по степени доступности респондентов, опрос проводился в онлайн-формате. В структуре опроса присутствовали вопросы относительно самооценки уровня цифровой грамотности по отдельным метакомпетенциям и оценки конкретных факторов влияния на процесс киберсоциализации подростков.

Интерпретация данных и обсуждение

Структура и содержание вопросов в двух опросниках учащихся системы ОО и СПО, за исключением некоторых вопросов, затрагивающих специфику обучения и профессионально-жизненной ситуации, намеренно совпадали, чтобы открыть возможности для компаративистского анализа данных.

В выявлении уровня и профилей цифровой грамотности мы опирались на самооценку респондентов: в ходе опроса им было предложено оценить уровень своей цифровой грамотности по пяти типам метакомпетенций. Наиболее высоко респонденты оценили метакомпетенцию, связанную с продуцированием цифрового контента – ее приписали себе 20,6% респондентов, как школьников, так и учащихся системы СПО; на втором месте – решение проблем с помощью цифровых средств (выбор 20,34% респондентов-школьников и 20,45% учащихся техникумов/колледжей); метакомпетенция обеспечения кибербезопасности замыкает тройку лидеров (20,01% респондентов-школьников и 19,47% учащихся техникумов/колледжей).

Данные ответов продемонстрировали небольшой разброс в распределении выбора метакомпетенций, свидетельствующий о сбалансированности их тренинга с точки зрения оценки самими респондентами, а также значительную структурную схожесть оценки уровня своих метакомпетенций школьниками и учащимися техникумов/колледжей. Среди различий следует отметить, что учащиеся техникумов/колледжей ставят на третье место по степени раз-

витости информационную грамотность (20,01% респондентов), а также несколько выше школьников оценивают свои способности решения проблем с помощью цифровых устройств и, соответственно, ниже – навыки кибербезопасности (табл. 1).

Таблица 1. Доля выборов метакомпетенций цифровой грамотности респондентами-школьниками и респондентами – учащимися техникумов/колледжей

Вариант ответа	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Умею пользоваться открытыми цифровыми базами данных, эффективно подбирать ключевые слова для поиска информации, применять облачные сервисы хранения информации (информационная грамотность)	303	19,69	408	20,01
Умею представить свой образ в социальных сетях, пользоваться сервисами видео-конференц-связи (коммуникации и взаимодействие)	298	19,36	397	19,47
Умею пользоваться текстовыми и графическими редакторами, составлять презентации (создание цифрового контента)	317	20,6	420	20,6
Умею создавать надежные пароли, использовать антивирусные программы, настройки приватности в соцсетях (кибербезопасность)	308	20,01	397	19,47
Умею делать покупки через Интернет (AliExpress, Wildberries и др.) и(или) заказывать онлайн-доставку, пользоваться Google maps, «Яндекс Картами», «Дубль ГИС», устанавливать точки геолокации (решение проблем)	313	20,34	417	20,45

С целью выявления удельного веса отдельных типов киберсоциальных практик и агентов киберсоциализации респондентам был задан вопрос о влиянии данных практик и агентов на уровень развития конкретных метакомпетенций.

Как показали ответы респондентов, на первом месте для респондентов-школьников по влиянию на развитие компетенций, связанных с *информационной грамотностью*, находятся, помимо самообучения, родители, близкие родственники (26,65%), а для респондентов-учащихся техникумов/колледжей – ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники (30,9%). Для учащихся техникумов/колледжей вклад учителей в школе, преподавателей СПО в формирование данной компетенции по значимости находится на втором месте (26,22%), а школьники, при значительном акценте на факторе самообучения (32,08%), влияние школы относят только на 4-е место (12,74%).

Ключевое влияние на развитие компетенций в области *коммуникаций и взаимодействия* в Интернете, по мнению респондентов, на них оказали, прежде всего, помимо самообучения, ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники (выбор 26,83% респондентов-школьников и 41,07% респондентов – учащихся СПО), на втором месте по значимости находятся родители, близкие родственники (выбор 12,74% респондентов-школьников и 18,42% респондентов – учащихся СПО). При этом школьники в формировании данной компетенции отдают приоритет самообразованию (50,68%) и минимизируют вклад школы (2,44%).

На навыки пользования текстовыми и графическими редакторами, составления презентации, связанные с метакомпетенцией продуцирования цифрового контента, согласно данным опросов, в наибольшей степени, помимо самообучения для школьников, оказали влияние учителя в школе, преподаватели СПО (21,57% респондентов-школьников и 36,59% учащихся техникумов/колледжей); на втором месте по значимости в плане влияния для учащихся системы СПО находятся ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники (22,47%), а для респондентов-школьников – родители, близкие родственники (19,33%).

На умение создавать надежные пароли (*метакомпетенция кибербезопасности*) на респондентов-школьников, помимо завышенной роли самообучения (54,57%), оказали влияние почти в равной степени родители, близкие родственники (16,86%) и ровесники, друзья, одноклассники (16,57%); влияние школы и дополнительных занятий оказалось крайне незначительным – 4,86 и 2,29% соответственно. Для респондентов – учащихся СПО на первом месте оказалось влияние ровесников, друзей, одноклассников, однокурсников (31,2%); с некоторым отрывом далее идет влияние родителей и близких родственников (22%), также значительна доля учащихся техникумов/колледжей, отметивших влияние школы и СПО на формирование данной компетенции (15,6%).

Навыки осуществления покупок через Интернет (AliExpress, Wildberries) и(или) заказа онлайн-доставки, аффилированные с *метакомпетенцией решения проблем* с помощью цифровых средств, для респондентов-школьников, помимо самообучения, в наибольшей степени связаны с влиянием родителей, близких родственников (24,4%), а для респондентов – учащихся техникумов/колледжей – ровесников, друзей, одноклассников, однокурсников (36,79%). Влияние учителей в школе, преподавателей СПО как относительно значимый фактор для формирования данной компетенции выделяют 10% учащихся системы СПО и только 2,9% учащихся школ.

В целом результаты опросов демонстрируют ведущую роль в формировании большинства компетенций цифровой грамотности, с одной стороны, ровесников, друзей, одноклассников, однокурсников, с другой – родителей, близких родственников; причем в глазах респондентов – учащихся СПО большее влияние оказывают первые, а в глазах респондентов-школьников – вторые.

Роль формальной системы образования в формировании цифровых компетенций (за исключением метакомпетенции создания цифрового контента) незначительна с точки зрения учащихся системы СПО и крайне низка с точки зрения учащихся системы общего образования. Влияние школьных учителей и преподавателей СПО проявляется сколько-нибудь значительно в тренинге таких компетенций, как владение на начальном уровне и выше языками программирования (отмечают 32,35% респондентов-школьников и 33,06% респондентов – учащихся СПО), умение пользоваться текстовыми и графическими редакторами, составлять презентации (21,57% респондентов-школьников и 36,59% респондентов – учащихся СПО), а также умение пользоваться открытыми цифровыми базами данных (12,74% респондентов-школьников и 26,22% респондентов – учащихся СПО). Дополнительные занятия в школе и вне школы существенным образом повлияли только на навыки владения языками программирования на начальном уровне – выбор 11,59% респондентов-школьников (табл. 2).

Таблица 2. Доля выборов влияния различных агентов киберсоциализации на информационную грамотность респондентами-школьниками и респондентами – учащимися техникумов/колледжей

Компетенция (информационная грамотность): умение пользоваться открытыми цифровыми базами данных (в том числе библиотечными базами, торрентами, правовыми информационными базами)	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Учителя в школе, преподаватели СПО	54	12,74	151	26,22
Ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники	83	19,58	178	30,9
Родители, близкие родственники (в том числе братья, сестры)	113	26,65	106	18,4
Доп. занятия в школе, СПО и вне их	17	4,01	22	3,82
Самостоятельно	136	32,08	86	14,93
Не умею	21	4,95	33	5,73
Компетенция (коммуникации и взаимодействие): умение адекватно представить свой образ в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, блогинг) и(или) вести трансляции (ведение стримов в YouTube, Twitch и др.)	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Учителя в школе, преподаватели СПО	9	2,44	58	10,68
Ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники	99	26,83	223	41,07
Родители, близкие родственники (в том числе братья, сестры)	47	12,74	100	18,42
Доп. занятия в школе, СПО и вне их	8	2,17	31	5,71
Самостоятельно	187	50,68	110	20,26
Не умею	19	5,15	21	3,87
Компетенция (создание цифрового контента): умение пользоваться текстовыми и графическими редакторами и составлять презентации	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Учителя в школе, преподаватели СПО	96	21,57	210	36,59
Ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники	65	14,61	129	22,47
Родители, близкие родственники (в том числе братья, сестры)	86	19,33	91	15,85
Доп. занятия в школе, СПО и вне их	24	5,39	33	5,75
Самостоятельно	169	37,98	94	16,38
Не умею	5	1,12	17	2,96
Компетенция (кибербезопасность): умение создавать надежные пароли	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Учителя в школе, преподаватели СПО	17	4,86	78	15,6
Ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники	58	16,57	156	31,2
Родители, близкие родственники (в том числе братья, сестры)	59	16,86	110	22
Доп. занятия в школе, СПО и вне их	8	2,29	20	4
Самостоятельно	191	54,57	109	21,8
Не умею	17	4,86	27	5,4
Компетенция (решение проблем): умение делать покупки через Интернет (AliExpress, Wildberries) и(или) заказывать онлайн-доставку	Школьники		Учащиеся техникумов/колледжей	
	Количество ответов	Доля, %	Количество ответов	Доля, %
Учителя в школе, преподаватели СПО	11	2,9	53	10
Ровесники, друзья, одноклассники, однокурсники	74	19,63	195	36,79
Родители, близкие родственники (в том числе братья, сестры)	92	24,4	136	25,66
Доп. занятия в школе, СПО и вне их	7	1,86	22	4,15
Самостоятельно	185	49,07	109	20,57
Не умею	8	2,12	15	2,83

На основании проведенного в рамках проекта опросного полевого исследования можно сделать следующие предварительные общие выводы относительно влияния на формирование цифровой грамотности различных практик и агентов киберсоциализации:

1) тренировка цифровых навыков учащихся происходит не только и не столько в образовательных учреждениях, сколько в рамках неформальной цифровой образовательной среды. Данная неформальная экосистема цифрового образования включает в себя использование коммуникативных и гейминговых практик в социальных сетях, онлайн-платформах, блогах, а также, в первую очередь, обмен информацией с помощью сверстников, друзей, одноклассников/однокурсников. Особенно значимы подобные практики и группы влияния для учащихся техникумов/колледжей и, в меньшей степени, для школьников;

2) родители и близкие родственники (в том числе братья, сестры) оказывают наиболее значимое влияние на формирование таких компонентов цифровой грамотности школьников, как информационная грамотность, создание цифрового контента, решение проблем с помощью цифровых устройств, дублируя в какой-то степени функции формальной системы образования. Более того, обучение цифровым навыкам в семейной среде носит реверсивный характер: сами учащиеся часто осуществляют практики «цифрового кураторства» по отношению к родителям и старшим: 28,36% учащихся-школьников и 45,9% учащихся техникумов/колледжей отметили, что родители часто просят дать консультацию или оказать помощь при проблемах в использовании Интернета (создать аккаунт, перевести деньги онлайн, совершить онлайн-покупку, найти локацию на онлайн-картах и др.);

3) в школе, учреждениях СПО и ДО формируется «академическая» цифровая грамотность, которая прививает навыки создания цифрового контента (умение пользоваться текстовыми и графическими редакторами, составлять презентации, начальное владение языками программирования) и отчасти информационной грамотности (умение пользоваться открытыми цифровыми базами данных, облачными сервисами, осуществлять поиск по запросу). В целом влияние формальных институтов образования на формирование цифровой грамотности носит периферийный и запаздывающий характер: из ключевых навыков, полученных на уроках информатики, школьники значимо выделяют только работу с Excel (27,79% респондентов), владение основами программирования (23,76%) и умение создавать презентации (17,99%). Метакомпетенции коммуникации и кибербезопасности в экосистеме киберсоциализации школьников образуют своеобразное «слепое пятно», роль формальной системы в их формировании крайне мала, но и неформальные акторы (сверстники, друзья и родственники) оказывают недостаточное влияние, поэтому школьники указывают в опросе вариант самообучения.

Заключение

Важно отметить, что школьное образование несет частичную солидарную ответственность за достижение цифровой грамотности, так как цифровые разрывы могут быть результатом слабой включенности в различные социальные практики как внутри, так и вне школы, включая виртуальное общение, семейные взаимодействия и лайфхакинг, а также взаимодействие со

сверстниками и лидерами мнений в социальных медиа. Результаты проведенного исследования подтвердили значимый вклад неформальных практик и агентов киберсоциализации в формирование отдельных меткомпетенций (профиля) цифровой грамотности обучающихся.

Предлагаемый исследовательский подход, основанный на экосистемном видении процесса киберсоциализации, интегрирует и объединяет различные факторы и институты, влияющие на формирование навыков цифровой грамотности среди учащихся в единую картину. Подобная комплексная реконструкция процессов киберсоциализации обучающихся и присвоения компетенций цифровой грамотности позволяет оценить реальную роль неформальных семейных и ровеснических комьюнити-практик, а также интернет-активизма самих обучающихся, обладающих мощным латентным образовательным эффектом.

Список источников

1. Gilster P. Digital literacy. New York : John Wiley, 1997. 276 p.
2. Gourlay L., Hamilton M., Lea M.R. Textual practices in the new media digital landscape: Messing with digital literacies // *Research in Learning Technology*. 2013. № 21.
3. Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Principles and Practices of Design / eds. H. Beetham, R. Sharpe. New York : Routledge, 2020. 316 p.
4. Spires H., Bartlett M. Digital literacies and learning: Designing a path forward (Friday Institute White Paper Series, No. 5). Raleigh, NC : North Carolina State University, 2012.
5. Stordy P.H. Taxonomy of literacies // *Journal of Documentation*. 2015. № 71 (3). P. 456–476.
6. Tan E. Informal learning on YouTube: Exploring digital literacy in independent online learning // *Learning Media and Technology*. 2013. № 38 (4). P. 463–477.
7. Солдатова Г.В., Зотова Е.Ю., Чекалина А.И., Гостимская О.С. Пойманные одной сетью: социально-психологическое исследование представлений детей и взрослых об интернете / под ред. Г.В. Солдатовой. М., 2011. 176 с.
8. Шариков А. О четырехкомпонентной модели цифровой грамотности // *Журнал исследований социальной политики*. 2016. Т. 14, № 1. С. 87–98.
9. Королева Д.О., Науширванов Т.О. Экосистема развития инноваций российского образования: инфраструктурные характеристики. М. : НИУ ВШЭ, 2020. 32 с.
10. Оценка цифровой готовности населения России: докл. к XXII апрельской междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Н.Е. Дмитриева (рук. авт. кол.), А.Б. Жулин, Р.Е. Артамонов, Э.А. Титов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 86 с.
11. Концепция цифровой грамотности в системе общего и среднего профессионального образования: уровни, структура, возрастная динамика (сборник материалов исследования) [Электронный ресурс] / науч. ред. А.П. Глухов. Томск : Изд-во ТГПУ, 2023. 82 с.

References

1. Gilster, P. (1997) *Digital Literacy*. New York: John Wiley.
2. Gourlay, L., Hamilton, M. & Lea, M.R. (2013) Textual practices in the new media digital landscape: Messing with digital literacies. *Research in Learning Technology*. 21. DOI: 10.3402/rlt.v21.21438
3. Beetham, H. & Sharpe, R. (eds) (2020) *Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Principles and Practices of Design*. New York: Routledge.
4. Spires, H. & Bartlett, M. (2012) *Digital literacies and learning: Designing a path forward* (Friday Institute White Paper Series, No. 5). Raleigh, NC: North Carolina State University.
5. Stordy, P.H. (2015) Taxonomy of literacies. *Journal of Documentation*. 71(3). pp. 456–476.
6. Tan, E. (2013) Informal learning on YouTube: Exploring digital literacy in independent online learning. *Learning Media and Technology*. 38(4). pp. 463–477.
7. Soldatova, G.V., Zotova, E.Yu., Chekalina, A.I. & Gostimskaya, O.S. (2011) *Poymannye odnoy set'yu: sotsial'no-psikhologicheskoe issledovanie predstavleniy detey i vzroslykh ob internete*

[Caught in the Same Net: A Socio-Psychological Study of Children's and Adults' Perceptions of the Internet]. Moscow: [s.n.].

8. Sharikov, A. (2016) O chetyrekhkomponentnoy modeli tsifrovoy gramotnosti [On the four-component model of digital literacy]. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – Journal of Social Policy Research*. 14(1). pp. 87–98.

9. Koroleva, D.O. & Naushirvanov, T.O. (2020) *Ekosistema razvitiya innovatsiy rossiyskogo obrazovaniya: infrastrukturnye kharakteristiki* [Ecosystem for the development of innovations in Russian education: Infrastructural characteristics]. Moscow: HSE.

10. Dmitrieva, N.E., Zhulin, A.B., Artamonov, R.E. & Titov, E.A. (2021) *Otsenka tsifrovoy gotovnosti naseleniya Rossii* [Assessing the Digital Readiness of the Russian Population]. Report for the 22nd Conference on Problems of Development of the Economy and Society. Moscow, April 13–30, 2021. Moscow: HSE.

11. Glukhov, A.P. (ed.) (2023) *Kontseptsiya tsifrovoy gramotnosti v sisteme obshchego i srednego professional'nogo obrazovaniya: urovni, struktura, vozrastnaya dinamika* [The concept of digital literacy in the system of general and secondary vocational education: levels, structure, age dynamics]. Tomsk: TSPU.

Сведения об авторе:

Глухов А.П. – кандидат философских наук, заведующий лабораторией киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

Соломина И.Г. – научный сотрудник лаборатории киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: solomina@tspu.edu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Glukhov A.P. – Cand. Sci. (Philosophy), head of the Laboratory of Cyber Socialization and Formation of the Digital Educational Environment, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

Solomina I.G. – research fellow, Laboratory of Cyber Socialization and Formation of the Digital Educational Environment, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: solomina@tspu.edu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.08.2023;
одобрена после рецензирования 19.03.2024; принята к публикации 15.04.2024*

*The article was submitted 15.08.2023;
approved after reviewing 19.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья

УДК 316.6

doi: 10.17223/1998863X/78/13

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» И «СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА» В ОЦЕНКАХ ЖЕНЩИН РОССИИ

Вера Анатольевна Гневашева

*Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия;
Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан,
Казань, Республика Татарстан, Россия, ORCID: 0000-0002-3596-661X,
gnevasheva.idiran@bk.ru*

Аннотация. Изучены специфические феномены «социального счастья» и «социально-одиночества» в гендерном разрезе. При этом представленные два понятия предопределены как социально-экономические антонимы. Теоретико-методологической базой определяется значимость данного феномена для современного общества. Результаты исследования направлены на поиск путей снижения рисков формирования у женщин деструктивных социально-психологических конструктов восприятия себя и мира через призму социального одиночества, а также способствуют разработке рекомендаций развития устойчивых семейных конструктов традиционного типа.

Ключевые слова: социальное одиночество, семья, женщины, репродуктивное и брачное поведение, социальное счастье

Благодарности: публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-01980 «Социальное одиночество: моделирование новых семейных конструктов».

Для цитирования: Гневашева В.А. Особенности определения феномена «социального счастья» и «социального одиночества» в оценках женщин России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 157–167. doi: 10.17223/1998863X/78/13

Original article

FEMALE HAPPINESS OR FEMALE LONELINESS: ASPECTS OF THE DEFINITION

Vera A. Gnevasheva

*Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation;
Center for Family and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,
Kazan, Russian Federation, ORCID: 0000-0002-3596-661X, gnevasheva.idiran@bk.ru*

Abstract. The study analyzes the problem of social loneliness. The theoretical and methodological base determines the significance of this phenomenon for modern society. In this regard, the issue of gender segregation in determining the factors of increasing social loneliness is extremely acute, since to a greater extent the marital and much less reproductive behavior of women can be associated precisely with the process of avoiding social loneliness as a social phenomenon, which requires clarification. Questions of studying social loneliness are also raised in the context of the need to preserve traditional family constructs. Modern

social forms of avoiding social loneliness often form prerequisites for the distortion of family tradition and transform family and social forms of interaction. The article presents assessments of the phenomenon of social loneliness in the minds of women on the basis of a study. Social loneliness is considered in the context of women's marital and reproductive behavior. Concepts "social loneliness" and "happiness" are compared within the considered subsample, differentiated by gender. The definitions of the concepts "female happiness" and "index of happiness" are given, a scale of assessments of the happiness index in the interval between two antagonistic terms is given, and the index is calculated for the considered subsample. The results are based on the author's empirical all-Russian study (N = 1075) using methods of econometric analysis of panel data. The results of the study are aimed at finding ways to reduce the risks of the formation of destructive socio-psychological constructs in women's perception of themselves and the world through the prism of social loneliness, and also contribute to the elaboration of recommendations for the development of sustainable family constructs of the traditional type.

Keywords: social loneliness, family, women, reproductive and marital behavior, female happiness, happiness index

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-01980.

For citation: Gnevasheva, V.A. (2024) Female happiness or female loneliness: aspects of the definition. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 157–167. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/13

Введение

Современное самоощущение женщин в обществе нередко сопряжено с ощущением социального одиночества, что приводит к деструктивным формам построения социальных связей, межличностных коммуникаций, трансформациям семейных моделей.

Семья как малая социальная группа играет, несомненно, определяющую роль в развитии личности и далее во многом предопределяет семейное и репродуктивное поведение женщин.

Социальная роль женщин крайне часто рассматривается в контексте семьи и материнства. Подобное социальное поле априори формирует инструменты минимизации рисков социального одиночества женщин, в некотором смысле предопределяет антагоничное их ощущение – ощущение счастья.

Многие социологические исследования, описывая качество включенности женщин в конструкторы семьи, апеллируют к феномену счастья.

Так, формируя модельный индекс счастья, женщины определяют значимыми его факторами: семью, материнство, материальное благополучие, здоровье, самореализацию. При этом каждый из включенных факторов составляет менее 20% уровня значимости в комплексной оценке.

По оценкам ВЦИОМ [1], большинство российских женщин (88%) репродуктивного возраста (18–45 лет) хотели бы иметь детей, четверть из которых в своем репродуктивном поведении ориентируются на двух детей (39%), однако треть опрошенных хотели бы быть многодетными и иметь трех (28%) и более (9%) детей. Однако практически половина из опрошенных (48%), несмотря на имеющиеся планы, не собираются обзаводиться детьми в ближайшее время. Как правило, причинами этому женщины определяют недостаточное материальное обеспечение, жизненную нестабильность, проблемы со здоровьем.

Рассматривая полученные данные, а также руководствуясь устойчивым социальным конструктом значимости семейного положения и детности для формирования устойчивой социальной позиции женщин, социальной самореализации, развития у них чувства социальной включенности и снижения деструктивных поведенческих ориентаций, определим гипотезу исследования.

В исследовании будет рассмотрена взаимосвязь между социальными конструктами семейности и детности женщин и их самоощущением в контексте социального одиночества. Исследованием предполагается, что факторы семейности и детности являются мотивирующими в отношении снижения социального одиночества среди женщин (H_1).

Для подтверждения или опровержения гипотезы будут рассмотрены результаты авторского общероссийского исследования изучения вопросов социального одиночества, проведенного весной 2022 г. ($n = 2\,500$, в гендерном распределении выборочная совокупность женщин составила 43% – 1 075 человек). Выборка определялась как сплошная, случайная, на последнем этапе гнездовая, так как в рамках данной статьи взята только одна гендерная группа – женщины.

Теоретические предпосылки

Изучение феномена социального одиночества определяется рядом подходов: *экзистенциальная психология* (И. Ялом), где считается, что одиночество присуще природе человека. Ялом [2] подчеркивает, что реальности одинокого существования предшествует некоторая пограничная жизненная ситуация, как: смерть, жизненные потрясения и трагедии, переживаемые индивидом в одиночку); *экзистенциальная философия* (Ж.-П. Сартр, Н.А. Бердяев, М. Хайдеггер) [3–5], где в основе положен принцип конфликтности в отношении объективного мира, при этом экзистенциалисты определяют причины одиночества в условиях бытия индивида; *психоаналитический подход* (в части неопределенности парадигмы) (Л. Зилбург, Х. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман) [6–8], где предпосылки одиночества определяются некоторыми событиями и переживаниями детства, в рамках данной концепции Зилбург [6] различает понятия «одиночество» и «уединение», считая второе нормальным состоянием, а первое – непреодолимым, причины которого видит в самой личности; *гуманистическая социология*, определяющая значимость влияния внешней среды на человека (К. Роджерс, Л. Хелл, Д. Зиглер и др.) [5, 9, 10]; *социально-психологический подход*, где причиной одиночества рассматривается само общество через ослабление социальных связей с малой социальной группой и переориентацию в своем поведении на общественные оценки, при этом социальная включенность индивида в общество определяется как «одинокая толпа» (А. Боумен, Д. Рисмен) [10, 11]; *когнитивный подход*, где рассматривается несоответствие личностного и социального опыта индивида (В. Дерлега, С. Марголиус, Д. Перлман, Л. Пепло) [12–14]; в ряде теорий одиночество рассматривается как элемент более общей социальной проблемы [13], или, наоборот, более мелкие факторы определяются как мотиваторы к социальному одиночеству (Э. Фромм описывает в этом контексте общество потребления и сам процесс потребления как причину социальной автономии) [5]; проблемы социальной автономии на уровне семьи провоцируют и дальнейшее развитие социальной автономии у ее членов, как определяет К. Хор-

ни [10]; интересна и более комплексная интегративная модель (У. Садлера [15], Т. Джонсона [16]), которая в основе социальной автономии рассматривает внутренний мир индивида и его реакцию на внешнее взаимодействие [12]. Проблемы одиночества сводятся к определению особенностей межличностных отношений и в первую очередь в семье, как малой группе, в этой связи особенно стоит отметить гендерный аспект, факторы мотивации и сглаживания деструктивных форм социального одиночества в соответствии с репродуктивным и брачным поведением мужчин и женщин.

Необходимо также определиться в понимании субъективного благополучия. Р.М. Шамионов [17] субъективное благополучие определяет как отношение человека к своей личности, жизни и процессам. Все это характеризует ощущения удовлетворенности. Близкими по смысловой нагрузке понятиями психологического благополучия являются понятия «оптимизм», «счастье», «удовлетворенности жизнью». В большинстве исследований субъективное благополучие рассматривается в качестве синонима счастья.

Как считает Ю.П. Поваренков [18], профессиональная идентичность в высшей мере выражается в профессиональном счастье. В этой связи определяя ситуацию женского благополучия, собственным ощущением реализованности, можно использовать термин «социальное счастье», другой вопрос – что выступает теми факторами, которые определяют степень «хорошей жизни» женщин, их социальную и личную реализованность, их социальное и личное благополучие.

Изменение сущности такого социального явления как социальное одиночество ведет и к трансформации сетевых взаимодействий субъектов, в том числе и в рамках малой социальной группы, к трансформации понимания семьи как социальной группы. В представленном исследовании проводится сравнительный анализ формирования социальных конструкторов в гендерном аспекте (выборочная совокупность – женщины). Уточняется степень воздействия вероятностных мотивационных факторов (семья, дети) как возможных для снижения социального одиночества женщин.

Материал и методы

Цель исследования: определить степень значимости семейного и репродуктивного поведения женщин как вероятных факторов снижения их социального одиночества.

Основные методы, используемые в оценке эмпирических данных с последующим их анализом:

- эконометрические методы социологического анализа;
- метод детерминации, который позволяет выявить свойства рассматриваемых переменных, полученных в рамках эмпирического исследования;
- факторный анализ дополняет метод детерминации в части более детального анализа значимых переменных;
- методы регрессионного моделирования, в том числе построение парных и множественных линейных регрессий нормального и логнормального распределения на основе панельных данных с оценкой описательной статистики; построение нейронных сетей по основным факторам модельного индекса счастья;

- метод главных компонент как технология многомерного статистического анализа, которая позволяет сократить размерность выборки в части определения значимых переменных с минимальной потерей информации, группируя данные в рамках кластерного подхода, определяя проверяемые переменные в значимые группы с описанием степени и характера их взаимосвязи.

Результаты исследования

Общие социально-экономические характеристики подвыборки

В результате проведенного авторского эмпирического общероссийского исследования (весна 2022 г., $n = 2\,500$; выборка сплошная, случайная, на последнем этапе – гнездовая (выборочная совокупность – женщины)) можно сделать ряд выводов относительно влияния репродуктивного и брачного поведения женщин на вероятность трансформации их самоощущения в контексте социального одиночества.

Общий социально-экономический портрет женщин, принявших участие в опросе, можно представить следующими основными характеристиками.

В опросе приняли участие преимущественно женщины в возрасте 26–35 лет (37%), имеющие высшее образование (55%). Свой уровень материального обеспечения респонденты оценивают как «средний» (56%), второй по численности является группа с доходом «ниже среднего» (26,8%), тех, кто определяет свой доход как «выше среднего», или тех, кто отметил, что вполне удовлетворен своим материальным положением, в целом по выборке менее 10%.

Учитывая общее распределение по уровню материального положения, важно подчеркнуть, что данный фактор является крайне важным в целом для формирования предпосылок устойчивого брачного и репродуктивного поведения.

Чуть менее половины респондентов отметили, что их ближайший круг общения – это «я, мой муж и дети» (41,4%), также значимой по численности является группа «я и мои дети» (21,9%), в меньшей степени представлена в выборке группа «я и муж» (12,2%).

При этом цель вступления в брак респонденты видят, в первую очередь, в «создании семьи» (68%), далее – чтобы «не быть одиноким» (14,6%) и чуть меньше в том, чтобы «завести детей» (9,7%).

Феномен одиночества в конструкте социального пространства женщин

В соответствии с ответами на вопрос «Чувствуете ли Вы себя одиноким?», а также общими социально-экономическими характеристиками, можно определить некоторые группы взаимообусловленных позиций.

Те, кто отметил, что никогда не чувствует себя одиноким (выбрал позицию «нет, никогда»), а таких по выборке 29,2%, – это женщины в возрасте 26–35 лет, проживающие с мужем и детьми и определяющие в качестве цели вступления в брак создание семьи.

А вот групп социального риска по критерию «социальное одиночество» в представленной выборке две:

– это те, кто определяет целью вступления в брак «завести детей», и

– те, кто определяет целью вступления в брак «создание семьи», но по каким-то причинам на момент опроса проживает лишь с детьми (без мужа).

Представители обеих данных групп на вопрос о самоощущении себя одинокими на момент опроса выбрали позицию «часто», но в целом по выборке – это 7,3% респондентов.

Тем не менее подобные социальные маркеры позволяют говорить о том, что социальный диссонанс в отношении ожидаемого и реального является одной из причин социальной деструкции женщин, а именно усиления самоощущения социального одиночества.

В то же время причины одиночества женщины видят далеко не в области социального диссонанса в отношении брачного или репродуктивного поведения. Каждая третья (36,5%) отметила, что «причина в самом человеке», еще 26,8% респондентов сказали, что причина одиночества в том, что «нет любимого дела». В этой связи подчеркивается, с одной стороны, важность социальной идентификации женщин в социальном поле, с другой – социальная включенность, но по критерию общественной значимости, а не семейной или репродуктивной роли женщины.

Критерии «хорошей жизни» женщины видят в здоровье (70,7%), наличии семьи (56%), материальном обеспечении (53,6%), наличии детей (26,8%). Расположенные в порядке уменьшения значимости в ответах респондентов обозначенные позиции все же определяют на передний план важность для женщин материальной стороны их жизни, наличия семьи и их здоровья, и в меньшей степени – наличие детей.

Практически каждая вторая смотрит в будущее позитивно – «с надеждой и оптимизмом» (48,7%).

Определяя предпосылки сформированного социального восприятия и самоидентификации женщин, важно также обратить внимание на их родительские семьи. Примерно половина респондентов отметили, что у них нормальные отношения с родителями (48,8%).

Вспоминая себя в детстве, респонденты отмечают, что преимущественно свое свободное время они проводили с «друзьями», «с братом (сестрой)», «с родителями», «с бабушкой (дедушкой)».

При этом, вспоминая, когда респонденты не ощущали себя одинокими в большей степени, они в основном вспоминают свое детство и выбирают позицию «с родителями» (31,7%), а уже потом позиции «в своей семье с мужем и(или) детьми» (29,2%) и «среди друзей» (26,8%).

Определяя критерии успеха своей сегодняшней жизни и отмечая, что, по их мнению, им уже удалось сделать, респонденты выбрали в порядке снижения значимости следующие позиции:

- у меня есть семья (53,6%);
- у меня есть люди, которые меня понимают (51,2%);
- у меня доверительные отношения с детьми (41,4%);
- я здоров (38,5%);
- у меня хорошие отношения с родителями (39%);
- у меня много друзей (14,6%).

А вот среди того, чего не хватает респондентам, прозвучали следующие позиции:

- материального благополучия (51,2%);

- здоровья (31,7%);
- верного друга (14,6%);
- жилья (14%);
- детей (7,3%).

Определяя себя в настоящий момент, в момент проведения опроса, ставился вопрос выбора варианта, который бы с большей точностью охарактеризовал респондента на момент проведения опроса.

Среди выбранных позиций наиболее популярны:

- мне нужна поддержка детей (51,2%);
- считаю себя самодостаточной (26,8%).

При этом распределение оценок степени одиночества по пятибалльной шкале оценок (где 5 баллов – ощущение максимального одиночества и 1 балл – отсутствие ощущения одиночества) в представлении респондентов следующее: 1 балл – 34,1%; 2 балла – 19,5%; 3 балла – 29,2%; 4 балла – 2,4%; 5 баллов – 7,3%.

Таким образом, преимущественно распределение ответов в диапазоне 1–3 балла, со значимой популярностью позиции 1 и далее 3 балла.

Респонденты отметили, что иногда обращаются за помощью к другим (53,6%), еще 26,8% сказали, что скорее не обращаются.

Определяя одиночество, респонденты отмечают, что это «грустно», что это состояние, когда «нет опоры», состояние пустоты, отсутствие близких людей, когда никого нет рядом, когда о тебе редко вспоминают, когда нет «плеча»... Однако, определяя понятие счастья, респонденты пишут, что это состояние самодостаточности, состояние здоровья, когда ты находишься с семьей и когда все хорошо.

В целом по исследованию можно сделать общий вывод об отсутствии прямой корреляции в ответах респондентов их состояния социальной причастности, внутренней социальной реализованности с семейной и репродуктивной реализацией.

В ответах не прослеживается значимый акцент на выраженности в понимании социальной позиции женщины как жены и матери. Кроме того, особенно важно подчеркнуть общую обеспокоенность респондентов собственным материальным положением, которое играет, по мнению респондентов, значимую роль при формировании семьи и рождении детей, также важным маркером озабоченности женщин выступает здоровье как самих респондентов, так и их близких.

В соответствии с общей системой мотивации такое распределение ответов может говорить о низкой и недостаточной удовлетворенности базовых потребностей женщин, как-то: материальное благополучие, жизненная стабильность, здоровье, что не позволяет женщинам рационально перейти в своем самоощущении на иной уровень мотивационной пирамиды и определить в качестве доминантного фактора мотивации своей дальнейшей жизни именно социальный компонент, который в рамках представленной тематики выражен факторами семейности, брачности и детности.

Отмеченные повышенные ожидания женщин в отношении своих детей и их острое желание иметь поддержку своих детей подчеркивают наличие проблемы межпоколенческого непонимания и(или) боязнь его наступления, при том, что в отношении собственных родителей респонденты отмечают сохра-

нение нормальных отношений, что также препятствует восприятию женщинами факторов семейности, брачности и детности как доминантных мотивационных факторов своей текущей жизни. Базовая мотивационная неготовность к исполнению социальной роли жены и матери и угроза мотивационного диссонанса со стороны мужа, особенно детей, еще более демотивируют женщин в отношении формирования в собственной системе жизненной мотивации социальных позиций жены и матери как значимых на данном жизненном этапе.

Следуя полученным результатам исследования, можно определить значимую роль маркеров материального благополучия и здоровья в отношении формирования репродуктивного поведения, в соответствии с теорией оптимальности по Парето, трендовые характеристики репродуктивного поведения женщин предопределены на 80% компонентами материальной обеспеченности и здоровья, при этом материальное обеспечение также включает социальный компонент самореализации женщин, но в рамках трудового сообщества, коллектива, коллег, друзей. Еще 10% – компонент внутреннего неприятия социальной роли жены и матери как устойчивая жизненная позиция, оставшиеся 10% – социальная и внутренняя готовность к принятию и исполнению роли жены и матери, однако обусловленная преимущественно внутренним стремлением и внутренней мотивацией женщин, отчасти вопреки внешне сформированным социальным предпосылкам.

Индекс счастья: социальное одиночество и социальное счастье

Рассматривая социальное одиночество в контексте брачного и репродуктивного поведения женщин, можно отметить значимые выявленные факторы, позволяющие искать пути снижения подобной общественной и личной девиации. В целом факторная система минимизации поведенческой девиации социального одиночества женщин выражена их реализованностью, как личностной, так и общественной, посредством включения в три основные социально-ценностные поля: профессиональное (общественное), брачное (семейное), репродуктивное (наличие детей). Причем значимость и последовательность включенности в самооценках распределяются от профессиональной через брачную к репродуктивной. В этой связи социальное одиночество женщинами детерминируется как недостаточная реализованность или отсутствие вовсе собственной реализованности в одном (или нескольких) социально-ценностных полях из представленных. В противоположность данному определению – понятие счастья, как состояние удовлетворенности, применительно к категориям исследования – есть состояния полной реализованности в системе представленных социально-ценностных полях. Все категории являются социально-ценностными и в этой связи субъективными в оценках.

По результатам исследования термин «социальное счастье» в гендерном аспекте уместно трактовать как реализованность женщин в системе взаимосвязанных социально-ценностных полях: профессиональном, брачном, репродуктивном.

В этой связи дополнительно для попыток оценки степени выраженности категории счастья или в противовес социального одиночества предлагается

использовать индекс счастья, который определяется как степень реализованности в социально-ценностных полях: профессиональном, брачном и репродуктивном в самооценках женщин. Шкала оценки индекса счастья представляется трехшаговой шкалой измерения, где «0» означает абсолютное социальное одиночество, а «3» – абсолютное социальное счастье в самооценках женщин. Каждый балл соответствует степени реализованности женщин в соответствующем социально-ценностном поле по их самооценкам по 100-процентной шкале.

Применительно к результатам представленного исследования общий индекс счастья для подвыборки определяется на уровне 1,44. Это в большей степени определяется в самооценках недостаточной реализованностью в отношении репродуктивного поведения (степень реализации составляет 0,34), семейно-брачного поведения (степень реализации в самооценках по исследованию – 0,54), а также профессионального поведения (степень реализации в самооценках по исследованию – 0,56). Однако высокая степень напряженности в отношении важности реализации сохраняется преимущественно в отношении профессионального компонента и гораздо в меньшей степени значима для брачного и репродуктивного компонентов рассматриваемой социально-ценностной системы.

При этом индекс следует рассматривать в динамике, а не как абсолютный показатель, определяя трендовые временные изменения либо сопоставления между дополнительно выделяемыми возрастными, социальными и региональными группами. При выявлении четкой дифференциации между рассматриваемыми социально-ценностными полями важно вводить социально принятые веса, позволяющие уточнять меру включенности женщин в то или иное социально-ценностное поле, в том числе для обеспечения сопоставимости оценок, например, во временном тренде или в априори различных культурно или религиозно обществах, где традиционно передаваемые ценности социальных ролей женщины имеют заданную (социально устойчивую) степень значимости.

Заключение

На основе проведенного исследования были выявлены факторы минимизации социального одиночества как феномена в самооценках женщин. Было дано более развернутое обоснование понятия социального одиночества применительно к рассматриваемой подвыборке, а также предприняты попытки определения степени выраженности данного явления посредством шкалирования меры его проявления в оценках женщин. Дополнительно было определено понятие «социальное счастье» в гендерном аспекте, уточняющееся вводимым индексом счастья, и предложен механизм его оценки.

Подобные результаты могут служить инструментом оценки степени выраженности поведенческой девиации социального одиночества в контексте брачного и репродуктивного поведения женщин с целью формирования социальных механизмов усиления их мотивации в этих направлениях, разработки программ демографического характера как на уровне регионов, так и в целом для общества, формирования стратегий развития института семьи, усиления традиционных семейных конструкторов.

Список источников

1. ВЦИОМ: Новости. Женское счастье. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhenskoe-schaste-rossiiskaja-versija> (дата обращения: 24.06.2022).
2. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. М., 2014. 574 с.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. М. : Эксмо, 2021. 544 с.
4. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / пер. с фр. М. Грецкого. М. : Изд-во иностр. лит., 1953. 42 с.
5. Покровский Н.Е. Лабиринты одиночества : пер. с англ. М. : Прогресс, 1989. 624 с.
6. Zilboorg G. Loneliness. *Atlantic Monthly*, 1938. 139 p.
7. Sullivan H.S. The interpersonal theory of psychiatry. Psychology Press, 2001. 416 p.
8. Fromm-Reichmann F. Loneliness. *Psychiatry*. 1959.
9. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической. М. : Психотерапия, 2006. 507 с.
10. Корчагина С.Г. Психология одиночества : учеб. пособие. М. : Моск. психолого-социальный ин-т, 2008. 228 с.
11. Risman D., Denney R., Glazer N. The lonely crowd. New Haven : Yale University Press, 1950. 188 p.
12. Смирнова А.О. Социальное одиночество: сущность, типы, причины, методы преодоления // Вестник РГГУ. 2010. № 3 (46). С. 161–175.
13. Перлман Д. Теоретические подходы к одиночеству. М. : Прогресс, 1989. С. 152–168.
14. Пепло Л., Мицели М., Мораши Б. Одиночество и самооценка // Лабиринты одиночества / сост., общ. ред. и предисл. Н.Е. Покровского. М. : Прогресс, 1989. 623 с.
15. Sadler W.A. Existence and love: new approach in existential phenomenology. New York : Charles Scribner's Sons, 1969. 427 p.
16. Johnson S.C. Hierarchical clustering schemes. *Psychometrika*. 1967. № 32. P. 241–254.
17. Шамионов Р.М. Субъектное благополучие личности. Саратов, 2008. 296 с.
18. Поваренков Ю.П. Системогенетическая концепция профессионального становления человека. М. : Ин-т психологии РАН, 2005. С. 360–384.

References

1. VTsIOM. (n.d.) *VTsIOM: Novosti. Zhenskoe schast'e* [WCIOM: News. Woman's Happiness]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhenskoe-schaste-rossiiskaja-versija>. (Accessed: June 24, 2022).
2. Yalom, I.D. (2014) *Ekzistentsial'naya psikhoterapiya* [Existential Psychotherapy]. Moscow: MNTsPiP.
3. Berdyaev, N.A. (2021) *Samopoznanie* [Self-Knowledge]. Moscow: Eksmo.
4. Sartre, J.-P. (1953) *Ekzistentsializm – eto gumanizm* [Existentialism is Humanism]. Translated from French. Moscow: Izd-vo inostr. lit.
5. Pokrovskiy, N.E. (1989) *Labirinty odinochestva* [Labyrinths of Loneliness]. Translated from English. Moscow: Progress.
6. Zilboorg, G. (1938) Loneliness. *Atlantic Monthly*.
7. Sullivan, H.S. (2001) *The Interpersonal Theory of Psychiatry*. Psychology Press.
8. Fromm-Reichmann, F. (1959) Loneliness. *Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes*. 22(1). pp. 1–15. doi: 10.1080/00332747.1959.11023153
9. Rogers, K. (2006) *Konsul'tirovanie i psikhoterapiya: noveyshie podkhody v oblasti prakticheskoy* [Counseling and Psychotherapy: The Latest Approaches in the Field of Practice]. Moscow: Psikhoterapiya.
10. Korchagina, S.G. (2008) *Psikhologiya odinochestva* [Psychology of Loneliness]. Moscow: Psychological and Social Institute.
11. Risman, D., Denney, R. & Glazer, N. (1950) *The Lonely Crowd*. New Haven: Yale University Press.
12. Smirnova, A.O. (2010) Social loneliness: essence, types, reasons, methods of overcoming. *Vestnik RGGU*. 3(46). pp. 161–175. (In Russian).
13. Perlman, D. (1989) *Teoreticheskie podkhody k odinochestvu* [Theoretical Approaches to Loneliness]. Moscow: Progress.
14. Peplo, L., Mitseli, M. & Morash, B. (1989) Oдиночество i samootsenka [Loneliness and self-esteem]. In: Pokrovsky, N.E. (ed.) *Labirinty odinochestva* [Labyrinths of Loneliness]. Translated from English. Moscow: Progress.

15. Sadler, W.A. (1969). *Existence and Love: New Approach in Existential Phenomenology*. New York: Charles Scribner's Sons.
16. Johnson, S.S. (1967) Hierarchical slustering schemes. *Psychometrika*. 32. pp. 241–254.
17. Shamionov, R.M. (2008) *Sub'ektnoe blagopoluchie lichnosti* [Subjective Well-Being of the Individual]. Saratov: [s.n.].
18. Povarenkov, Yu.P. (2005) *Sistemogeneticheskaya kontseptsiya professional'nogo stanovleniya cheloveka* [System Genetic Concept of Professional Development of a Person]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.

Сведения об авторе:

Гневашева В.А. – доктор экономических наук, руководитель отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия); главный научный сотрудник Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан (Казань, Республика Татарстан, Россия). ORCID: 0000-0002-3596-661X, Researcher ID: E-3157-2014 E-mail: gnevasheva.idiran@bk.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gnevasheva V.A. – Dr. Sci. (Economics), head of the Department of Reproduction of Labor Resources and Employment of the Population, Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); chief researcher at the Center for Family and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-3596-661X, ResearcherID: E-3157-2014 E-mail: gnevasheva.idiran@bk.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.02.2024;
одобрена после рецензирования 19.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.02.2024;
approved after reviewing 19.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья

УДК 316.4.06

doi: 10.17223/1998863X/78/14

МОЛОДЕЖНЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ЛОКАЛЬНОСТИ В СРЕДЕ МЕГАПОЛИСА: УСЛОВИЯ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ

Яна Викторовна Дидковская¹, Ольга Валерьевна Нотман²,
Дмитрий Валерьевич Трынов³, Дмитрий Александрович Лугин⁴

^{1, 2, 3, 4} Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия

¹ I.V.Didkovskaia@urfu.ru

² o.v.notman@urfu.ru

³ DV.Trynov@urfu.ru

⁴ dmitry.lugin@urfu.ru

Аннотация. Представлены результаты исследования молодежных креативных локальностей в среде российских мегаполисов на примере двух сегментов – бизнеса и городского созидательного активизма. Эмпирическая база исследования – глубинные интервью с субъектами «производства» креативного «продукта». Выявлены условия и барьеры развития молодежных креативных локальностей на микро-, мезо- и макро-уровнях.

Ключевые слова: креативные локальности, социальное пространство, социальное взаимодействие, мегаполис, молодежь

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-00603, <https://rscf.ru/project/23-28-00603/>

Для цитирования: Дидковская Я.В., Нотман О.В., Трынов Д.В., Лугин Д.А. Молодежные креативные локальности в среде мегаполиса: условия и барьеры развития // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 168–178. doi: 10.17223/1998863X/78/14

Original article

YOUTH CREATIVE LOCALITIES IN A METROPOLITAN ENVIRONMENT: CONDITIONS AND BARRIERS TO DEVELOPMENT

Yana V. Didkovskaya¹, Olga V. Notman², Dmitry V. Trynov³,
Dmitry A. Lugin⁴

^{1, 2, 3, 4} Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

¹ I.V.Didkovskaia@urfu.ru

² o.v.notman@urfu.ru

³ DV.Trynov@urfu.ru

⁴ dmitry.lugin@urfu.ru

Abstract. Creative localities are a poorly studied phenomenon from both theoretical and empirical perspectives. The authors, relying on Joas's concept of situational creativity, define creative localities as new self-organizing forms of social space, which are characterized by a certain localization and specific social interaction, which provokes

creative processes that transform urban life. The article presents the results of a study of youth creative localities among Russian megacities using the example of two segments – business (young startup people promoting their innovative ideas/projects; young specialists and heads of departments in innovative “advanced” companies) and urban creative activism (young organizers and volunteers of city events, street art festivals; young authors of creative “products” of city festivals and events; members of city communities engaged in micro-practices of transforming the urban environment). The empirical basis of the research is in-depth interviews with the agents of “making” a creative “product”. Based on the analysis of interview data, the following conclusions are drawn. The main condition for the implementation of creative projects is the social micro-environment of direct interaction and support – a team, partners, like-minded people, a community. At the meso- and macro-environment level, the necessary conditions for urban activists are financial support from the state, local administrations, federal and regional businesses, grant funds, while maintaining freedom of expression and minimizing pressure from the authorities; for business representatives, this means information support from the state, financial support from private investors, and the presence of a politically neutral educational platform for the exchange of experience. Barriers hindering the development of creative localities are most significantly manifested at the meso- and macro-levels: for urban activists, these are misunderstandings, negative attitudes from residents and local media, the ongoing supervisory policy of the state, and restrictions on grassroots creative initiatives that accompany this policy; for business representatives, this is general socio-economic and political instability, closed access to global technologies, overall systemic corruption.

Keywords: creative localities, social space, social interaction, metropolis, youth

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-28-00603, <https://rscf.ru/project/23-28-00603/>

For citation: Didkovskaya, Ya.V., Notman, O.V., Trynov, D.V. & Lugin D.A. (2024) Youth creative localities in a metropolitan environment: conditions and barriers to development. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 168–178. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/

Введение

Новые глобальные тенденции переформатирования социально-территориального пространства, отмечаемые в ряде социологических работ [1–3], меняют характер и значение социальных локальностей как социально-пространственных форм организации коллективной жизни. Вследствие процессов трансформации и фрагментации урбанизированных территорий, с одной стороны [4, 5], и определенной трансформации социального и гражданского активизма – с другой [6–8], самоорганизуются и конструируются небольшие по своему масштабу, но обладающие существенным преобразовательным потенциалом сообщества, имеющие определенную локацию, связанную с местом приложения сил, развертывания жизнедеятельности.

Среди таких новых форм практически не изучены в мировой научной литературе креативные локальности. Их появление обусловлено объективной тенденцией роста востребованности креативного потенциала социальных агентов, а также установками современного поколения молодежи на творческую самореализацию в различных сферах активности, запросом молодого поколения на преобразование окружающей социальной и пространственной среды согласно своим потребностям [9, 10]. Цель нашего исследования креативных локальностей заключалась в определении условий и барьеров их развития на основе рефлексивных оценок непосредственных субъектов «производства» креативного «продукта» в среде мегаполиса.

Теоретический контекст

Для поиска теоретического бэкграунда своего исследования мы обратились к анализу проблематики креативности и ее «вплетенности» в социальную ткань общества. Проведенный анализ показал, что сложившиеся в рамках социологической науки подходы к интерпретации креативности и ее роли в социальных процессах сводятся к двум основным теоретическим течениям: концепции ситуационной креативности (Х. Йоас, М. Эмирбайер, Э. Мише) и концепции креативного общества (Р. Флорида, Ч. Ландри).

Х. Йоас с позиций неопрагматизма акцентировал внимание на изменчивости и ситуативности социальных процессов в современном обществе и в силу этого креативном характере человеческого действия [11]. Согласно его концепции, действие разворачивается в случайной, требующей от индивида нетривиального решения, ситуации. Отдельное творческое действие влияет на макроуровень, т.е. на социальные структуры, в которых действуют индивиды: креативные действия индивидов интенциональны – направлены на решение проблем, они хабиитуализуются в практике и ведут к изменению образов действия [12].

Р. Флорида ввел понятие «креативный класс», тем самым также связал свойство креативности с социальной структурированностью современного общества, но с несколько противоположных теоретических позиций [13]. Флорида и сторонники концепции креативного общества постулируют повышение роли креативных групп, слоев и классов в инновационной экономике [13, 14], сходных позиций придерживается автор теории креативного города Ч. Ландри [15].

Развивая критику идей Флориды с позиций теории Йоаса, отметим, что креативность, имеющая своим источником спонтанные и зачастую бессознательные побуждения, сама по себе не может относиться к свойствам социальной структуры или ее элементам, а является атрибутом индивидуального действия, реализующегося в не типичной, не вписанной в структуры ситуации и, соответственно, должна анализироваться на микроуровне социальной реальности. В связи с этим мы сочли более перспективным возможность связать креативность и ее роль в обществе не со структурированностью общества на слои и классы, а с социальным взаимодействием, которое локализуется в социально-территориальном пространстве, и в ходе которого формируются различного рода сообщества (реальные и виртуальные). Тем самым локальности (например, мегаполисы, городские районы, микрорайоны) начинают выступать в роли социальных условий, в которых может протекать социальное взаимодействие креативных акторов.

Таким образом, под креативными локальностями мы понимаем такие новые самоорганизующиеся формы социального пространства, для которых характерны, во-первых, определенная локализация, во-вторых, специфическое социальное взаимодействие, которое провоцирует креативные процессы, преобразующие городскую жизнь.

Данные и методы

Объектом исследования выступила молодежь, проживающая в российских мегаполисах и городах мегаполисного типа (Москва, Екатеринбург,

Тюмень, Самара) и имеющая опыт участия в реализации креативных проектов. Эмпирическая информация была собрана методом глубинного интервью с молодыми субъектами «производства» креативного «продукта» в возрасте от 20 до 40 лет ($n = 17$, май–июль 2023 г.). Для отбора информантов мы использовали целевую выборку, охватывающую две сферы приложения креативности:

1. Бизнес:

- молодые стартаперы, реализующие свой бизнес либо продвигающие инновационные идеи/проекты в компаниях;
- молодые специалисты и руководители подразделений в инновационных «продвинутых» компаниях.

2. Городской созидательный активизм:

- молодые специалисты и руководители НКО, занимающиеся организацией городских мероприятий и событий;
- молодые волонтеры городских мероприятий и фестивалей уличного искусства;
- молодые создатели креативного «продукта» городских фестивалей и мероприятий (художники, дизайнеры);
- молодые участники городских сообществ, занимающиеся микропрактиками преобразования городской среды на уровне района, улицы, дома, двора.

Используя метод тематического анализа транскриптов интервью, на первом этапе мы использовали процедуры сплошного, выборочного и осевого кодирования; на втором – идентифицировали ключевые секвенции; на третьем – формулировали исследовательские категории в соответствии с «паутиной» выявленных кодов.

Результаты¹ и обсуждение

Анализируя условия и барьеры для развития креативных локальностей, мы обнаружили некоторые различия в их восприятии у двух групп информантов, а также выявили противоречивость оценок ряда факторов, интерпретируемых, с одной стороны, как условия, но с другой – одновременно выступающих и барьерами. В целом условия, которые были отмечены информантами, можно разделить на три группы – микро-, мезо- и макросредовые. К первым относятся те, что обеспечивают внутренний ресурс для производства креативных идей – это «команда, партнеры, единомышленники, сообщество близких по духу людей, комьюнити». Ко вторым и третьим – условия, связанные с поддержкой государства, местных администраций, грантовых фондов, федерального и локального бизнеса, частных инвесторов (рис. 1).

Значимость команды как условия для реализации креативных проектов подчеркивается как представителями бизнеса, так и представителями городского активизма:

«Команда, единомышленники, которые будут с тобой двигаться и экспертиза от этих людей в теме твоего продукта очень важна, без этого бизнес-модель не выстроить...».

¹ В соответствии с этикой конфиденциальности полученных данных приводимые в тексте анализа цитаты информантов полностью анонимизированы.

«У меня общественная организация, и в одиночку работать не приходится. Если есть какая-то идея, я говорю: все, делаем вместе. И это работа команды. Это постоянный поиск людей, у которых есть желание что-то менять. И эту движуху надо постоянно чем-то подпитывать».

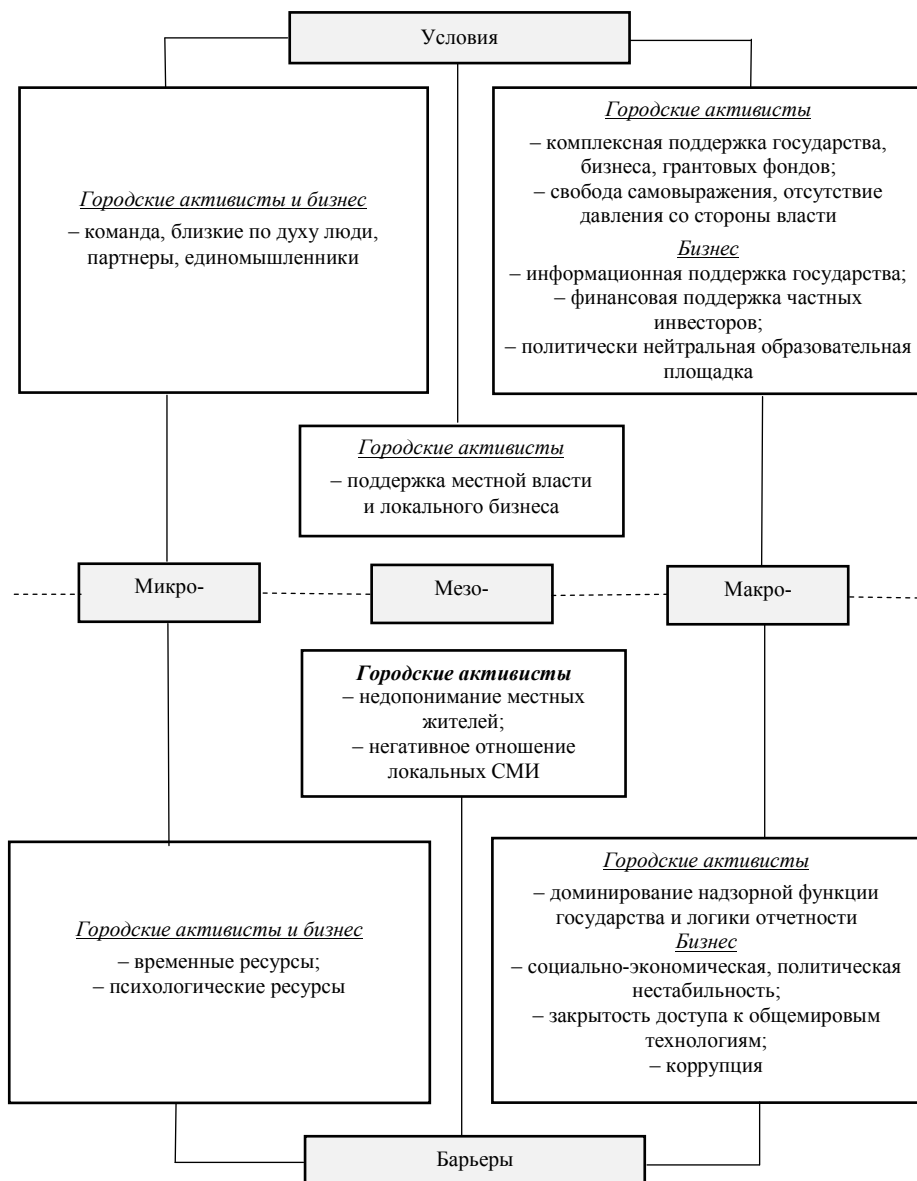


Рис. 1. Условия и барьеры для развития креативных локальностей

Относительно условий мезо- и макросреды (государства, местных администраций, грантовых фондов, частных инвесторов) информанты давали широкий спектр оценок в зависимости от принадлежности к определенной сфере приложения креативной деятельности: для одних такая помощь (информационная, финансовая) является жизненно необходимой, для других – желатель-

ной, для третьих – вызывающей некоторые опасения и, как следствие, противоречивое отношение. Те, кто имел опыт взаимодействия с грантовыми фондами и положительный исход при взаимодействии с властью и частными инвесторами при реализации какого-либо проекта, в целом не склонны высказывать опасений и категоричного отрицания такого взаимодействия в будущем. Наш вывод подтверждается исследованием Е.И. Добролюбовой, В.Н. Южакова, А.Н. Покиды, согласно которому наличие позитивного опыта взаимодействия респондентов с органами государственной власти повышает уровень доверия к ним [16].

Необходимость комплексной поддержки – как со стороны государства, муниципалитетов, грантовых фондов, так и со стороны бизнеса – прослеживается преимущественно в нарративах информантов из сферы городского созидательного активизма: *«Для нас это фундаментально важно, потому что без ресурсов мы фестиваль не сделаем. Фестиваль пока не научился получать гранты. Но это в силу опыта, грамотности написаний заявок... Но мы в этом направлении движемся. С самого начала Стенография сотрудничает с администрацией города. Мы получаем значительную организационную поддержку. С финансовой точки зрения у нас тоже есть поддержка от муниципалитета. И бизнес разный вовлекается – федеральный, локальный. Этих денег, конечно, не хватает, чтобы провести фестиваль в тех масштабах, в которых он есть. Но это тоже вклад, который мы очень ценим. Но хотелось бы, конечно, получать большую поддержку».*

Положительный опыт взаимодействия с властью и бизнесом в сфере реализации креативных городских проектов рождает желание долгосрочного сотрудничества: *«Хорошие, если честно, отношения с органами власти и бизнесом. Мы очень много работаем с властью, и с городом, и с областью. Наладили личные отношения. Второе, бизнес. Как правило нас больше поддерживали федералы, и последние три года идет локализация, это застройщики, какой-то малый бизнес, который делает лимонады, кофейни... Кто-то только заходит в город, и ему важно присутствие в городе с позиции современного бизнеса, который поддерживает искусство... С бизнесом, как правило, это проектная история на год. Честно, долгосрочный договор – это замечательная вещь, нужная».*

Рассказывая о своем опыте реализации креативных проектов в городской среде, представители городского активизма подчеркивали важность взаимодействия низовых инициатив с поддержкой власти при отсутствии давления с ее стороны: *«Когда идет разнярядка сверху, это не всегда заканчивается качественным опытом. Сильнее проекты, когда есть инициатива снизу и поддержка этой инициативы со стороны властей. Когда чиновники, люди не искусства, диктуют, какое искусство должно быть, это сразу обречено на абсолютный провал. Ко мне обращались из разных городов и говорили, вот, нам сказали: “надо открывать креативный кластер, но кластер наполнять нечем! Потом открыли, отчитались”. Но здесь нужно не в логике отчетности существовать, а именно поддерживать инициативы снизу, создавать условия, чтобы эта инициативность могла прорасти».*

Важно отметить, что наряду с ожиданием определенной свободы как условия для развития креатива в городском пространстве, городские активисты готовы сегодня идти на компромиссы с властью и иными стейкхолдера-

ми, брать на себя ответственность за снижение социальных последствий городских конфликтов: *«Так как мы работаем в общественном пространстве, конфликты неизбежны. Но в конфликтных ситуациях мы идем на компромиссы, чтобы люди, для которых эта ситуация была болезненной, они стали скорее нашими сторонниками, чем нашими врагами».*

Нарративы наших информантов по поводу взаимодействия с властью в целом коррелируют с результатами общероссийских исследований, свидетельствующих о том, что городской активизм становится все более рационализированным, неполитическим, не претендующем на невозможные в сложившейся институциональной матрице преференции и результаты [7]: *«Власти аккуратничают с активизмом несмотря на то, что им надо выстраивать диалог с обществом и не надо конфликтов. У них есть задача, чтобы не было протестов. И нам приходится искать компромиссное решение, чтобы не заявлять себя в политической повестке, чтобы поперек горла не стать костью».*

Примером противоречивого отношения к взаимодействию с государством, в рамках которого, с одной стороны, признается важность финансовой помощи государства, но с другой – демонстрируется нежелание ею воспользоваться по причине неясности ответных обязательств, а также предпочтение финансовой помощи от частных инвесторов может быть следующая рефлексия информанта из бизнес-сферы: *«Стартапы, с которыми я работал, не стремились ввязываться в эту историю с госами, потому что там может быть обратная сторона медали. Вот какие-нибудь льготы для малого предпринимательства получил, а потом какая-нибудь проверка или какое-нибудь одно слово не так написал и все. Да и зачем... Сейчас идти за какой-то поддержкой государства нет смысла. Если у тебя нормальная бизнес-модель, то возможно проще привлечь деньги какими-то способами от частных инвесторов, чем связываться с госухой. Нет, конечно, помощь государства, она нужна. Но лучшая поддержка, если не ограничивать доступ к зарубежным деньгам, каналам инвестиций, к маркетинговым инструментам зарубежным, главное – не мешать».*

Признание важности информационной поддержки от государства при личном нежелании использовать государственные субсидии, а также необходимости политически нейтральной образовательной площадки как условия для развития инновационных проектов демонстрирует следующее высказывание информанта из сферы бизнеса: *«Допустим есть инновационная идея, чтобы начать бизнес. Я думаю, что я бы к государству точно не пошел. Любое соприкосновение с государственными деньгами тебя обязывает. Но есть огромное количество людей, которым просто кровь из носу необходимо, чтобы кто-то без инфоцыганства мог объяснить какие-то вещи, чтобы они начали свою идею как-то двигать... Должны быть некие медиаторы, уважаемые предприниматели, некая политически нейтральная площадка, на которой дать развиваться тому потенциалу наших граждан, который имеется. Ведь очень много ребят, которые уезжают и делают крутые вещи в других странах, а могли у нас делать. Другой вопрос, что они не доверяют государству, не хотят с этим связываться. И здесь большая задача, которую нужно государству решать».*

Барьеры для развития креативных проектов, которые были отмечены информантами, как и условия, проявляются на уровнях микро-, мезо- и макросреды. К барьерам, проявляющимся на уровне микросреды, можно отнести личные барьеры – дефицит временных и психологических ресурсов, к барьерам мезоуровня – непонимание либо недооценку деятельности со стороны городских жителей, локальных СМИ (отмечались исключительно городскими активистами), макроуровня – ограничения, связанные с проводимой политикой государства и ее социально-экономическими последствиями (см. рис. 1).

Особенно болезненно воспринимаются и переживаются городскими активистами проблемы-преграды, связанные с отношением к их деятельности со стороны местных жителей и локальных СМИ:

«Многие считают, что дороги, больницы, детские сады городу важнее. И не нужно тратить бюджетные средства на какие-то непонятные вещи, разрисовывание дворов и т.д.».

«Есть еще проблема СМИ, которые не несут новости в приятном ключе. Когда они преподносят, что вот, появился проект за 20 миллионов! Но ведь мы привлекали деньги бизнеса! Мы тогда сами включались, отвечали аргументированно, что это привлеченные деньги, работает команда...».

Для представителей бизнеса микро- и мезосредовые барьеры в целом не имеют столь важного значения и не воспринимаются настолько остро, чтобы фокусироваться на них. Субъекты бизнеса, упоминая о «недостатке временного ресурса, загруженности, сжатых сроках реализации», рассматривают данный факт исключительно как сопутствующую задачу тайм-менеджмента.

Барьеры, связанные с влиянием макросреды на возможности реализации креативных проектов, одинаково значимо воспринимаются как городскими активистами, так и субъектами бизнеса. В общем виде эти барьеры лежат в плоскости рассуждений о «надзорной» политике государства (наиболее значимы для городских активистов) и социально-экономической, политической нестабильности, «закрытости» доступа к общемировым технологиям, всеохватной системной коррупции (наиболее значимы для субъектов бизнеса).

Представители городского созидательного активизма:

«Сейчас красные линии повсюду. Против государства нельзя делать какие-то работы, ты можешь только соответствовать государству. Хотя если вспоминать 4–5 лет назад, нельзя было ходить в майке „Я русский“. Сейчас певец Шаман поет песню „Я русский“. То есть непонятна грань. Ты можешь 4 года назад в угоду государству нарисовать одну вещь, а через пять лет это же государство может тебя за это посадить».

Представители бизнеса:

«Что может помешать... Мобилизация, военное положение, апокалипсис. Ну, в целом какое-то чувство неуверенности в завтрашнем дне, когда не знаешь, что там будет завтра. Может, например, все пойти okay. Но тут тебя призвали и все. Ну, или технология ушла. Недоступна стала для России».

«Теперь со всей этой ситуацией у меня особой надежды и веры в настоящее время нет... А если взять еще сопутствующую всему этому коррупцию. Можно ли придумать некую инновацию, которая бы стопанула коррупцию или как минимум уменьшила ее? Раньше я искренне верил, что можно изме-

нить систему, находясь внутри, попав в аппарат. Потом, когда имел соприкосновение, поработал там, понял, что глубоко ошибался. Я пришел к тому, что коррупция у нас просто грязная, топорная история, но очень красиво припорошена».

Обобщая полученные данные, мы приходим к следующим выводам.

Главным условием для реализации креативных проектов и для представителей бизнеса, и для городских активистов выступает социальная микросреда непосредственного взаимодействия и поддержки – команда, партнеры, единомышленники. Важнейшие условия мезо- и макросреды для городских активистов – это финансовая поддержка государства, местных администраций, федерального и регионального бизнеса, грантовых фондов, а также предоставление свободы самовыражения и минимизация давления со стороны власти; для представителей бизнеса – это информационная поддержка со стороны государства, финансовая поддержка частных инвесторов, наличие политически нейтральной образовательной площадки для обмена опытом.

Барьеры, препятствующие развитию креативных локальностей, на микроуровне проявляются как личный дефицит времени и исчерпаемость психологических ресурсов. Барьеры мезоуровня – недопонимание, негативное отношение со стороны жителей и локальных СМИ – значимы лишь для городских активистов. Макроуровень проявления барьеров для городских активистов связан с проводимой надзорной политикой государства и сопутствующими этой политике ограничениями низовых творческих инициатив. Представители бизнеса макросредовые барьеры связывают с общей социально-экономической, политической нестабильностью, закрытостью доступа к общемировым технологиям и всеохватной системной коррупцией.

Заключение

Проведенное исследование не охватывает всех возможных сфер проявления креативности в среде мегаполиса, однако, на примере выбранных – бизнеса и городского активизма, позволяет увидеть общие доминантные черты и различия между ними, а также обозначить «болевые» точки развития креативных локальностей в современных условиях. Последнее нам представляется особенно важным в свете актуализации общественного и государственного запроса на генерирование инновационных идей и проектов во всех сферах жизни. В связи с этим перспективным направлением дальнейших исследований креативных локальностей, на наш взгляд, выступает изучение разнообразия форм проявления креативности на различных уровнях социально-территориального пространства, а также поиск институциональных и социокультурных механизмов связи между креативной активностью, локализуемой в социально-территориальном пространстве, и успешными практиками реализации инноваций в среде мегаполисов.

Список источников

1. Halfacree K. Heterolocal Identities? Counter-Urbanisation, Second Homes, and Rural Consumption in the Era of Mobilities // *Population Space and Place*. 2012. Vol. 18(SI). P. 209–224.
2. Mitchell C. Making sense of counterurbanization // *Journal of rural studies*. 2004. № 5. P. 27.
3. Sykora J., Spackova P. Neighbourhood at the crossroads: differentiation in residential change and gentrification in a post-socialist inner-city neighbourhood // *Housing Studies*. 2020. doi: 10.1080/02673037.2020.1829562

4. Deakin M. Towards A Community-Based Approach to Sustainable Urban Regeneration // *Journal of Urban Technology*. 2009. Vol. 16, № 1. P. 91–112. doi: 10.1080/10630730903090354
5. Игнатьев В.И. Социальные локальности в эпоху информационно-сетевой глокализации // *Социологические исследования*. 2020. № 7. С. 37–46 doi: 10.31857/S013216250010024-9
6. Трофимова И.Н. Гражданский активизм в современном российском обществе: особенности локализации // *Социологические исследования*. 2015. № 4. С. 72–77.
7. Волков Д., Колесников А. Самоорганизация гражданского общества в Москве. Мотивы, возможности и пределы политизации. М. : Московский Центр Карнеги, 2016.
8. Бронников И.А. Гражданский активизм в сетевых сообществах // *Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки*. 2020. Т. 1, № 1. С. 7–18.
9. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Смысложизненные ценности в культурном пространстве российской молодежи // *Научный результат. Социология и управление*. 2018. Т. 4, № 3. С. 3–11. doi: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-1
10. Певная М.В., Кульминская А.В., Широкова Е.А., Шуклина Е.А. Волонтерское участие молодежи в период пандемии: портрет героя сложного времени // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2021. № 3(161). С. 492–510. doi: 10.14515/monitoring.2021.3.1930
11. Joas H., Knobl W. *Social Theory: Twenty Introductory Lectures*. Cambridge : Cambridge Univ Press, 2009.
12. Йоас Х. Действие – это состояние, в котором существуют люди в мире // *Социологические исследования*. 2010. № 8. С. 112–122.
13. Florida R. *The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life*. Basic Books. 2002.
14. Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // *Социологические исследования*. 2017. № 7. С. 43–53. doi: 10.7868/S0132162517070054.
15. Landry C. *The Creative City. A Toolkit for Urban Innovation*. Earthscan Ltd, UK&USA. 2000.
16. Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Покида А.Н. Доверие частного бизнеса органам государственного контроля // *Социологические исследования*. 2022. № 5. С. 49–59. doi: 10.31857/S013216250018750-8

References

1. Halfacree, K. (2012) Heterolocal Identities? Counter-Urbanisation, Second Homes, and Rural Consumption in the Era of Mobilities. *Population Space and Place*. 18(SI). pp. 209–224.
2. Mitchell, C. (2004) Making sense of counterurbanization. *Journal of Rural Studies*. 5. p. 27.
3. Sykora, J. & Spackova, P. (2020) Neighbourhood at the crossroads: differentiation in residential change and gentrification in a post-socialist inner-city neighbourhood. *Housing Studies*. 37(5). pp. 693–719. doi: 10.1080/02673037.2020.1829562
4. Deakin, M. (2009) Towards A Community-Based Approach to Sustainable Urban Regeneration. *Journal of Urban Technology*. 16(1). pp. 91–112. doi: 10.1080/10630730903090354
5. Ignatiev, V.I. (2020) Sotsial'nye lokal'nosti v epokhu informatsionno-setevoy globalizatsii [Social localities in the era of information network globalization]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 7. pp. 37–46. doi: 10.31857/S013216250010024-9
6. Trofimova, I.N. (2015) Grazhdanskiy aktivizm v sovremennom rossiyskom obshchestve: osobennosti lokalizatsii [Civil activism in modern Russian society: features of localization]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 4. pp. 72–77
7. Volkov, D. & Kolesnikov, A. (2016) *Samooorganizatsiya grazhdanskogo obshchestva v Moskve. Motivy, vozmozhnosti i predely politizatsii* [Self-organization of civil society in Moscow. Motives, possibilities and limits of politicization]. Moscow: Moscow Carnegie Center.
8. Bronnikov, I.A. (2020) Grazhdanskiy aktivizm v setevykh soobshchestvakh [Civil activism in online communities]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki*. 1(1). pp. 7–18.
9. Zubok, Yu.A. & Chuprov, V.I. (2018) Smyslozhiznennyye tsennosti v kul'turnom prostranstve rossiyskoy molodezhi [Meaningful values in the cultural space of Russian youth]. *Nauchnyy rezul'tat. Sotsiologiya i upravlenie*. 4(3). pp. 3–11. doi: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-1
10. Pevnaya, M.V., Kulminskaya, A.V., Shirokova, E.A. & Shuklina, E.A. (2021) *Volonterskoe uchastie molodezhi v period pandemii: portret geroya slozhnogo vremeni* [Volunteer participation of youth during a pandemic: a portrait of a hero of difficult times]. *Monitoring obshche-stvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 3(161). pp. 492–510. doi: 10.14515/monitoring.2021.3.1930

11. Joas, H. & Knobl, W. (2009) *Social Theory: Twenty Introductory Lectures*. Cambridge University Press.
12. Joas, H. (2010) Deystvie – eto sostoyanie, v kotorom sushchestvuyut lyudi v mire [Action is the state in which people exist in the world]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 8. pp. 112–122.
13. Florida, R. (2002) *The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life*. Basic Books.
14. Buzgalin, A.V. (2017) Kreativnaya ekonomika: chastnaya intellektual'naya sobstvennost' ili sobstvennost' kazhdogo na vse? [Creative Economy: Private Intellectual Property or Everyone Owning Everything?]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 7. pp. 43–53. doi: 10.7868/S0132162517070054.
15. Landry, C. (2000) *The Creative City. A Toolkit for Urban Innovation*. Earthscan Ltd, UK&USA.
16. Dobrolyubova, E.I., Yuzhakov, V.N. & Pokida, A.N. (2022) Doverie chastnogo biznesa organam gosudarstvennogo kontrolya [Trust of private business to state control bodies]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 5. pp. 49–59. doi: 10.31857/S013216250018750-8

Сведения об авторах:

Дидковская Я.В. – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Института экономики и управления Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: I.V.Didkovskaia@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9525-9514>

Нотман О.В. – доктор социологических наук, доцент, доцент кафедры прикладной социологии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: o.v.notman@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3393-9933>

Трынов Д.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Института экономики и управления Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, (Екатеринбург, Россия). E-mail: DV.Trynov@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9534-4073>

Лугин Д.А. – аспирант, ассистент кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Института экономики и управления Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: dmitry.lugin@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5151-515X>; предполагаемые сроки защиты – 2024, июнь.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Didkovskaya Ya.V. – Dr. Sci. (Sociology), docent; professor, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: I.V.Didkovskaia@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9525-9514>

Notman O.V. – Dr. Sci. (Sociology), docent; associate professor, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: o.v.notman@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3393-9933>

Trynov D.V. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: DV.Trynov@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9534-4073>

Lugin D.A. – postgraduate student, teaching assistant, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: dmitry.lugin@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5151-515X>

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.11.2023;
одобрена после рецензирования 21.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 25.11.2023;
approved after reviewing 21.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья
УДК 316.72.354
doi: 10.17223/1998863X/78/15

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ (ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРЕДПРИЯТИЯ НАУКОЕМКОГО БИЗНЕСА)

Светлана Валерьевна Негруль¹, Роман Александрович Быков²,
Елена Юрьевна Быкова³

^{1, 2, 3} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *svetlight@bk.ru*

² *nimai.bykov@gmail.com*

³ *bykova1117@gmail.com*

Аннотация. Представлены результаты исследования вовлеченности руководителей и сотрудников (инженерно-технических специалистов) в российской высокотехнологичной компании. Предложены концепты, позволяющие конкретизировать понятие вовлеченности, представлены типологии руководителей и сотрудников. Показаны особенности организационной культуры, ее роль и значимые характеристики, способствующие повышению лояльности и вовлеченности сотрудников.

Ключевые слова: высокотехнологичная компания, организационная культура, вовлеченность персонала

Для цитирования: Негруль С.В., Быков Р.А., Быкова Е.Ю. Организационная культура и вовлеченность руководства и сотрудников в высокотехнологичной компании (исследование опыта предприятия наукоемкого бизнеса) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 179–194. doi: 10.17223/1998863X/78/15

Original article

ORGANIZATIONAL CULTURE AND INVOLVEMENT OF MANAGEMENT AND EMPLOYEES IN A HIGH-TECH COMPANY (RESEARCH ON THE EXPERIENCE OF A KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS ENTERPRISE)

Svetlana V. Negrul¹, Roman A. Bykov², Elena Yu. Bykova³

^{1, 2, 3} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *svetlight@bk.ru*

² *nimai.bykov@gmail.com*

³ *bykova1117@gmail.com*

Abstract. The article presents the results of a study of the involvement of managers and employees in a Russian high-tech company. The features of organizational culture, its role and significant characteristics that contribute to increasing employee loyalty and engagement are shown. These characteristics are indicators of the effectiveness of organizational culture and a positive work environment. The role of organizational culture in the success of a

company has been confirmed by global research, but, nevertheless, there are very few studies of the organizational culture of high-tech enterprises in world practice. The authors rely on classical and modern works on organizational culture and the phenomenon of engagement by domestic and foreign authors. The empirical basis is a study of managers and engineering and technical staff of a Tomsk high-tech company (big business) with a combination of quantitative and qualitative methods. The work focuses on the study of the image of the organization that exists in the minds of employees, the general atmosphere, culture, loyalty and employee engagement. The authors propose concepts that make it possible to concretize the concept of engagement and present typologies of managers and employees. Strict separation of the active position of employees into “supportive engagement” and “developing engagement” can give an understanding of what and how to deal with the leaders of the culture being created. In the first case, it is possible to work on setting global goals and defining a mission, working with values; in the second, on developing a dialogue space with other equal-minded colleagues, forming working groups structuring the company’s mission, forming a future image, etc. Narratives about managers at different levels should strengthen a common “mythology”, unite in common intentions, create a mission “from below.” In general, the study demonstrates once again that the mission and purpose of the company, culture should be integrated not only into the formal structures and practices of the organization. If an organization is metaphorically considered as an integral human body, then it becomes obvious that its image, meanings and values, “mythology” determine a lot and create the basis for harmonious development both within the company and in its interaction with the outside world.

Keywords: high-tech company, organizational culture, staff involvement

For citation: Negrul, S.V., Bykov, R.A. & Bykova, E.Yu. (2024) Organizational culture and involvement of management and employees in a high-tech company (research on the experience of a knowledge-intensive business enterprise). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 179–194. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/15

Введение

В эпоху экономической неопределенности, быстрого развития технологий и распространения гибридных форм занятости в организациях все больше актуализируются проблемы удержания и вовлечения работников. По данным исследовательской компании Forrester, снижение вовлеченности сотрудников – один из мировых трендов будущего года [1]. В России, по материалам исследований SuperJob [2], на рынке труда фиксируется нарастающий дефицит рабочей силы и усиливающаяся конкуренция между отраслями за персонал (+ 122% вакансий за год в промышленности). При этом в топ-5 дефицитных позиций на рынке труда входят не только квалифицированные рабочие, но и инженерно-технические специалисты. На этом фоне вовлечение сотрудников становится ключевой стратегией для работодателей, так как повышает продуктивность персонала, снижая необходимость в частом найме новых кадров. Это также способствует созданию привлекательного имиджа компании, усиливая ее позиции на рынке труда.

Вовлеченность и лояльность сотрудников – индикатор эффективности организационной культуры и позитивной рабочей среды. Роль организационной культуры в успехе компании подтверждена глобальными исследованиями: по данным Gallup, в 2023 г. организации с передовой практикой имели уровень вовлеченности сотрудников 72% в отличие от среднего уровня 23% в мире [3].

В авангарде технологических изменений находятся высокотехнологичные предприятия, которые характеризуются быстрыми темпами инноваций,

постоянным развитием навыков персонала и деятельностью в конкурентной среде. Высокотехнологичные компании отличаются от традиционных секторов проектный характер работы, творческая самоотдача сотрудников, децентрализация в принятии решений, более открытый и прозрачный характер коммуникаций и культура доверия [4, 5]. В то же время, несмотря на конкурентные зарплаты, у персонала меньше гарантий занятости и более высокие риски потери работы. Из-за быстрых изменений технологического ландшафта смена рабочих мест в инновационных фирмах происходит чаще и, соответственно, проблемы, связанные с персоналом, стоят более остро. Понимание специфики взаимодействия менеджеров и сотрудников с организацией, стратегий вовлечения персонала в этих компаниях может представлять ценный материал для других секторов. Между тем в мировой практике существует очень мало исследований организационной культуры высокотехнологичных предприятий [6, 7].

В российской практике управления многие процессы в организации могут иметь свою специфику, как усложняя деятельность предприятия в ситуациях экономической неопределенности или, напротив, способствуя адаптации. Исследовательские вопросы, поставленные в данном исследовании: как связана вовлеченность сотрудников с влиянием управленческих стереотипов руководства? Как вовлеченность сотрудников высокотехнологичного предприятия связана с особенностями вовлеченности менеджеров? Насколько эти процессы могут подвергаться управленческим воздействиям со стороны руководства компании?

Цель данного исследования – определить специфику организационной культуры высокотехнологичного предприятия посредством анализа вовлеченности персонала на уровне руководителей и сотрудников. Для проведения эмпирического исследования была выбрана компания, которая отражает типичный путь становления достаточно успешного инновационного предприятия в нашей стране. Начиная с 90-х гг. прошлого века на предприятии внедрялись конкурентные на мировом уровне научные разработки, обеспечивая стремительное развитие и расширение рынков сбыта. Данный эмпирический пример интересен для исследования тем, что показывает не только объективный контекст деятельности высокотехнологичного предприятия (неопределенность и высокие риски), но и управленческие стереотипы, связанные с чертами российской организационной культуры. Также данный кейс показывает уникальные характеристики культуры и опыт данного предприятия.

Исходя из проблемного поля, был выдвинут ряд гипотез. Во-первых, полагаем, что закономерно в российской высокотехнологичной компании традиционные стереотипы культуры управления, характеризующиеся иерархическим принятием решений, будут негативно влиять на организационную приверженность сотрудников. Во-вторых, качество отношений между руководством и персоналом существенно влияет на вовлеченность сотрудников, при этом позитивные отношения и прозрачный характер коммуникаций между менеджерами и сотрудниками приводят к более высокому уровню вовлеченности и, соответственно, любые проблемы коммуникации будут оказывать на данную характеристику негативное влияние. В-третьих, можно предположить, что большое значение для вовлеченности сотрудников имеет не только уровень вовлеченности руководителей, но и ее тип. В-четвертых,

динамичный и быстро развивающийся характер инновационной сферы положительно влияет на вовлеченность ИТР сотрудников благодаря появлению новых задач и возможностей обучения и развития. Следует также подчеркнуть, что восприятие сотрудниками миссии и цели компании имеет большое значение для их приверженности и долгосрочного сотрудничества с организацией.

Теоретико-методологические основания исследования

В данной статье вовлеченность рассматривается в рамках социального и культурного контекста деятельности организации в отличие от ее психологизированных трактовок, концентрации на проблемах и потребностях личности [8, 9]. Также нет смысла искать источники вовлеченности исключительно в институциональной среде, структуре организации, сложившихся потоках задач и информации, ее расположении, месте в существующей конкурентной среде [10]. Организационную культуру, опираясь на работу Э. Шейна [11], понимаем как систему совместно разделяемых ценностей и норм, которые определяют, как сотрудники воспринимают организацию и как они взаимодействуют внутри нее и с внешней средой. Эти ценности и нормы формируют уникальную атмосферу организации. В содержательном плане на уровне организации культура отражает весь спектр сложившихся в коллективе отношений: способы принятия решений, методы мотивирования, способы контроля и информирования, оценка успешности сотрудников, способы управления конфликтом, восприятие внутренней среды организации [12]. Однако подходы к изучению ценностей, правил поведения и спектра отношений различаются в зависимости от теоретической позиции исследователя. В менеджериалистских подходах ключевым является тезис о культуре как инструменте, функции внутри организации, которую можно формировать и адаптировать для повышения производительности [13]. Другая перспектива изучения – интерпретативная рассматривает культуру как смыслы, организация существует только через интерпретации различных ситуаций и символов ее членами [14, 15]. В нашем исследовании был сделан акцент на изучении образа организации, который есть в сознании ИТР и руководителей, который помимо прочих факторов, способен вдохновить сотрудников не меньше, чем классические стимулы традиционной российской культуры управления, поскольку формирует идейность, концептуализирует и наполняет трудовое поле смыслами.

Роль руководителя в процессе управления организационной культурой

Руководители как своими целенаправленными действиями, так и более спонтанным поведением оказывают глубокое влияние на различные аспекты организационной культуры. Целенаправленные действия, такие как разработка политики и четкое информирование о ценностях, создают основу организационной культуры (ее декларируемый уровень). В то же время спонтанные действия и поведение, проявляясь в повседневных взаимодействиях, постоянно формируют и укрепляют культуру. Именно здесь коренится источник неформальных социальных практик, образуя реальный недекларируемый срез организационной культуры. Двойная роль менеджеров и лидеров отра-

жается в полярных подходах к пониманию организационной культуры: рационально-прагматическом (менеджералистском) [13], социально-антропологическом и феноменологическом [14–16] (в последних – «интерпретативных») подходах придается значение роли неформального лидерства) и, соответственно, возможностям управленческих воздействий. Российский исследователь А. Пригожин [17], интегрируя различные теоретические позиции, предлагает рассматривать организационную культуру, учитывая целенаправленные управленческие воздействия, процессы самоорганизации и сложившийся нормативный порядок как отпечаток прошлого опыта функционирования организации.

Основываясь на идее о двойственной роли руководителя в формировании организационной культуры, мы подходим к ключевой концепции нашего исследования – вовлеченности. В данном контексте вовлеченность руководителей и сотрудников выступает не просто как составляющая организационной культуры, но и как активный элемент ее формирования и развития. Влияние лидеров и их стиля управления на уровень вовлеченности сотрудников показано в различных исследованиях. Для понимания паттернов вовлеченности руководителей в конкурентной бизнес-среде интерес представляет концепция «трансформационного лидерства» Б. Басса (идеализированное видение, вдохновляющая мотивация, интеллектуальная стимуляция, индивидуальное рассмотрение) [18]. Доказано, что «служебное лидерство» (Р. Гринфилд), характеризующееся фокусом на удовлетворении потребностей сотрудников, созданием условий для их роста, способностью к концептуальному мышлению, вниманием к формированию сообщества, положительно влияет на удовлетворенность и вовлеченность сотрудников [19]. «Обучающаяся организация» (П. Сенге) [20] способствует созданию среды, в которой сотрудники не только мотивированы к постоянному самосовершенствованию и обучению, но и активно участвуют в процессе развития организации. Также в современном контексте возрастает значение экспертной власти (основана на специфических знаниях и опыте, неавторитарна) [21], которая способствует формированию культуры непрерывного обучения и развития.

Вовлеченность и лояльность персонала

Под лояльностью будем понимать степень приверженности, верности компании. Вовлеченность, выходящая за рамки простого удовлетворения работой или базовой мотивации, представляет собой сложную сеть взаимодействий между личными интенциями сотрудников и организационной средой. В статье будет сделан акцент на вовлеченности, так как сама по себе лояльность (верность) не гарантирует стремление сотрудника к улучшению своей деятельности или достижению целей компании. Для более детального анализа мы обратимся к ключевым теоретическим моделям и подходам, позволяющим осветить многообразие форм и уровней вовлеченности.

Авторы как разнообразных концепций [8, 22, 23], так и прикладных моделей исследования [24] предлагают анализировать вовлеченность как многомерный феномен.

Так, в одной из авторитетных концепций вовлеченности дается следующее определение: «...вовлеченность сотрудников – когнитивное, эмоциональное и поведенческое состояние отдельного сотрудника, направленное на

достижение желаемых организационных результатов» [25]. Таким образом, вовлеченность рассматривается как значение работы для сотрудника, эмоционально-позитивное отношение к ней и активные действия по достижению результата. В данной формулировке недостаточно внимания уделяется чувству принадлежности организации, соответствию ценностей работника целям организации, которые мы считаем важным для анализа типов вовлеченности. Другое определение комплексно описывает «вовлеченность в работу», которая представляет собой многомерную мотивационную концепцию, отражающую одновременное вложение физической, когнитивной и эмоциональной энергии человека в активную, полноценную работу [25]. Однако в данных определениях недостаточно внимания уделяется динамичности вовлеченности, влиянию организационной среды и типа вовлеченности руководителей на характер и уровень вовлеченности сотрудников.

Прикладная методология исследования вовлеченности Gallup [3] фокусирует внимание на таких показателях, как карьера и развитие, миссия и цель организации; признание и ценность; межличностные отношения. Несмотря на авторитетность методологии и комплексный подход, здесь используются стандартизированные опросники, которые могут ограничивать исследование, их применение может быть недостаточным для понимания контекста и анализа процессов в разнообразных рабочих средах. Методология включает социальные и культурные компоненты вовлеченности, однако недостаточно внимания уделяется внекарьерным аспектам организационной жизни.

Ценность для анализа представляет также рассмотрение вовлеченности в рамках концепции приверженности [26]. Вовлеченность и лояльность являются компонентами социальной установки приверженности организации и определяются: 1) как сильное желание остаться членом данной организации (лояльность); 2) как желание прилагать максимальные усилия в интересах данной организации (вовлеченность); 3) как твердая убежденность в корпоративных ценностях и принятие целей данной организации (идентификация). Концепция интересна тем, что фокусирует внимание на долгосрочной приверженности организации, что является важным элементом для понимания ориентации на развитие организации. Идея о том, что приверженность способствует большей вовлеченности сотрудников в развитие организации, находит подтверждение в исследованиях Д. Мейера и Н. Аллена [27].

Таким образом, при составлении опросников мы ориентировались на комплекс методологических подходов, которые позволили выделить следующие компоненты вовлеченности: 1) эмоциональная вовлеченность, которая проявляется в удовлетворенности работой, позитивном отношении к повседневным обязанностям, гордости за работу, эмоциональными реакциями на успехи и неудачи, энтузиазмом; 2) когнитивная вовлеченность характеризуется поглощенностью работой, сосредоточенностью, планированием, активным участием в решении проблем; 3) физическая вовлеченность: выносливость, способность эффективно справляться с нагрузками, готовность выполнять дополнительную работу; 4) социальная вовлеченность: позитивные отношения на рабочем месте, командная работа, эффективные коммуникации; 5) культурная вовлеченность: соответствие ценностям и нормам организации, соответствие усилий целям организации.

Когда руководители и сотрудники полностью осознают и разделяют цели организации и ее миссию, они могут более эффективно направлять свои усилия, быть вовлеченными в процесс достижения этих целей.

Организация, как объективная конструкция, отображается и существует в интерпретациях и значениях, которые придают ее целям руководители и менеджеры, и выбор качественной стратегии исследования позволяет исследовать процесс формирования субъективных установок и представлений. В соответствии с этим, основой эмпирической базы явились результаты полуструктурированных интервью с руководителями, отражающие в режиме свободного нарратива их субъективные интерпретации. Было опрошено максимальное количество руководителей подразделений методом полуструктурированного интервью (25 респондентов).

При исследовании инженерно-технических работников (ИТР) были необходимы измерительные процедуры количественной стратегии социальных наук. Тип выборки – неслучайная (целевая). Опрошенные ИТР составили более 70% от генеральной совокупности, что релевантно целевой выборке. Изучение с помощью количественных методов дает общую картину ситуации в компании, а качественная, интерпретативная, стратегия раскрывает глубинные установки, присутствующие в сознании респондентов, которые в процессе повторяемости позволяют увидеть устойчивые тренды восприятия организационной культуры.

Руководители наукоемкого бизнеса

На основании результатов проведенного эмпирического исследования авторы оценили уровень лояльности как высокий. Практически все руководители готовы рекомендовать компанию в качестве места для работы и делают это регулярно. Условия труда устраивают большинство руководителей, в среднем и заработная плата, которая, по их мнению, является скорее адекватной. Оценив достаточно большое количество аспектов, связанных с лояльностью, в процессе исследования было очевидно, что лояльность, как упоминалось выше, не гарантирует готовности сотрудников прикладывать усилия для развития организации.

Авторы выявили два типа вовлеченности руководителей, которые назвали «поддерживающая вовлеченность» («вовлеченность исполнителя») и «развивающая вовлеченность». Данные концепты были сформулированы по результатам качественных интервью. Исследование позволило понять, как руководители воплощают эти типы вовлеченности в повседневной работе. На взгляд авторов, «**поддерживающая вовлеченность**» относится к типу вовлеченности, где фокус руководителя сосредоточен на выполнении текущих задач и обязанностей. Этот тип вовлеченности характеризуется высоким уровнем оперативности, эффективностью в рутинной работе и стремлением к достижению краткосрочных целей.

«**Развивающая вовлеченность**» подразумевает глубокую вовлеченность руководителя в долгосрочное развитие подразделения и предприятия в целом. Этот тип включает в себя инновационную активность, поиск новых подходов, развитие команды и стремление к непрерывному совершенствованию.

В процессе интервью был выявлен спектр смыслов, которые послужили критериями для различения данных типов вовлеченности: 1) Стратегическая /

краткосрочная ориентация; 2) Инновационность (поиск нестандартных решений) / ориентация на задачи, включая качество работы; 3) Проактивность (инициатива) / реактивность (реакция на проблемы); 4) Профессиональная ответственность в рутинных процессах (долг, обязательства) / лидерство, развитие команды, сетевые взаимодействия (социальная активность); 5) Профессиональный рост, ориентация на обучение / производительность (дополнительная работа, работа во внерабочее время). 6) Социальная дистанция / горизонтальные связи.

Рассмотрим специфику типов вовлеченности на примере интервью. **Стратегическая / краткосрочная ориентация.** Среди руководителей преобладает ориентация на текущий процесс, они не видят глобальные цели компании. *«Цели нет – нет, я ее не вижу, она не доносится, по крайней мере. В постоянной текучке конечно всё разматывается», «Не понимаешь куда движешься, зачем движешься. Есть запрос, периодически возникает, на поиск работы другой. Новых витков развития я не вижу в компании»* (из интервью). Цели озвучиваются, и миссия компании прописана, но это, по мнению руководителей, не общий настрой, а скорее декларирование.

«Ну, у каждого же, наверное, свои цели, а вот чтобы конкретно по компании... через мои руки, как бы, прошло много людей, и чтобы вот этот патриотизм, там, да? Я такого не вижу, чтобы, там, за компанию...», «Я понимаю, главная цель – это как можно больше знать потребности заказчиков, иметь заказчиков и получать максимальную прибыль. Вот главная миссия» (из интервью).

Когда респондент не видит целей, перспектив развития, ему тяжело качественно выполнять свои обязанности, особенно если они требуют эмоциональной и творческой погруженности.

Инновационность (поиск нестандартных решений) / ориентация на задачи, включая качество работы. Руководители видят свою роль в развитии организации как качественное выполнение задач, которые спускаются сверху. Типичные ответы: *«Ну, наверное, на развитие, у нас лаборатория, мы проводим испытания, там, влияет на развитие организации. Мы можем повлиять на качество, чтобы в организации была возможность развития, чтобы не было никаких претензий, в частности к нашей конкретно работе. По-моему, только так», «У меня нет, еще раз, ролей и целей, у меня есть задачи. Скажем, вот твоя роль вот такая-то. Пойти лопатой копать, если не смогу копать, найдут того, кто сможет»* (из интервью).

Относительно улучшения работы компании в целом только треть руководителей считают, что могут как-то повлиять на ситуацию в организации, при этом остальные готовы участвовать в рабочих группах по развитию компании при наличии таких групп. При этом предполагается, что кто-то их создаст. Поэтому «вовлеченность руководителя» («развивающая вовлеченность») как человека, который готов участвовать и прикладывать силы в развитие компании, заметно ниже, чем поддерживающая.

Руководители концентрируются в основном на выполнении рутинных задач. *«Тут вообще сложно. Потому что, я говорил, что мы на разных волнах находимся. И кажется, по ощущениям, что я не могу влиять на фундаментальные процессы, что ли. Которые здесь. Мое ощущение, что я здесь как наемный со стороны и все»* (из интервью). В высказывании проявляется

такое свойство культуры, как иерархичность, что характерно для российских деловых взаимоотношений в организациях.

Осложняется ситуация проблемами коммуникации с высшим руководством. Половина руководителей не удовлетворены объективностью оценки своей работы высшим руководством. Была озвучена неоднократно мысль, что респонденты не понимают какова она (оценка), т.е. не получают реальный отклик или считают, что он не соответствует действительности. *«Ну, мне кажется, они не всегда понимают, что я делаю, я вообще не понимаю, оценивают ли мою работу или нет. По крайней мере за вот эти годы работы вообще ничего мне не известно», «В плане результата, ну, наверное... объективно. Да, вот, тоже мне как-то сложно ответить, потому что... вроде бы, как бы, и знают о проблемах, а вроде бы кажется, как будто и нет. Может быть так, вот» (из интервью).* Эти факторы снижают возможности генерирования инновационных решений и инициативы сотрудников, даже занимающих руководящие должности.

Проактивность (инициатива) / реактивность (реакция на проблемы). Для части руководителей (около половины) проявление инициативы является важным, но оно касается исключительно текущих задач, не затрагивает творческого процесса развития и тем более глобальных трансформаций продукта, процессов компании. Также руководители говорили о том, что система поощрения не выстроена в организации, поэтому проявление инициативы сравнивалось с попыткой что-либо предложить в ситуации, когда совершенно не понятно, как это будет оценено. Руководители готовы проявлять инициативу и делают это регулярно, считая, что это важно и необходимо, особенно когда возникают рабочие вопросы, проблемы. И она, скорее всего, будет поддержана ближайшим руководством. *«Ну да, вполне себе. То есть, как бы, инициатива, то есть, если она разумна и, как бы, есть у нее перспективы развития, то инициативы, конечно, здесь принимаются, да, и поощряются» (из интервью).*

Типичным высказыванием, которое характеризует выраженность «реактивности», является следующее. *«Мы реально, как эти, мы как солдаты, которые вот все что на нас летит, вся работа, которая есть. А ее тоже может быть много. Потом может где-то провал, потом опять много. Она такая. Не как у производства линейная, четкая, понятная, а она бывает, ее накатывает столько, что реально, очень сложно и очень много. И мы ее всегда стараемся переварить, сделать. И после того, как мы это делаем, воспринимается что это, так и должно быть. И с этим многие из ИТР, из инженерно-технических работников очень, скажем так, не согласны. Потому что здесь какой-то качественной оценки нет» (из интервью).*

Некоторые руководители подчеркивали, что руководство не до конца понимает, чем занимается их отдел, не видит целостно их работу, соответственно, не может оценивать объективно. Сотрудник, играющий важные роли в компании, должен чувствовать, что то, что он делает – востребовано, эффективно и объективно оценено. Если этого не происходит, человек начинает более размыто чувствовать свои роли, склонен действовать менее активно, может быть демотивирован и апатичен.

Профессиональный рост. Все без исключения руководители оставались во вне рабочее время в организации для решения тех или иных задач, особен-

но в первые годы работы. *«Обычно это героизм. А героизм – это значит недоработка остальных. То есть тот, кто проявил героизм – да, хорошо, молодец, поощряется. Но это больше скажем так недостаток, и это на регулярной основе происходит»* (из интервью).

Руководители положительно относятся к курсам повышения квалификации, готовы развиваться. Некоторые делают это формально, но большая часть относится к собственному развитию как к важной составляющей своей деятельности для более эффективного выполнения задач в дальнейшем, что является хорошим показателем вовлеченности. *«Поддерживаю всеми руками. Личностные, персональные компетенции. Профессиональные компетенции причем не показушные, а реально эффективные. И с тем, чтоб это могло внедряться. А не так, как это происходит сейчас с тем, что мне приходится на реально эффективные вещи выбивать»* (из интервью). Все без исключения руководители также регулярно читают дополнительную литературу, которая может помочь улучшить процессы в компании.

В организации почти у всех опрошенных руководителей есть референтные группы – люди, на которых они равняются, считают хорошими специалистами, экспертами, авторитетами. Это показатель, который индицирует о потенции развития компании, взаимном обучении, способности выйти на новый уровень как персонального, так и организационного развития. *«Вот поучиться у нас здесь много у кого можно. У нас есть целая гора. Начиная от генерального директора, и послушать, и поучиться, и технического директора, человек имеет огромный опыт. Люди не ищут. Я вот слышу, как они решают эти проблемы, и потом мы также решаем их»* (из интервью).

Профессиональная ответственность (долг, обязательства) / лидерство, развитие команды, сетевые взаимодействия. Руководители скорее не обсуждают с коллегами перспективы развития организации, ссылаясь на то, что «нет на это времени», «это не их уровень», или что это ни на что не повлияет. Специфика взаимодействия между руководителями в вопросах развития организации сводится к прояснению текущих вопросов и решению уже поставленных задач.

Большинство руководителей готовы добровольно участвовать в дополнительных рабочих группах по развитию организации, если это не будет отвлекать их от основных задач. Это очень хороший показатель вовлеченности и готовности к изменениям и развитию. *«Да, конечно. Ну, если это поможет, конечно. Все равно же мы какую-то цель будем преследовать», «Нет, я конечно, за любой кипиш, кроме голодовки, только не в свободное от работы время. А в рабочее время у меня столько нагрузки, что разгрести то, что есть – уже хорошо. Если было бы время, скажем так, запас времени есть 15–20% в день, или в неделю хотя бы полдня свободных, то конечно, почему не поучаствовать»* (из интервью).

Вовлеченность в рутинный трудовой процесс, профессиональное и качественное выполнение обязанностей достаточно сильно выражены у руководителей и соответствует проявлению типа «поддерживающей вовлеченности».

В то же время у многих руководителей совпадают личные цели и организационные. Это проявляется в декларировании важности реализации задач именно в трудовом пространстве, при наличии личных задач вне работы.

«Нет, у меня цели все те же самые, из отдела сделать машину, коллектив, кулак, который будет единым организмом. Двигаться к поставленным задачам. Я считаю, что это и есть то, для чего нужно руководить» (из интервью).

Социальная дистанция / горизонтальные связи. Взаимодействие с коллегами-руководителями «по горизонтали» выстраивается также в рабочем режиме, без каких-либо серьезных проблем и сбоев в коммуникации. *«Всегда нормально коммуникация. Здесь уже с подчиненными, когда разговариваешь, уже по-другому. Но с каждым дружеская беседа» (из интервью).* Обратную связь получает большинство руководителей и считает это важным. Отношения с вышестоящим руководством оцениваются опрошенными руководителями очень противоречиво. Есть респонденты, которые хорошо выстраивают отношения с вышестоящими, а есть те, кто не может этого делать. Проблемы в коммуникации создаются несогласованностью между высшими руководителями, которые мешают взаимодействию и решению рабочих процессов: *«потому что разрозненность у них, нет единой стратегии развития компании», «руководство компании оторвано, не знает о деятельности отдела» (из интервью).*

Анализ вовлеченности инженерно-технических работников. В исследовании важно было понять, как воспринимается цель компании, миссия, принципы, которые вдохновляют сотрудников выполнять свои обязанности, климат в организации, лояльность и вовлеченность ИТР.

В целом ИТР компании удовлетворены, и если говорить о лояльности в целом, то около половины демонстрируют «преданность». Исходя из разных параметров и общих вопросов, можно выделить несколько уровней лояльности ИТР в организации:

- 1) «приверженцы» (миссионеры) – около 20–25% сотрудников;
- 2) «заложники, нейтралы» – 30–40%;
- 3) «наемники/критики» – 25–35%;
- 4) «бунтари» – 13–15% сотрудников.

Предложенная в статье попытка структурировать лояльность сотрудников была сформирована исключительно исходя из полученных эмпирическим путем данных. Ее возможно использовать как некоторую теоретическую основу, дорабатывать и усложнять.

Вовлеченность сотрудников рассматривалась в рамках указанных выше, пяти компонентов. Что касается когнитивной и эмоциональной вовлеченности в целом, можно говорить о достаточно низком уровне. Только лишь 19% опрошенных считают, что в организации нет проблем или что «все решаемо» (также этот показатель указывает на наличие дистанции с руководством). Около половины ИТР (48%) говорят о наличии проблем коммуникации с руководителями, 53% сталкиваются периодически с ситуацией, когда руководители «не слышат». Только лишь треть ИТР считают, что «все для этого создано» (33%), что есть вертикальная иерархия и необходимо просто открыто действовать через нее.

Инициативу готовы регулярно проявлять 21% респондентов, тогда как 22% этого практически не делают. Готовность ИТР принимать участие в дополнительных рабочих группах, т.е. сделать реальные шаги по развитию компании, составляет 60% опрошенных. Физическая вовлеченность очень высокая, и это связано именно со спецификой компании, поскольку ИТР регу-

лярно остаются работать после завершения трудового дня, решать «резко возникающие новые и креативные задачи», понимают важность решения задач по текущему проекту, который может требовать дополнительной нагрузки.

Только 13% не стали бы рекомендовать своим друзьям и знакомым организацию. Это показатель, означающий, что большинство сотрудников воспринимают работу в компании как приемлемую, соответствующую уровню региона. Однако многие ИТР (63%), проявили готовность уйти в другую компанию, если предложат лучшие условия. Это может говорить о высоком уровне «вынужденной лояльности» («синдром наемника») в организации, когда сотрудники преданы компании, имея выгоду в данный момент.

Наиболее значимыми принципами ИТР являются стремление к развитию, высокая квалификация и ответственность. Большая часть ИТР не видит перед собой однозначной цели компании, она для них размыта, также как многие не видят перспектив карьерного роста и дальнейшего развития. ИТР имеют базовые ценности трудовой сферы, также присутствует альтруистическая установка на изменения, через отдачу, инициативу и готовность помочь новичкам и коллегам (44%).

Культурная вовлеченность, по мнению авторов, низкая для организации подобного рода. Так, 74% ИТР не имеют особых ассоциаций, воспринимают организацию как место для трудовой деятельности. Также абсолютное большинство ИТР называет формальные цели организации, и, исходя из всех остальных подобных вопросов, можно сделать вывод, что сотрудники не видят иные задачи, которые может ставить перед собой предприятие.

В организации, тем не менее, присутствуют хорошие и конструктивные отношения с коллегами, позитивный климат трудового пространства, есть удовлетворенность условиями труда, что является причинами их работы в компании. Только 11% ИТР работают здесь, так как нет других вариантов. Социальная вовлеченность достаточно высока также еще и потому, что абсолютное большинство (93%) говорили о наличии в компании авторитетных (референтных) сотрудников и руководителей, на которых действительно стоит равняться. Это говорит о потенциале (возможно, имплицитном) компании в плане развития, взаимного обучения, создания совместных проектов и инноваций.

В целом уровень вовлеченности сотрудников можно представить следующим образом:

1. **«Элита» – 28%:** «Развитие компании», «Борьба за качество продукции», «выкладываюсь на 100%, остаюсь после работы»; «выступаю с предложениями», «передача навыков и умений коллегам».

2. **«Активные и ответственные» – 35%:** «Качественно, ответственно выполняю свои обязанности, повышаю квалификацию».

3. **«Функционалы» – 17%:** «Выполняю свои обязанности», «просто работаю».

4. **«Потерянные сотрудники» – 20%:** «Я не вижу своей роли», «я наемный работник», «никак не влияю», «нет незаменимых людей», «нет карьерного роста, думаю о переходе на другое место работы». Таким образом, более трети ИТР (37%) – (3-я и 4-я группы), исходя из ответов на данный вопрос, не имеют четкого представления о своей роли, не следуют сознательно цели компании.

Выводы

1. Строгое разделение активной позиции сотрудников на «вовлеченность исполнителя» («поддерживающая вовлеченность») и «вовлеченность руководителя» («развивающая вовлеченность») может дать понимание, с чем и как иметь дело руководителям создаваемой культуры. В первом случае возможна работа над постановкой глобальных задач и определения миссии, работы с ценностями, во втором – выработка диалогового пространства с другими равностоящими коллегами, формирования рабочих групп, структурирующих миссию компании, формирующих будущий образ и т.д. Нарративы о руководителях разных уровней должны укреплять общую «мифологию», объединять в общих интенциях, создавать миссию «снизу». Также важно уточнить, что развивающий тип вовлеченности связан с меньшей социальной дистанцией.

2. В целом исследование демонстрирует в очередной раз, что миссия и цель компании должны быть вписаны не только в формальные структуры и практики организации. Когда сотрудники соотносят собственные цели с целями организации, следуют общей атмосфере культуры, видят собственные точки роста, – происходит развитие и вовлечение в процесс. Это требует, с одной стороны, дисциплины, с другой – низкой социальной дистанции руководителя и подчиненного, которые в командном духе готовы вместе развиваться и решать любые проблемы индивидуального или общего характера.

3. Значимым аспектом атмосферы компании является возможность проявлять инициативу или хотя бы доносить свое мнение, которое должно быть так или иначе учтено, что является также важнейшей функцией позитивной коммуникативной среды в горизонтальном и вертикальном разрезе.

4. Исследование показало, что трудности коммуникации (социальная дистанция), отсутствие понимания общей цели и миссии приводят к тому, что сотрудники, сохраняя определенный уровень лояльности, превращаются в обычных функционалов с низким уровнем вовлеченности, не готовы проявлять инициативу, менять ситуацию, развиваться в целом. Оторванность высшего руководства от менеджеров и управленцев даже среднего звена напоминает классическую иерархическую систему XX в., подсвечивая общий культурный фон и контекст, в котором росли и воспитывались лидеры и руководители современности, который может оказывать также негативное влияние на вовлеченность сотрудников. Социальные конструкты не меняются быстро, они усваиваются и становятся частью «кожи» человека, и смена парадигмы управленца требует порой более серьезных усилий и рефлексии, не решается путем простого внедрения новых эффективных практик управления.

5. Возможность, а также реальное стремление развиваться и повышать свою квалификацию – это позитивная основа компаний подобного рода, которая мотивирует в целом на работу в организации и ее развитие.

Если организацию метафорически рассматривать как целостный человеческий организм, то становится очевидным, что ее образ, смыслы и ценности, «мифология» многое определяют и создают основу для гармоничного развития как внутри компании, так и ее взаимодействия с внешним миром.

Список источников

1. *Forrester*: исследовательская и консалтинговая компания: [официальный сайт]. 2024. URL: <https://www.forrester.com/bold> (дата обращения: 13.02.2024).

2. Рынок труда в 2023: тенденции и прогнозы SuperJob // Исследовательский центр портала Superjob.ru. 2023. URL: <https://russia.superjob.ru/research/articles/114374/rynok-truda-v-2023/?ysclid=lq6skl4npx997515422> (дата обращения: 6.02.2024).
3. Gallup: американский институт общественного мнения: [официальный сайт]. 2024. URL: <https://www.gallup.com/394373/indicator-employee-engagement.aspx> (дата обращения: 13.02.2024).
4. Хван В., Хоровитт Г. Тропический лес. Секрет создания следующей Силиконовой долины / пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. Томск : Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2012. 331 с.
5. Scott S.G., Bruce R.A. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace // Academy of Management Journal. 1994. Vol. 37, is. 3. P. 580–608.
6. Grinstein A., Goldman A. Characterizing the technology firm: An exploratory study // Research Policy. 2006. Vol. 35, is. 1. P. 121–143.
7. Lippert S. Organizational Culture in High Technology: Investigating Internal Integration and External Adaptation of High Tech Firms: Master Thesis. Leipzig Graduate School of Management, 2015. 89 p.
8. Kahn W.A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work // Academy of Management Journal. 1990. Vol. 33, is. 4. P. 692–724.
9. Macey W. The Meaning of Employee Engagement / W. Macey, B. Schneider // Industrial and Organizational Psychology. 2008. No. № 1. P. 3–30.
10. Miawati T., Sunaryo W., Yusnita N. Exploratory study of employee engagement // JHSS (Journal of humanities and social studies). 2020. Vol. 04, № 02. P. 102–106.
11. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. СПб.: Питер, 2002. 336 с.
12. Негруль С.В., Лосенкова Н.А. Формирование инновативных организационных культур: от идеологем к реальным социальным практикам // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 323. С. 73–80.
13. Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции: природа, логика формирования и функции // Социологические исследования. 1996. № 7. С. 47–55.
14. Berger U. Organisationskultur und der Mythos der kulturellen Integration // Profitable Ethik – effiziente Kultur: Neue Sinnstiftungen durch das Management? / Hg. W. Müller-Jentsch. München : R. Hampp, 1993. S. 11–38.
15. Sackmann S. Cultural Knowledge in Organizations: Exploring the Collective Mind. Newbury Park, CA : Sage Publications, 1991. 232 p.
16. Браун Д., Крамер И. Как управлять корпоративным племенем: прикладная антропология для топ-менеджера. М. : Альпина Паблишер, 2020. 405 с.
17. Пригожин А.И. Методы развития организаций. 2-е изд, перераб. и доп. М. : URSS, 2017. 842 с.
18. Bass B.M., Riggio R.E. Transformational Leadership. New York : Psychology Press, 2005. 296 p.
19. Greenleaf R.K. The Power of Servant-Leadership. Berrett-Koehler Publisher, Inc. San Francisco, 1998. 313 p.
20. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / пер. с англ. Б. Пинскера, И. Татариновой. Новое пересмотренное и доп. изд. М. : Олимп-Бизнес, 2009. 417 с.
21. French J.R., Raven B. The bases of social power. Univeristy of Michigan, Institute for Social Research, 1959. P. 151–163.
22. Schaufeli W., Bakker A. Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept // Work engagement: A handbook of essential theory and research / eds. A. Bakker, M. Leiter. New York : Psychology Press, 2010. P. 10–24.
23. Saks A.M. Antecedents and consequences of employee // Journal of Managerial Psychology. 2006. Vol. 21, is. 7. P. 600–619.
24. Кауштанова Е.В., Лобачева А.С., Ашурбеков Р.А. Современные модели вовлеченности персонала в компанию // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2023. № 3 (66). С. 30–36.
25. Shuck B., Osam K., Zigarmi D., Nimon K. Definitional and Conceptual Muddling: Identifying the Positionality of Employee Engagement and Defining the Construct // Human Resource Development Review. 2017. Vol. 16, is. 3. P. 263–293.
26. Mowday R.T., Porter L.W., Steers R.M. Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York : Academic Press, 1982. 253 p.

27. Allen N.J., Meyer J.P. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization // *Journal of Occupational Psychology*. 1990. Vol. 63, is. 1. P. 1–18.

References

1. Forrester: *A research and consulting company*. [Online] Available from: <https://www.forrester.com/bold> (Accessed: 13th February 2024).
2. Superjob.ru. (2023) *Rynok truda v 2023: tendentsii i prognozy SuperJob* [Labor market in 2023: trends and forecasts SuperJob]. [Online] Available from: <https://russia.superjob.ru/research/articles/114374/rynok-truda-v-2023/?ysclid=lq6skl4nxp997515422> (Accessed: 6th February 2024).
3. Gallup. (2024) *Employee Engagement*. [Online] Available from: <https://www.gallup.com/394373/indicator-employee-engagement.aspx> (Accessed: 13th February 2024).
4. Hwang, V. & Horovitt, G. (2012) *Tropicheskiy les. Sekret sozdaniya sleduyushchey Silikonovoy doliny* [Tropical Forest. The secret of creating the next Silicon Valley]. Translated from English by A.F. Uvarov. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.
5. Scott, S.G. & Bruce R.A. (1994) Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. *Academy of Management Journal*. 37(3). pp. 580–608.
6. Grinstein, A. & Goldman, A. (2006) Characterizing the technology firm: An exploratory study. *Research Policy*. 35(1). pp. 121–143.
7. Lippert, S. (2015) *Organizational Culture in High Technology: Investigating Internal Integration and External Adaptation of High Tech Firms*. Master Thesis. Leipzig Graduate School of Management.
8. Kahn, W.A. (1990) Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*. 33(4). pp. 692–724.
9. Macey, W. & Schneider, B. (2008) The Meaning of Employee Engagement. *Industrial and Organizational Psychology*. 1. pp. 3–30.
10. Miawati, T., Sunaryo, W. & Yusnita, N. (2020) Exploratory study of employee engagement. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*. 4(2). pp. 102–106.
11. Shane, E.H. (2002) *Organizatsionnaya kul'tura i liderstvo* [Organizational Culture and Leadership]. Translated from English by V.A. Spivak. St. Petersburg: Piter.
12. Negrul, S.V. & Losenkova, N.A. (2009) Formirovanie innovativnykh organizatsionnykh kul'tur: ot ideologem k real'nym sotsial'nym praktikam [Formation of innovative organizational cultures: From ideologies to real social practices]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 323. pp. 73–80.
13. Shcherbina, S.V. Organizatsionnaya kul'tura v zapadnoy traditsii: priroda, logika formirovaniya i funktsii [Organizational culture in the Western tradition: Nature, logic of formation and functions]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 7. pp. 47–55.
14. Berger, U. (1993) Organisationskultur und der Mythos der kulturellen Integration. In: Müller-Jentsch, W. (ed.) *Profitable Ethik – effiziente Kultur: Neue Sinnstiftungen durch das Management?* München: R. Hampp. pp. 11–38.
15. Sackmann, S. (1991) *Cultural Knowledge in Organizations: Exploring the Collective Mind*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
16. Brown, D. & Kramer, I. (2020) *Kak upravlyat' korporativnym plemenem: prikladnaya antropologiya dlya top-menedzhera* [How to manage a corporate tribe: Applied anthropology for a top manager]. Translated from English. Moscow: Al'pina Publisher.
17. Prigozhin, A.I. (2017) *Metody razvitiya organizatsiy* [Methods of Development of Organizations]. 2nd ed. Moscow: URSS.
18. Bass, B.M. & Riggio, R.E. (2005) *Transformational Leadership*. New York: Psychology Press.
19. Greenleaf, R.K. (1998) *The Power of Servant-Leadership*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
20. Senge, P. (2009) *Pyataya distsiplina. Iskustvo i praktika obuchayushcheyssya organizatsii* [Fifth Discipline. The Art and Practice of a Learning Organization]. Translated from English by B. Pinsker, I. Tatarinov. Moscow: Olimp-Biznes.
21. French, J.R. & Raven, B. (1959) *The Bases of Social Power*. Univeristy of Michigan, Institute for Social Research. pp. 151–163.
22. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2010) Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. In: Bakker, A. & Leiter, M. (eds) *Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research*. New York: Psychology Press. pp. 10–24.

23. Saks, A.M. (2006) Antecedents and consequences of employee. *Journal of Managerial Psychology*. 21(7). pp. 600–619.
24. Kashtanova, E.V., Lobacheva, A.S. & Ashurbekov, R.A. (2023) Sovremennyye modeli vovlechenosti personala v kompaniyu [Modern models of personnel involvement in the company]. *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii*. 3(66). pp. 30–36.
25. Shuck, B., Osam, K., Zigarmi, D. & Nimon, K. (2017) Definitional and Conceptual Muddling: Identifying the Positionality of Employee Engagement and Defining the Construct. *Human Resource Development Review*. 16(3). pp. 263–293.
26. Mowday, R.T., Porter, L.W. & Steers, R.M. (1982) *Employee Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover*. New York: Academic Press.
27. Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990) The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*. 63(1). pp. 1–18.

Сведения об авторах:

Негруль С.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: svetlight@bk.ru

Быков Р.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nimai.bykov@gmail.com

Быкова Е.Ю. – кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: bykova1117@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Negrul S.V. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: svetlight@bk.ru

Bykov R.A. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nimai.bykov@gmail.com

Bykova E.Yu. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of Social Work, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: bykova1117@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.02.2024;
одобрена после рецензирования 21.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 10.02.2024;
approved after reviewing 21.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 316.354:351/354

doi: 10.17223/1998863X/78/16

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ АУТОПОЙЕЗИСА К АНАЛИЗУ ГОРОДА КАК «ЖИВОЙ СИСТЕМЫ»

Сергей Владимирович Пирогов

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
pirogovosergei@yandex.ru*

Аннотация. Рассматривается город как «живая система», способная к саморазвитию. Система «город» как когнитивная система самостоятельна, самодостаточна и обладает собственной логикой изменений. Применение теории аутопойезиса Н. Лумана к анализу города позволяет рассмотреть конструктивное воздействие «города» на «общество». На урбанистическом материале рассматриваются указанные Луманом механизмы саморазвития систем: самореференция и инореференция, внутрисистемные противоречия, операциональный характер смысла.

Ключевые слова: самореферентные системы, живые системы, аутопойезис города

Для цитирования: Пирогов С.В. Возможности применения теории аутопойезиса к анализу города как «живой системы» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 195–205. doi: 10.17223/1998863X/78/16

Original article

THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE THEORY OF AUTOPOIESIS TO THE ANALYSIS OF THE CITY AS A “LIVING SYSTEM”

Sergey V. Pirogov

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,
pirogovosergei@yandex.ru*

Abstract. The article considers the city through the prism of Niklas Luhmann’s theory of systems. In the optics of Luhmann’s autopoietic systems, the city does not look like an object, but as a communication system and as a cognitive, self-referential system. The city as a communication system exists in various modes: text, dialogue, metaphysical idea, sociocultural project. As a cognitive system, the city exists as images of perception and representation. It is argued that the objective and semantic chaos of the urban environment acts as a direct synergetic mechanism for the development of the city. The “city” system as a cognitive system is independent, self-sufficient and has its own logic of change. Urban space exists as a continuous inversion of internal characteristics into the external environment and back. It was not society that “gave birth” to the city, but the city that transforms society. The city is a mechanism for the transition of a traditional society into a modern and postmodern one. The city is a driver of new social systems.

Keywords: self-referential systems, living systems, autopoiesis of city

For citation: Pirogov, S.V., Kaplyuk (2024) The possibilities of applying the theory of autopoiesis to the analysis of the city as a “living system”. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 195–205. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/16

Постнеклассическая методология Н. Лумана и необходимость нового взгляда на город

Переход к обществу постмодерна привел к появлению широкого спектра новых реалий и проблем. Изменение структуры и характера общества привели к появлению новых теорий и идей. В естествознании также появились новые концепции жизни. Прежде всего отметим теорию Сантьяго У. Матурана и Ф. Варела, которая легла в основу теории социальных систем Н. Лумана, концепция которого представляет стремление найти третий путь между сложившимися концепциями и новыми, постмодернистскими [1]. В социальной теории актуализируется коммуникативная проблематика, когда общество рассматривается как коммуникативный процесс, определяющий не только динамику, но и сущность социальных процессов.

Ослабление методологического принципа детерминизма в науке обуславливает то, что Луман, так же как и Матурана, ищет объяснение возникновения «порядка из хаоса» из рекурсивных, т.е. самообращенных процессов. Н. Луман сыграл большую роль в преодолении биологизма и антропоморфизма в трактовке социальных систем. Общество, по Луману, – коммуникативная сеть, а не социальная структура, условием существования общества является непрерывный процесс самопознания и изменения представлений о самом себе. «Теоретические ресурсы... мы заимствуем не из дисциплинарной социологической традиции, а вводим в социологию извне... например, кибернетика, когнитивные науки, теория коммуникации...» [2. С. 64]. Н. Луман, развивая теорию аутопойезиса Матурана, создает теорию самореферентных систем, основным вопросом которой является следующий: как самореферентная закрытость могла бы производить открытость? Это вопрос о механизмах саморазвития аутопойетических систем.

Такой взгляд на социальные системы, на наш взгляд, эвристичен по отношению к городу. Традиционный взгляд на город – как на явление, производимое обществом: какое общество – такие и города. Здесь город – «зеркало» или «сцена» общества, «лаборатория (пост-)модерна». Но существует и другая традиция: рассматривать возникновение города с позиции полифакторности и существования собственных механизмов саморазвития города, идущая от М. Вебера. У городов есть собственная логика жизни. Во-первых, города гетерогенны – демонстрируют разнообразие паттернов городских систем. «Город – это про гетерогенность. Он создается не тем, что в нем есть, а степенью различия между тем, что в нем есть» [3]. Во-вторых, города индивидуальны: показывают собственный тренд развития, «судьбу»: «городской габитус» [4]. В-третьих, у каждого города свои «ландшафты знания» [4], «воображаемое города» – когнитивная модель или карта городского пространства; разные города – разные когнитивные системы [5]. В-четвертых, что представляется нам особенно важным, города с момента своего появления представляли собой альтернативный образ жизни традиционному обществу, как показал М. Вебер [6]. Наконец, в-пятых, города демонстрируют относительную независимость от управленческого воздействия: «Реализация „генеральных“ планов городов в среднем составляет лишь 20–30%» [7].

На фоне развития синергетической и постмодернистской методологий вновь зазвучал зиммелевский вопрос «Как возможно общество?», который

относится и к городу, поскольку город, как показали Вебер и Зиммель, являл собой новый тип социальных отношений. Возникает вопрос: почему социальные системы (типы связей и отношений) сменяются другими? Собственно говоря, мы имеем все те же вопросы и по отношению к обществу, и по отношению к городу: проблема факторов возникновения и изменения города; проблема механизмов изменения социальных систем; проблема онтологии города: какие характеристики города делают его собственно городом и саморазвивающейся системой.

Эти же проблемы обсуждает и Луман: проблему порядка (какова природа социальных систем); проблему когнитивных механизмов саморазвития; проблему самореферентности как способа существования и основной характеристики аутопойетических систем. При этом осуществляет трансферт знаний из естествознания в гуманитарные науки.

Развитие концепта живых систем (ЖС) шло как со стороны естественных наук, так и гуманитарных. Были выделены характеристики ЖС, применимые как для биологических, так и для социальных систем. Структурной особенностью ЖС является их диссипативность – способность переструктурировать информацию среды как «чужую» в свое. С поведенческой стороны ЖС демонстрирует устойчивый поведенческий тренд. Эти характеристики обусловлены способностью к выделению и репродукции значимой для нее информации – самореферентностью системы. В итоге ЖС обладает способностью поддержания целостности, определяемой как аутопойетичность системы. По этим характеристикам есть основания рассматривать город как ЖС [8].

Когнитивный характер аутопойетической системы. Город как когнитивная система

В основе всей теории У. Матурана и Ф. Варела лежит тезис о тождественности познавательных и экзистенциальных процессов [9]. Аутопойетичность есть не атрибутивная, а эмерджентная характеристика ЖС, обусловленная организацией (паттерном) самой системы. «Живые системы – это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания. Это утверждение действительно для всех организмов, как располагающих нервной системой, так и не располагающих ею» [10. С. 103]. Взаимодействие живой системы со средой следует понимать не как механическую реакцию на внешние воздействия, а как процесс конструирования когнитивной модели среды, исходя из свойств самой системы: т.е. система реагирует только на то, что значимо для самой системы. Познание есть не отражение внешней реальности, а *самовоспроизводство*, самоподтверждение свойств самой системы, но, разумеется, в рамках возможностей, предоставляемых средой.

Таким образом, ЖС не отражает, а конструирует реальность, творит свой мир. «Мы не видим, чего именно мы не видим, а то, что мы не видим, не существует» [11. С. 213]. Такую точку зрения на взаимоотношение ЖС и среды разделяет ряд отечественных авторов [12, 13].

Итак, живые системы – это когнитивные системы. Самовоспроизводительность (аутопойезис) как условие устойчивости и выживаемости возникает тогда, когда система имеет «знания»: 1) о самой себе, своей специфике и уникальности, о своих системных потребностях; 2) о внешней среде – может

распознавать и познавать среду. Самореференция и инореференция – взаимосвязанные процессы, в основе которых лежит принцип структурной сопряженности системы и окружающей среды: реакция системы на внешнее воздействие обусловлена свойствами самой системы.

Город – это определенное знание о городе – образы восприятия и представления. «Перенос акцента с проблем существования города (т.е. ответа на вопрос, что есть город, в том числе на вопрос, что есть теоретически правильный, идеальный город) на проблемы содержания (т.е. ответа на вопрос, *чем является город для разных групп людей*, что совместно удерживается ими как общее достояние и персональный ресурс) – это наиболее глубинное отличие современной философии города от господствовавшей на протяжении последних столетий» [14]. Город как когнитивная конструкция существует в двух формах: как образ города в сознании горожан – город для людей и как миф города – город для себя. Эти формы взаимопересекаются, создавая палимпсест города. Здесь можно вспомнить рассуждения Лумана о множественности систем коммуникации.

Образ города – когнитивная конструкция, задающая типичу восприятия и поведения [15]. Миф города – представления, обозначающие «организацию в сознании прошлого и настоящего опыта восприятия окружающей среды... Представление можно определить как когнитивную структуру или закодированную систему, позволяющую индивиду должным образом реагировать на изменяющийся характер проявления сигналов внешней среды. Представления сами по себе весьма динамичны, открыты к адаптации нового материала, однако избирательны к тому, что адаптировать» [16. С. 67]. Миф города – текстуальная реальность – семиотическая конструкция реальности, формирующейся в историко-культурном процессе. Образ и миф соединяются в «феномен места», существующий в форме дискурсов горожан о «месте», и основанное на них восприятие и отношение к этому «месту».

Можно предложить следующие типы когнитивных моделей «места»: перцептивные образы реальности, феноменологические образы реальности, концепции или теоретические схемы, проективные схемы. Важно подчеркнуть, что город как когнитивная система есть не модель-репрезентант реальности, а модель-конструкция реальности. Представление о городе как когнитивной модели позволяет применять методологию радикального конструктивизма и логику рассуждений Лумана.

Коммуникативная онтология Н. Лумана и коммуникативная природа города

Теория Н. Лумана нацелена на выявление общих характеристик аутопойетических систем; общество является «частным случаем»: «В противоположность основным постулатам философской традиции, самописание (или „рефлексия“) ни в коем случае не является особой отличительной чертой мышления, а наоборот выступает всеобщим принципом системного построения» [17. С. 114]. Суть этого принципа – оперативная замкнутость паттерна системы: система стремится сохранить свою организацию и реагирует только на то, что для нее значимо, на то, что она способна «увидеть» во внешней среде. «Социальная система устанавливается всегда, когда осуществляются аутопойетические отношения коммуникации, которые отделяются от внеш-

ней среды через ограничение соответствующих коммуникаций. Социальная система состоит, таким образом, не из людей или действий, а из коммуникаций» [18. С. 127]. Элементами социальной системы при таком понимании оказываются коммуникации, а не люди или их действия. Термин «коммуникация» у Лумана имеет собственное содержание. Проблематика коммуникации у Хабермаса – проблематика языка: как посредством языка субъекты соотносят свои представления о мире и координируют свои действия. Проблематика коммуникации у Лумана – проблематика системы: как система согласует свою организацию с внешней средой [19]. Коммуникации не повторяются с абсолютной точностью. Луман считает, что аутопойетическое воспроизводство систем не есть точное повторение уже существующего: «...коммуникация создает на каждом своем шаге бифуркацию восприятия и отклонения. Каждое коммуникативное событие закрывает и открывает систему. Только благодаря этой бифуркации может иметь место история, ход которой зависит от того, какое направление будет избрано: „да“ или „нет“» [20].

Выделим аналитически две системы («общество» и «город») и рассмотрим, как они соотносятся. «Город» в определенном смысле противопоставлен «обществу», так как городское пространство коммуникации отличается от «не городского». То, что городской социум и коммуникация в городе устроены иначе, показал М. Вебер. Характерными чертами городского пространства взаимодействия являются социокультурная гетерогенность, интенция на разнообразие и инновацию, личностное восприятие пространства [21]. Луман полагал, что появление письменности радикально изменило коммуникацию, но письменность появилась в городе и ее необходимость вытекала из гетерогенности пространства города. Система «город» по отношению к системе «общество» – генератор инновационности. К коммуникативному пространству города полностью применима фраза Лумана: «как будто пульсирует, постоянно создавая избыток и производя селекцию» [17. С. 117].

Город как система коммуникаций существует в различных модусах или способах существования.

Во-первых, как текст. Этот модус существования проанализирован многогранно.

Во-вторых, как диалог. Луман обращает внимание на то, что несмотря на хаос коммуникативных сетей, существует диалог коммуникаций. Диалог города разворачивается в различных пространствах: в пространстве межличностного общения; в пространстве культурно-исторической памяти городской среды; в пространстве архитектурных композиций (диалог архитектурных ансамблей, диалог отдельных городов) и др. [22]. Память, по Луману, – это не хранилище информации. Это отбор информации, это система ожиданий и диспозиций. Города имеют историю, которая продолжает жить в «теле» города. Габитус города, с одной стороны, опредмеченная история, с другой – схема пространственного поведения, «контурная карта» стратегий и практик, стилей и диспозиций.

Третий модус коммуникативной системы города – город как метафизическая идея и замысел. Город появляется как форма социокультурного проектирования образа жизни и среды обитания, как конструкция некоторой аутопойетической системы. «Город – это определенная культурная идея, причем онтологическая, рамочная, конституирующая все остальное. Она кладется в

основание всякого проектирования в качестве исходного, предельного замысла, идеала» [23]. Среда обитания и образ жизни являются производными от коммуникативной системы города. В этом плане М. Вебер рассуждает о европейском городе, который являл собой новый тип социальных отношений – корпорацию. Вебер показывает, что реальность городского общества возникает как сеть взаимодействий, как бесчисленные практики в повседневной жизни, как паутина связей, отношений, смыслов. Можно говорить и о специфике русского города [24].

Город является драйвером новых социальных систем. Коммуникативную систему города можно метафорически обозначить как «душу города», которая запускает и поддерживает аутопойезис города – создание и распространение особой среды и образа жизни.

В-четвертых, коммуникативная система города существует как генератор событий. «Город – совокупность событий, а не зданий и горожан» [25]. События существуют не сами по себе, а возникают в процессе наблюдения. «Наблюдать – значит просто... различать и обозначать. С помощью понятия наблюдения учитывают то, что „различение и обозначение“ являются одной единственной операцией...» [2. С. 73]. Событие начинается с наблюдения и завершается наблюдением. Концепт «событие» появляется в контексте проблемы соотношения необходимости и случайности, вновь поднятой в синергетике. Если факт есть результат каузальной связи между явлениями, то событие возникает как интерференция коммуникативных систем различной природы: функционально-позиционной – как взгляд из позиции: статусной, мировоззренческой; темпоральной – как «переключки эпох»: прошлого и будущего; опытно-практического происхождения: опыта перцептивного восприятия (мое событие), опыта рефлексивного анализа (надуманное событие), коммуникативного опыта согласования значений предметов и смыслов ситуаций (наше событие), опыта интенционального переживания (жизненное событие). Коммуникативное пространство города – континуум пересекающихся коммуникативных полей.

Событие – смысловой комплекс. По Луману, «смысл – это продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением какому-либо творению, учреждению или источнику...» [2. С. 51]. Смысл – результат различения, «Для образования смысла, однако, как раз и требуется некоторая другая сторона формы, именно внешняя сторона в виде пространства других возможностей...» [2. С. 54]. Смысл существует на границе системы и окружающей среды и является результатом как самореференции, так и инореференции. Процесс взаимодействия системы «город» с окружающей средой будет проанализирован далее.

Аутопойезис как процесс формирования «порядка из хаоса»

Понятие аутопойезиса и коммуникативной онтологии ориентирует на рассмотрение ЖС как на самопознающую и самоописывающую систему. Но в то же время ЖС меняется, развивается. Луман формулирует это парадоксально: замкнутость является предпосылкой открытости системы. Почему и как это происходит? Луман указал на ряд механизмов саморазвития систем, которые применимы к системе «город». Сформулируем их следующим обра-

зом: 1) самореференции и инореференции как фазы самопознания; 2) внутрисистемные противоречия: гетерогенность системы город как пространство множественности миров и контрастность пространства; 3) смысл как механизм и сохранения и изменения системы, операциональный характер смысла.

Самореференция и инореференция

Самореференция – механизм стабилизации системы. Понятие *самореферентности* систем означает, что системы способны существовать и воспроизводить себя, обращаясь только к собственным операциям. Однако чистая самореференция, не использующая других коммуникаций, приводит к тавтологии. «Но можно, в общем и целом, предположить, что в конце концов устарелость самоописаний и неправильная ориентация самонаблюдений бросится в глаза; что значительная степень рассогласования окажется для них невыносимой и что утеря реальности в самоописаниях даст повод для корректировок...» [26. С. 194]. Самореференция как процесс формирования идентичности системы сосуществует с инореференцией. Инореференция обозначает отсылку к другому, чужому, и тем самым создает комплексный динамичный процесс. «Самоутверждение» системы осуществляется за счет внешней среды. Различение системы и среды – условие как саморепродукции, так и дальнейшего развития системы. Город, возникший как антитеза традиционному обществу, являет собой «противоречия между *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*», «общиной» и «обществом», «единым» и «целым», «бытием» и «сущим» – противоречия, которые составляют важнейший элемент социальной и ментальной истории «осевого времени» [27. С. 18]. Городское пространство существует как непрерывная инверсия внутренних характеристик во внешнюю среду и обратно. Не общество «породило» город, а город трансформирует общество: город – механизм перехода традиционного общества в модернистское и постмодернистское. «На сегодня город, как доминирующий образ урбанизированного уклада современной жизни, задает характеристики современного общества, траектории его изменения и проблемы» [28].

Внутрисистемные противоречия: гетерогенность системы «город» как механизм его изменения. Различение системы и среды еще не есть порядок. Внутри системы может быть хаос в силу избыточности содержания системы. «Благодаря выделению системы из того, что остается в качестве окружающего ее мира, возникают внутренние игровые пространства свободы, поскольку детерминация системы ее окружающим миром теряет свою силу. Итак, аутопойезис в его правильном понимании означает, прежде всего, порождение внутрисистемной неопределенности» [2. С. 70]. Предметный и смысловой хаос городской среды выступает непосредственным синергетическим механизмом развития города. Новое в городской среде возникает в результате спонтанного, неожиданного, незапланированного столкновения и последующего взаимодействия разнородных элементов. Хаос городской жизни здесь является генератором случайности, генератором разнообразия, из которого складывается новое единство, рождается новая структура. Синергетика «реабилитирует» роль случайности как механизм формирования систем. «Система как будто пульсирует, постоянно создавая избыток и производя селекцию» [17. С. 116]. Аутопойетическое воспроизводство систем не есть точное повторение уже существующего. Случайность Луман называет контингенци-

ей – противоречивость и неопределенность выбора. Различия «всегда контингентны», т.е. они могли бы быть осуществлены и иначе [29. С. 34].

В системе накапливаются неточности самореферентности и ошибки наблюдения и «в конце концов устарелость самоописаний и неправильная ориентация самонаблюдений бросится в глаза...» [26. С. 194]. С точки зрения самой системы, окружающий мир оказывает на нее случайные воздействия. Но эта случайность является необходимой для эмерджентности порядка.

Система «город» состоит из ряда жизненных миров. Так, например, А. Смирнов выделяет такие, как миф, деятельность, природа, техника [23]. Похожая логика у Л. Болтански и Л. Тевено, когда они выделяют способы обоснования видов деятельности, называя их «градами» [30].

Рассуждая о коммуникации в логике Н. Лумана, можно понимать коммуникативное пространство города как диалог коммуникативных подпространств, которые, актуализируясь, дают основания для различных дефиниций города. «Городская жизнь концентрируется вокруг идеи множественности миров... Город-коммуникатор предполагает стремление к накоплению *форм персонализации способов проживания* и соотнесения их в едином пространстве отношений, то есть возможности умножать эти формы за счет взаимопотребления ресурсов (информации, свободного времени, связей)...» [14]. Смысл в системе коммуникации, по Луману, носит операциональный характер – переключатель коммуникативных подпространств. «Смысл существует исключительно как смысл использующих его операций...» [2. С. 46]. Смена смысла – актуализация модусов существования или «идей города». Смысл города – объединение множества миров, город – система коммуникации и интеграции гетерогенных сообществ.

Заключение

В оптике аутопойетических систем Н. Лумана город выглядит не как объект, а как система коммуникаций и как когнитивная, самореферентная система. Взаимодействие с внешней средой («обществом») определяется паттерном системы «город» как «живой системы, обладающей способностью к выделению и репродукции значимой для нее информации. Происходит не обмен информацией между «городом» и «обществом», а конструктивное воздействие «города» на «общество». Система «город» как когнитивная система самостоятельна, самодостаточна и обладает собственной логикой изменений. Город является драйвером новых социальных систем. Коммуникативное пространство города существует как непрерывная инверсия внутренних характеристик во внешнюю среду и обратно. Источником инновационности системы «город» является гетерогенность системы. Механизмы инновационности – аттрактивные структуры: образ, миф, события.

В силу указанных характеристик города как «живой системы» развитие и управление городом возможны как когнитивное управление – управление посредством знаний. Эта тема требует отдельной проработки.

Список источников

1. Севастов К.В. Теория социальных систем Никласа Лумана: постмодернистский характер дескрипторов общества // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2022. № 4. С. 42–47.

2. Луман Н.Л. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновский. М. : Логос, 2004. 232 с.
3. Вахитайн В. Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах. URL: <https://dzen.ru/b/YhTiLk44bGMSD8f1> (дата обращения: 04.07.2023).
4. Собственная логика городов: новые подходы в урбанистике. М. : Новое лит. обозрение, 2017. 420 с.
5. Пирогов С.В. Город как феномен культуры: когнитивный подход // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 2. С. 31–37.
6. Пирогов С.В. Историческая социология города М. Вебера и современные урбанистические исследования // Визуальная антропология – 2022. Исторический город: актуализация прошлого в перспективе будущего : материалы IV Междунар. науч. конф. 22–23 сентября 2022 г. Великий Новгород, 2022. С. 140–146.
7. Анисимов А.Н. Синергетический метод градостроительного проектирования. URL: http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz22_pril/24/template_article-ar%3DK21-40-k36.htm (дата обращения: 05.03.2023).
8. Пирогов С.В. Синергетика как методология изучения и управления городом // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Т. 12, № 3–4А. С. 43–50.
9. Патов Н.А. Биологическая концепция языка в теории аутопоiesиса У. Матураны и Ф. Варелы // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2015. № 4 (88). С. 60–66.
10. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М. : Прогресс, 1996. С.95–142.
11. Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Биологические корни человеческого познания. М. : Прогресс-Традиция, 2001. 224 с.
12. Князева Е.Н. Конструктивистская эпистемология // Философские науки. 2010. № 11. С. 88–103.
13. Ласицкая Э. В. Концепция автопоiesиса: бытие, познание, деятельность // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 4. С. 14–16
14. Никитин В.А., Никитина Е.Н. Принцип города: организационное представление. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/H/nikitin-vladimir-afrikanovich/princip-goroda-organizacionnoe-predstavlenie> (дата обращения: 18.02.2024).
15. Пирогов С.В., Петухов А.С. Феноменолого-когнитивная концепция города и ее теоретические экстраполяции. // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6, № 3А. С. 120–130.
16. Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. М. : Прогресс, 1990. 340 с.
17. Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114–124.
18. Луман Н. Глоссарий // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 125–127.
19. Лоскутникова В.М. Хабермас и Луман: два подхода к исследованию процессов коммуникации в современном обществе // Гуманитарная информатика. Вып. 1. 2011. URL: http://huminf.tsu.ru/jurnal/vol1/lvm_habermas_luman/ (дата обращения: 12.01.2024).
20. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / под ред. А.О. Бороноева. СПб., 1994. С. 25–42. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/96-03-004-luman-n-ponyatie-obschestva-problemy-teoreticheskoy-sotsiologii-pod-red-boronoeva-a-o-spb-1994-s-25-42> (дата обращения: 18.02.2024).
21. Пирогов С.В. Социология города. М. : Новый учебник, 2004. 207 с.
22. Яковенко И.Г. Город в пространстве диалога культур и диалог города // Социокультурное пространство диалога. М. : Наука, 1999. С. 90–101.
23. Смирнов С.А. Антропология города, или о судьбах философии урбанизма в России. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/smirseal/ancity_1.html (дата обращения: 12.04.2023).
24. Ванчугов В.В. Москвитология и петербургология: философия города. М., 1997. 224 с.
25. Вахитайн В. Город – совокупность событий, а не зданий и горожан. URL: <https://conflictmanagement.ru/gorod-sovokupnost-sobytij-a-ne-zdaniy-i-gorozhan/> (дата обращения: 12.04.2023).
26. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИОЛОГОС. М. : Прогресс, 1991. С. 194–218.
27. Шипилов А.В. Смысл города и город-смысл // Человек. 2006. № 1. С. 5–18.
28. Волков В.Е. Осмысленность города. URL: <http://www.circleplus.ru/content/summa/26> (дата обращения: 10.04.2023).
29. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб. : Наука, 2007. 648 с.

30. Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов М. : Новое лит. обозрение, 2013. 576 с.

References

1. Sevastov, K.V. (2022) Teoriya sotsial'nykh sistem Niklasa Lumana: postmodernistskiy kharakter deskriptorov obshchestva [Niklas Luhmann's theory of social systems: Postmodern character of society descriptors]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsiologiya*. 4. pp. 42–47.
2. Luhmann, N.L. (2004) *Obshchestvo kak sotsial'naya sistema* [Society as a social system]. Translated from German by A. Antonovskiy. Moscow: Logos.
3. Vakhshayn, V. (n.d.) *Kto ne khotel byt' klounom u urbanistov, stanovilsya urbanistom pri klounakh* [Whoever did not want to be a clown among urbanists became an urbanist under clowns]. [Online] Available from: <https://dzen.ru/b/YhTiLk44bGMSD8fl> (Accessed: 4th July 2023).
4. Lev, M., Berking, H. & Lindner, R. (2017) *Sobstvennaya logika gorodov: novye podkhody v urbanistike* [Cities' own logic: new approaches in urbanism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
5. Pirogov, S.V. (2011) Gorod kak fenomen kul'tury: kognitivnyy podkhod [The city as a cultural phenomenon: A cognitive approach]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Culturology and Art History*. 2. pp. 31–37.
6. Pirogov, S.V. (2022) Istoricheskaya sotsiologiya goroda M. Vebera i sovremennye urbanisticheskie issledovaniya [Historical sociology of the city by M. Weber and modern urban studies]. *Vizual'naya antropologiya – 2022. Istoricheskiy gorod: aktualizatsiya proshlogo v perspektive budushchego* [Visual anthropology – 2022. Historical City: Actualization of the Past in the Perspective of the Future]. Proc. of the Fourth International Conference. September 22–23, 2022. Velikiy Novgorod. pp. 140–146.
7. Anisimov, A.N. (n.d.) *Sinergeticheskiy metod gradostroitel'nogo proektirovaniya* [Synergetic Method of Urban Planning]. [Online] Available from: http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz22_pril/24/template_article-ar%3DK21-40-k36.htm (Accessed: 5th March 2023).
8. Pirogov, S.V. (2023) Sinergetika kak metodologiya izucheniya i upravleniya gorodom [Synergetics as a methodology for studying and managing a city]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke*. 12(3–4A). pp. 43–50.
9. Patov, N.A. (2015) Biologicheskaya kontseptsiya yazyka v teorii autopoiesisa U. Maturany i F. Varely [Biological concept of language in the theory of autopoiesis by U. Maturana and F. Varela]. *Vestnik chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ya. Yakovleva*. 4(88). pp. 60–66.
10. Maturana, U. (1996) Biologiya poznaniya [Biology of cognition]. In: Petrov, V.V. (ed.) *Yazyk i intellect* [Language and Intelligence]. Translated from English. Moscow: Progress. pp.95–142.
11. Maturana, U. & Varela, F. (2001) *Drevo poznaniya. Biologicheskie korni chelovecheskogo poznaniya* [The Tree of Knowledge. Biological Roots of Human Cognition]. Moscow: Progress-Traditsiya.
12. Knyazeva, E.N. (2010) Konstruktivistskaya epistemologiya [Constructivist epistemology]. *Filosofskie nauki*. 11. pp. 88–103
13. Lasitskaya, E.V. (2011) Kontseptsiya avtopoezisa: bytie, poznanie, deyatelnost' [The concept of autopoiesis: being, knowledge, activity]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta*. 11(4). pp. 14–16
14. Nikitin, V.A. & Nikitina, E.N. (n.d.) *Printsip goroda: organizatsionnoe predstavlenie* [The City Principle: An Organizational View]. [Online] Available from: <https://litresp.ru/chitat/ru/N/nikitin-vladimir-afrikanovich/princip-goroda-organizacionnoe-predstavlenie> (Accessed: 18th February 2024).
15. Pirogov, S.V. & Petukhov, A.S. (2017) Fenomenologo-kognitivnaya kontseptsiya goroda i ee teoreticheskie ekstropol'yatsii [The phenomenological-cognitive concept of the city and its theoretical extrapolations]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke*. 6(3A). pp. 120–130.
16. Gold, J. (1990) *Psikhologiya i geografiya. Osnovy povedencheskoy geografii* [Psychology and geography. Fundamentals of behavioral geography]. Moscow: Progress.
17. Luhmann, N. (1995) Chto takoe kommunikatsiya? [What is communication?]. *Sotsiologicheskii zhurnal*. 3. pp. 114–124.
18. Luhmann, N. (1995) Glossariy [Glossary]. *Sotsiologicheskii zhurnal*. 3. pp. 125–127.
19. Loskutnikova, V.M. (2011) Khabermas i Luman: dva podkhoda k issledovaniyu protsessov kommunikatsii v sovremennom obshchestve [Habermas and Luhmann: two approaches to the study of communication processes in modern society]. *Gumanitarnaya informatika*. 1. [Online] Available from: http://huminf.tsu.ru/jurnal/vol1/lvm_habermas_luman/ (Accessed: 12th January 2024).

20. Luhmann, N. (1994) Ponyatie obshchestva [The concept of society]. In: Boronoev, A.O. (ed.) *Problemy teoreticheskoy sotsiologii* [Problems of Theoretical Sociology]. St. Petersburg: [s.n.]. pp. 25–42. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/96-03-004-luman-n-ponyatie-obshchestva-problemy-teoreticheskoy-sotsiologii-pod-red-boronoeva-a-o-spb-1994-s-25-42> (Accessed: 18th December 2024).
21. Pirogov, S.V. (2004) *Sotsiologiya goroda* [Sociology of the City]. Moscow: Novyy ucheb-nik.
22. Yakovenko, I.G. (1999) Gorod v prostranstve dialoga kul'tur i dialog goroda [The city in the space of dialogue of cultures and the dialogue of the city]. In: Sayko, E.V. (ed.) *Sotsiokul'turnoe prostranstvo dialoga* [Sociocultural Space of Dialogue]. Moscow: Nauka. pp. 90–101.
23. Smirnov, S.A. (n.d.) *Antropologiya goroda, ili o sud'bakh filosofii urbanizma v Rossii* [Anthropology of the City, or the Fate of the Philosophy of Urbanism in Russia]. [Online] Available from: http://anthropology.ru/ru/texts/smirseal/ancity_1.html (Accessed: 12th April 2023).
24. Vanchugov, V.V. (1997) *Moskvosofiya i peterburgologiya: filosofiya goroda* [Moscowosophy and St. Petersburgology: Philosophy of the City]. Moscow: [s.n.].
25. Vakhshayn, V. (n.d.) *Gorod – sovokupnost' sobytiy, a ne zdaniy i gorozhan* [A city is a set of events, not buildings and citizens]. [Online] Available from: <https://conflictmanagement.ru/gorod-sovokupnost-sobytiy-a-ne-zdaniy-i-gorozhan/> (Accessed: 12th April 2023).
26. Luhmann, N. (1991) Tautologiya i paradoks v samoopisaniyakh sovremennogo obshchestva [Tautology and paradox in self-descriptions of modern society]. In: Vinokurov, V.V. & Filippova, A.F. (eds) *SOTSIO-LOGOS* [SOCIO-LOGOS]. Moscow: Progress. pp. 194–218.
27. Shipilov, A.V. (2006) Smysl goroda i gorod-smysl [The meaning of the city and the city-meaning]. *Chelovek*. 1. pp. 5–18.
28. Volkov, V.E. (n.d.) *Osmyslennost' goroda* [The meaning of the city]. [Online] Available from: <http://www.circleplus.ru/content/summa/26> (Accessed: 10th April 2023).
29. Luhmann, N. (2007) *Sotsial'nye sistemy. Ocherk obshchey teorii* [Social Systems. Essay on General Theory]. St. Petersburg: Nauka.
30. Boltanski, L. & Teveno, L. (2013) *Kritika i obosnovanie spravedlivosti: ocherki sotsiologii gradov* [Criticism and Justification of Justice: Essays on the Sociology of Cities]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Сведения об авторе:

Пирогов С.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: pirogovosergei@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Pirogov S.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: pirogovosergei@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 02.02.2024;
одобрена после рецензирования 22.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 02.02.2024;
approved after reviewing 22.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 327.3
doi: 10.17223/1998863X/78/17

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Алена Денисовна Лисенкова

*Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия, alena.denisovna@yandex.ru*

Аннотация. Охарактеризовано влияние кризиса в отношениях с Российской Федерацией на состояние атомно-энергетического сектора Европейского союза. Сопоставлены амбиции по «энергетическому переходу» и уровень зависимости от российских поставок и технологий у государств-членов. Несмотря на снижение доли атомной энергетики в энергетическом балансе, отмечена ее значимая «переходная» роль и маловероятность полноценного эмбарго.

Ключевые слова: Европейский союз, атомная энергетика, «энергетический переход», энергетическая безопасность, изменение климата

Благодарности: исследование выполнено в рамках инициативной НИР СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, номер в системе ЕГИСУ НИОКТР 122112900010-9.

Для цитирования: Лисенкова А.Д. Атомная энергетика в Европейском союзе в условиях кризиса в отношениях с Российской Федерацией // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 206–214. doi: 10.17223/1998863X/78/17

POLITICAL SCIENCE

Original article

NUCLEAR ENERGY IN THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF THE CRISIS IN RELATIONS WITH THE RUSSIAN FEDERATION

Alena D. Lisenkova

*North-West Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, Saint Petersburg, Russian Federation,
alena.denisovna@yandex.ru*

Abstract. This article characterizes the influence of the crisis in relations with the Russian Federation on the state of the nuclear energy sector of the European Union. The author considers the climatic role of low-carbon nuclear power in the energy transition, energy

security issues, and the level of dependence on Russian supplies and technologies, as well as the problem of anti-Russian nuclear sanctions. Despite the fact that only 12 member states have their own nuclear power plants, the issue of nuclear energy is a rather acute one for the EU with many contradictions among its member states. There are debates both on the justification of the transitional role in general and on the possibility of further co-operation with Russia in particular. For example, Germany has closed its last NPPs, Lithuania insists on anti-Russian sanctions, France intends to expand its nuclear power infrastructure, and Hungary has no plans to give up either supplies or joint projects. At the same time, not all owners of Soviet/Russian VVER reactors share the position of the latter. Some of them seek comprehensive diversification. These countries are the most vulnerable, as they depend not only on nuclear power in general, but also on fuel supplies and Russian technologies in particular. This differentiation in views casts doubt on the possibility of a full-fledged nuclear embargo. Moreover, according to Euratom, due to the desire to increase crisis stocks for a number of components and Rosatom's unique ability to work on each stage of the nuclear fuel cycle, in some directions supplies from Russia have only increased.

Keywords: European Union, nuclear energy, energy transition, energy security, climate change

Acknowledgements: The study was carried out within the framework of the initiative research of the North-West Institute of Management (branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration), No. 122112900010-9.

For citation: Lisenkova, A.D. (2024) Nuclear energy in the European Union in the context of the crisis in relations with the Russian Federation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 206–214. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/17

Введение

На 2024 г. только 12 государств – членов Европейского союза (ЕС) имеют действующие атомные электростанции (АЭС). Ранее, в ночь на 16 апреля 2023 г., три последние функционировавшие АЭС отключила Германия. Еще в 1990 г. от атомной энергетики полностью отказалась Италия, а в 2009 г. под давлением ЕС единственную станцию закрыла Литва. Обосновывая свои действия соображениями безопасности поставок, экологической политики и либерализации энергорынка, Евросоюз применил подобную практику и к другим бывшим участникам социалистического блока, что привело к выводу из эксплуатации ряда реакторов (например, в Словакии) [1. Р. 10; 2. С. 45]. Однако на современном этапе некоторые члены Европейского союза, будь то Венгрия, Словакия или Франция, расширяют свою атомно-энергетическую инфраструктуру [3. Р. 155; 4. С. 92], а Польша, несмотря на инвестиционные проблемы, давно нацелена на строительство первой АЭС в стране [5. Р. 89–90].

Вопрос атомной энергетики в Европейском союзе вызывал разногласия у государств-членов задолго до острой фазы кризиса в отношениях с Российской Федерацией. С одной стороны, ряд стран опасался схожих с авариями на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и АЭС «Фукусима-1» (2011 г.) потенциальных последствий [6. Р. 17–18]. С другой стороны, в 2022 г. в ЕС определенные типы атомной энергетической деятельности были обозначены «переходными»: строительство атомных электростанций (лицензии до 2045 г.), продление срока их эксплуатации (лицензии до 2040 г.) и инновационные технологии (реакторы поколения IV). В совокупности условия функционирования сведены к минимизации выбросов парниковых газов и рисков от топливного

цикла, соответствию инфраструктуры международным стандартам, нормативно-правовым основам ЕС и безопасности эксплуатации [7].

Для определения состояния атомной энергетики ЕС в условиях кризиса в отношениях с Российской Федерацией (РФ) автором проводится сопоставление с амбициями ЕС по «энергетическому переходу», а также характеризуется уровень энергетической зависимости от России, состояние антироссийских санкций и атомно-энергетических поставок из данной страны.

Атомная энергетика в ЕС и «энергетический переход»

По подсчетам оксфордского портала Our World in Data, атомная энергетика является гораздо более благоприятной в сравнении с угольной, нефтяной и газовой по показателям безопасности (производство и уровень ежегодной смертности) и «чистоты», а также сопоставима с некоторыми видами возобновляемой энергетики (солнечная и ветряная) [8]. В результате принятое в Европейской комиссии предложение о Законе о чистой нулевой промышленности (2023 г.) содержит и пункты, касающиеся «передовых технологий производства энергии из ядерных процессов с минимальными отходами топливного цикла» и «малых модульных реакторов» [9].

Согласно ст. 194 (2) Договора о функционировании Европейского союза, у каждого из государств-членов сохраняется право «определять условия эксплуатации своих энергетических ресурсов, его выбор между разными источниками энергии и общую структуру его энергоснабжения» [10]. Однако это не исключает необходимости солидарной ориентации на повышение энергетической эффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для постепенной реализации «энергоперехода» [10]. Последнее сочетается и традиционно рассматривается в ЕС в связке с касающимся достижения «климатической нейтральности» к 2050 г. положением Европейского климатического закона (2021 г.) [11. С. 179].

Ключевым моментом здесь является обеспечение атомными электростанциями около половины низкоуглеродной электроэнергии в Европейском союзе. Так, на электричество приходится около 24% потребляемой конечной энергии, приблизительно четверть которой производится на АЭС (крупнейший показатель). Однако, учитывая использование только в электроэнергетическом секторе и наличие атомных электростанций лишь у 12 государств ЕС, совокупная доля атомной энергетики в энергетическом балансе объединения не так высока – 13%, с наибольшим показателем в общем объеме доступной энергии во Франции (41%) и наименьшим в Нидерландах (1%). Сразу у 7 стран-членов отметка колеблется в диапазоне 15–25% [12].

Атомная энергетика в ЕС и энергетическая зависимость от РФ

Помимо поставок зависимость от России прежде всего обусловлена двумя факторами. Во-первых, водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) советского/российского образца оснащены сразу 5 государств – членов Европейского союза. Это Чехия (6), Словакия (5), Венгрия (4), Финляндия (2) и Болгария (2). По показателям общего объема доступной энергии эти страны как раз попали в очерченный диапазон 15–25% (Болгария – 22%, Венгрия – 15%, Словакия – 23%, Финляндия – 17%. Чехия – 18%) [12]. Во-вторых, госкорпорация «Росатом» – единственная в мире компания, способ-

ная работать на всех этапах технологической цепочки ядерного топливного цикла [13].

ЕС еще в Стратегии энергетической безопасности (2014 г.) обозначил, что «особое внимание следует уделять инвестициям в новые атомные электростанции, <...> чтобы гарантировать, что эти электростанции не будут зависеть только от России в плане поставок ядерного топлива» [14]. Касающиеся нацеленности на диверсификацию и ликвидацию полной зависимости от российского топлива, положения его Внешней энергетической стратегии (2022 г.) только ужесточили имеющиеся пункты, а приоритет был отведен «зеленому энергетическому переходу» [15].

Принятый в мае 2022 г. План по отказу от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 г. (REPowerEU) также отвечает приоритетам энергосбережения, «чистой» энергии и диверсификации поставок энергоресурсов. Он во многом продолжает и логику как принятого в период адаптации к Парижскому соглашению пакета регламентов и директив «Чистая энергия для всех европейцев» (2018–2019 гг.), так и «Европейской зеленой сделки» (2021 г.). Так, например, целевые показатели по доле ВИЭ предполагалось увеличивать и до 2022 г. Другое дело, что запланированная отметка возросла с 40 до 42,5%. Отвечая международным политическим реалиям и общественным настроениям внутри ЕС, изменилось и ключевое обоснование целесообразности вводимых мер. Так, вместо проблемы изменения климата на первый план вышла энергетическая независимость [16].

Временный «переходный» характер атомной энергетики в восприятии ЕС объясняет весьма медленное (в отличие от ископаемых источников), но все-таки снижение ее доли в выработке электроэнергии за последние два десятилетия и вне привязки к событиям, связанным с Россией [17]. Так, например, запланированный после аварии на АЭС «Фукусима-1» (2011 г.) отказ от АЭС в Германии из-за развернувшегося в конце 2021 г. энергетического кризиса был отсрочен на несколько месяцев, но все-таки реализован весной 2023 г. Не последнюю роль здесь сыграло участие в правящей коалиции «Светофор» (с 2021 г.) партии «Союз 90/Зеленые», давно настаивавшей на подобном решении, в том числе во времена «Красно-зеленой коалиции» (1998–2005 гг.) [18. Р. 62].

Атомная энергетика в ЕС и антироссийские санкции

Несмотря на климатические и энергетические амбиции в совокупности со стремлением расширять антироссийские санкции, на атомную энергетику последние пока не распространились. Если в необязательной Резолюции Европейского парламента от 23 ноября 2022 г. содержался призыв к «немедленному и полному эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана в ЕС» [19], то в 4-м пакете (март 2022 г.) для атомной энергетики даже было прописано исключение в запрете на инвестиции в российский энергетический сектор [20]. Добиться единогласия по эмбарго в Совете оказалось сложнее, чем, например, по куда более «грязному» и менее зависимому от российских поставок твердому ископаемому топливу (углю). Более ранние события 2014 г. на Донбассе и в Крыму также не сопровождались действенными для продолжавшегося роста влияния «Росатома» препятствиями [21. Р. 414].

На современном этапе, если некоторые исторически наименее зависимые от атомной энергетики и наиболее враждебно настроенные к России страны (в частности, Литва) пытаются настаивать на санкциях против атомно-энергетического сектора, то ряд государств с функционирующими АЭС и(или) высоким уровнем зависимости от России подобные стремления не разделяют. В первую очередь это относится к Франции с самой высокой долей (41%) атомной энергетики в общем объеме доступной энергии по ЕС [12] и Венгрии, не только зависящей от российских поставок на 100%, но и расширяющей свою атомно-энергетическую инфраструктуру (проект АЭС «Пакш-2») с российским финансированием и под руководством «Росатома» [22. С. 69–70]. После победы на выборах 2023 г. партии «Направление – социальная демократия» во главе с Р. Фицо твердую антогонистскую позицию стала транслировать и Словакия. Впрочем, она не является иллюстрацией взглядов всех наиболее зависимых от России стран. Напротив, некоторые из них достаточно серьезно нацелены на постепенное сокращение зависимости от российских поставок, технологий и инвестиций. Так, Болгария планирует обеспечить себя нероссийским топливом американской компании Westinghouse и французской Framatome к 2024 г. Тогда как Финляндия заключила контракты по поставкам с Westinghouse и исследованиям с французской EDF (Électricité de France), а также отказалась от проекта АЭС «Ханхикиви-1» с «Росатомом» [23].

Поставки в области атомной энергетики в ЕС в условиях кризиса

Согласно ежегодному отчету Евратома за 2022 г. (2023 г.), валовое производство электроэнергии на АЭС составило 21,5%, что на 16,7% ниже 2021 г. В реакторы было загружено на 27% меньше топлива, но закуплено больше, чем загружено впервые за 8 лет.

1. По предоставлению природного урана первые четыре строчки заняли Казахстан (27%), Нигер (25%), Канада (22%) и Россия (17%) – свыше 90% поставок. Снижение объемов произошло только у РФ (–16%). Из менее крупных поставщиков показательны изменения у Узбекистана (+171%) и совокупно у ЮАР и Намибии (+5546%), а из ведущих – у Казахстана (+14%) и Канады (+50%) [23].

Роль России в атомно-энергетическом комплексе постсоветского пространства трудно преуменьшить, в том числе в вопросах принятия решений. Она соотносится не только с представительством «Росатом Центральная Азия» (Казахстан, Узбекистан), но и с местом Uranium One, группы компаний под управлением TENEX/Техснабэкспорт (зарубежные активы «Росатома»). Офисы Uranium One расположены как в России, так и в Казахстане, Канаде, Нидерландах и Танзании, разработка проводится в Намибии и Танзании, а добыча на целом ряде месторождений как раз в Казахстане. Часть из них под совместным контролем «Росатома» и крупнейшего казахстанского производителя «Казатомпром» [24; 25. С. 8]. Так, в 2022 г., по подсчетам World Nuclear Association, сразу четыре месторождения Казахстана вошли в топ-10 крупнейших производств, на которые в сумме приходится 57% добываемого урана в мире. В двух случаях, Каратау/Будёновское-2 и Южный Инкай-4, чей совокупный вес составляет 7% от всего мирового производимого урана, совладельцем является Uranium One [26]. Статистически, например, на Будё-

новском месторождении работают предприятия «Акбастау», «Карастау» и «Будёновское». Так, 50% первых двух принадлежали «Росатому», тогда как с 2023 г. 49% «Будёновского» также отошли в пользу Uranium One Group и «Логистического центра ЯТЦ» [27].

2. По предоставлению услуг конверсии первые четыре строчки заняли Orano (ЕС), «Росатом» (РФ), Cameco (Канада) и ConverDyn (США). Здесь объемы РФ также снизились (–20%), а у ЕС (+10%) и США (+5%) возросли.

3. По предоставлению услуг обогащения две лидирующие строчки заняли ЕС (62%) и РФ (30%). Российская доля стала меньше на 1 п.п., но именно объемы российских поставок услуг обогащения были выше на 4%. Из-за попытки увеличить свои кризисные запасы возросли показатели поставок для реакторов советского/российского образца в услугах как обогащения (+22%), так и конверсии (+30%). Зависимость группы стран с ВВЭР-реакторами по этим двум компонентам от РФ – 60%, тогда как у других государств – членов ЕС отметка существенно ниже – 25% [23]. В совокупности это подтвердило уникальную способность «Росатома» работать на всех этапах технологической цепочки ядерного топливного цикла [13], что коррелирует с показателями, согласно которым ориентировочная мировая доля России в предоставлении услуг обогащения около 46%. Это подтвердили и цены, резко взлетевшие по всем трем параметрам на рубеже февраля–марта 2022 г. В дальнейшем процесс нормализации был наиболее характерен для природного урана, а наименее, соответственно, для услуг обогащения [23].

Заключение

Несмотря на наличие как собственных АЭС только у 12 государств-членов, так и противоречий о будущем сектора, атомная энергетика считается в ЕС низкоуглеродной и, как следствие, признана «переходной». Однако «энергетический переход» на ВИЭ обоснован не только климатическими амбициями, но и соображениями энергетической безопасности, в том числе касающимися независимости от российских поставок. В условиях обострения в отношениях с РФ действовать Евросоюзу приходится быстрее, чем мешает сразу ряд обстоятельств. Сюда можно отнести наличие ВВЭР-реакторов советского/российского образца сразу у 5 государств-членов. Данные страны наиболее уязвимы, так как зависят не только от атомной энергетики в целом, но и от российских технологий и топливных поставок в частности. Следовательно, вопрос эмбарго в атомно-энергетическом секторе дискуссионен, а введение подобных ограничений маловероятно. Если одни наиболее враждебно настроенные страны (например, Литва) пытаются настаивать на ограничениях, то наиболее зависимые от атомной энергетики (например, Франция) и(или) настроенные на сотрудничество с Россией в данной области (например, Венгрия) препятствуют им. Впрочем, некоторые из стран с ВВЭР-реакторами (в частности, Болгария или Финляндия) все-таки стремятся к комплексной диверсификации. Тем не менее данные Евратома показывают, что ликвидировать зависимость наиболее сложно от услуг обогащения, несколько лучше обстоит дело с конверсией, а наиболее вероятна диверсификация в поставках природного урана. Это связано с тем, что «Росатом» способен работать на всех этапах технологической цепочки ядерного топливного цикла, потому, из-за стремления увеличить кризисных запасы, по некоторым

компонентам поставки из РФ только возросли, особенно в страны с ВВЭР-реакторами.

Список источников

1. Vrbán B., Nečas V., Čerba Š., Lúley J., Filová V. Perspectives on the Future of Nuclear Energy in Slovakia // *Energy Systems*. 2023. P. 1–22.
2. Сафонова Ю.А. Проблема согласования интересов стран «Новой Европы» и наднациональных институтов ЕС в сфере атомной энергетики (на примере Литвы) // *Вестник Московского университета*. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2010. № 4. С. 44–69.
3. Ming Z., Yingxin L., Shaofie O., Hui S., Chunxue L. Nuclear Energy in the Post-Fukushima Era: Research on the Developments of the Chinese and Worldwide Nuclear Power Industries // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2016. № 58. P. 147–156.
4. Секачева А.Б. Тенденции, особенности и проблемы развития атомной энергетики Франции // *Мировая экономика*. 2021. Т. 15, № 3. С. 85–96.
5. Zakaria P. Visegrád at a Crossroads in Europe: Nuclear Energy // *European Perspectives – Slovenia's Role in Visegrad Group*. 2015. Vol. 7, № 2 (13). P. 87–113.
6. Deutsch N. The Changing Role of Nuclear Power in the European Union: Reflections from Official Scenarios Released before and after the Fukushima Daiichi Accident // *'Club of Economics in Miskolc' TMP*. 2017. Vol. 13, № 1. P. 17–36.
7. The EU taxonomy requirements for nuclear energy VVER technologies and nuclear industry innovations: Brief Analysis // Rosatom. 2022. URL: <https://www.rosatom.ru/upload/iblock/cc0/cc076d06fd84868afd7a8d60ad85ab9d.pdf> (accessed: 28.10.2023).
8. Ritchie H. What are the safest and cleanest sources of energy? // *Our World in Data*. 2020. URL: <https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy> (accessed: 29.10.2023).
9. Net-Zero Industry Act: Making the EU the home of clean technologies manufacturing and green jobs // European Commission. 2023. URL: https://ec.europa.eu/commission/press-corner/detail/en/IP_23_1665 (accessed: 29.10.2023).
10. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // *Official Journal of the European Union*. 2016. С. 202.
11. Плетнев Д.А., Мурашкин С.В. О декарбонизации // *Вестник Челябинского государственного университета*. 2021. № 10 (456). С. 179–184.
12. Shedding light on energy – 2023 edition // Eurostat. 2023. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/energy-2023> (accessed: 04.11.2023).
13. О Росатоме // «Росатом». URL: <https://rosatom.ru/about/> (дата обращения: 31.10.2023).
14. European Energy Security Strategy // European Commission. 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330> (accessed: 02.11.2023).
15. EU external energy engagement in a changing world // European Commission. 2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0023> (accessed: 02.11.2023).
16. REPowerEU: Affordable, secure and sustainable energy for Europe // European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repower-eu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en#diversifying-our-energy-supply (accessed: 04.11.2023).
17. Fossil fuels led in electricity generation in 2021 // Eurostat. 2022. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220630-1> (accessed: 06.11.2023).
18. Bachl M., Brettschneider F. The German National Election Campaign and the Mass Media // *German Politics*. 2011. Vol. 20, № 1. P. 51–74.
19. European Parliament resolution of 23 November 2022 on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism // European Parliament. 2022. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_EN.html (accessed: 20.11.2023).
20. Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia // European Commission. 2022. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1761 (accessed: 02.11.2023).
21. Szulecki K., Overland I. Russian Nuclear Energy Diplomacy and Its Implications for Energy Security in the Context of the War in Ukraine // *Nature Energy*. 2023. №8. P. 413–421.
22. Дрыночкин А.В. Приоритеты вишеградских стран в углеводородной и атомной энергетике // *Научно-аналитический вестник ИЕ РАН*. 2023. № 2. С. 64–72.
23. ESA Annual Report 2022 // Euratom. 2023. URL: https://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2023-10/ESA%20Annual%20Report%202022%20-%20Final%20-%28website%29_2.pdf (accessed: 06.01.2024).

24. *History* // Uranium One Inc. URL: <https://uranium1.com/about-us/#history> (accessed: 06.01.2024).
25. Кузьмина Е.М. Атомная энергетика в Центральной Азии // Геоэкономика энергетики. 2021. № 4 (16). С. 6–21.
26. *World Uranium Mining Production* // World Nuclear Association. 2023. URL: <https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx> (accessed: 06.01.2024).
27. «Росатом» вышел на второе место в мире по запасам урана // Страна Росатом. 2023. URL: <https://strana-rosatom.ru/2023/08/14/rosatom-vyshel-na-vtoroe-mesto-v-mire/> (дата обращения: 06.01.2024).

References

1. Vrban, B., Nečas, V., Čerba, Š., Luley, J. & Filová, V. (2023) Perspectives on the Future of Nuclear Energy in Slovakia. *Energy Systems*. pp. 1–22.
2. Safonova, Yu.A. (2010) Problema soglasovaniya interesov stran “Novoy Evropy” i nadnatsional'nykh institutov ES v sfere atomnoy energetiki (na primere Litvy) [Quest for Harmonization of Interests between the Countries of the New Europe and the EU Supranational Institutions in the Sphere of Nuclear Energy (with an Example of Lithuania)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika*. 4. pp. 44–69.
3. Ming, Z., Yingxin, L., Shaojie, O., Hui, S. & Chunxue, L. (2016) Nuclear Energy in the Post-Fukushima Era: Research on the Developments of the Chinese and Worldwide Nuclear Power Industries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 58. pp. 147–156.
4. Sekacheva, A.B. (2021) Tendentsii, osobennosti i problemy razvitiya atomnoy energetiki Frantsii [Trends, Features and Problems of the Development of Nuclear Energy in France]. *Mirovaya ekonomika*. 15(3). pp. 85–96.
5. Zakaria, P. (2015) Visegrád at a Crossroads in Europe: Nuclear Energy. *European Perspectives – Slovenia's Role in Visegrad Group*. 7-2(13). pp. 87–113.
6. Deutsch, N. (2017) The Changing Role of Nuclear Power in the European Union: Reflections from Official Scenarios Released before and after the Fukushima Daiichi Accident. *Club of Economics in Miskolc' TMP*. 13(1). pp. 17–36.
7. Rosatom. (2022) *The EU taxonomy requirements for nuclear energy VVER technologies and nuclear industry innovations: Brief Analysis*. [Online] Available from: <https://www.rosatom.ru/upload/iblock/cc0/cc076d06fd84868afd7a8d60ad85ab9d.pdf> (Accessed: 28th October 2023).
8. Ritchie, H. (2020) *What are the safest and cleanest sources of energy?* [Online] Available from: <https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy> (Accessed: 29th October 2023).
9. European Commission. (2023) *Net-Zero Industry Act: Making the EU the Home of Clean Technologies Manufacturing and Green Jobs*. [Online] Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1665 (Accessed: 29th October 2023).
10. European Union. (2016) *Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union*. p. 202.
11. Pletnev, D.A. & Murashkin, S.V. (2021) O dekarbonizatsii [About Decarbonization]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 10(456). pp. 179–184.
12. Eurostat. (2023) *Shedding light on energy – 2023 edition*. [Online] Available from: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/energy-2023> (Accessed: 4th November 2023).
13. Rosatom. (n.d.) *O Rosatome* [About Rosatom]. [Online] Available from: <https://rosatom.ru/about/> (Accessed: 31st October 2023).
14. European Commission. (2014) *European Energy Security Strategy*. [Online] Available from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330> (Accessed: 2nd November 2023).
15. European Commission. (2022) *EU external energy engagement in a changing world*. [Online] Available from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0023> (Accessed: 2nd November 2023).
16. European Commission. (n.d.) *REPowerEU: Affordable, secure and sustainable energy for Europe*. [Online] Available from: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en#diversifying-our-energy-supply (Accessed: 4th November 2023).
17. Eurostat. (2022) *Fossil fuels led in electricity generation in 2021*. [Online] Available from: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220630-1> (Accessed: 6th November 2023).

18. Bachl, M. & Brettschneider, F. (2011) The German National Election Campaign and the Mass Media. *German Politics*. 20(1). pp. 51–74.
19. European Parliament. (2022) *European Parliament resolution of 23 November 2022 on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism*. [Online] Available from: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_EN.html (Accessed: 20th November 2023).
20. European Commission. (2022) *Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia*. [Online] Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1761 (Accessed: 2nd November 2023).
21. Szulecki, K. & Overland, I. (2023) Russian Nuclear Energy Diplomacy and Its Implications for Energy Security in the Context of the War in Ukraine. *Nature Energy*. 8. pp. 413–421.
22. Drynochkin, A.V. (2023) Prioritety vishegradskikh stran v uglevodoronoy i atomnoy energetike [Priorities of the Visegrad Countries in Conventional and Nuclear Energy]. *Nauchno-analiticheskiy vestnik IE RAN*. 2. pp. 64–72.
23. Euratom. (2023) *ESA Annual Report 2022* [Online] Available from: https://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2023-10/ESA%20Annual%20Report%202022%20-%20Final%2028website%29_2.pdf (Accessed: 6th January 2024).
24. Uranium One Inc. (n.d.) *History*. [Online] Available from: <https://uranium1.com/about-us/#history> (Accessed: 6th January 2024).
25. Kuzmina, E.M. (2021) Atomnaya energetika v Tsentral'noy Azii [Nuclear Power in Central Asia]. *Geoekonomika energetiki*. 4(16). pp. 6–21.
26. World Nuclear Association. (2023) *World Uranium Mining Production*. [Online] Available from: <https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx> (Accessed: 6th January 2024).
27. Strana Rosatom. (2023) “Rosatom” vyshel na vtoroe mesto v mire po zapasam urana [Rosatom takes second place in the world in terms of uranium reserves]. [Online] Available from: <https://strana-rosatom.ru/2023/08/14/rosatom-vyshel-na-vtoroe-mesto-v-mire/> (Accessed: 6th January 2024).

Сведения об авторе:

Лисенкова А.Д. – кандидат политических наук, преподаватель кафедры международных отношений Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: alena.denisovna@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Lisenkova A.D. – Cand. Sci. (Political Science), Department of International Relations, North-West Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: alena.denisovna@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.02.2024;
одобрена после рецензирования 22.03.2024; принята к публикации
The article was submitted 15.02.2024;
approved after reviewing 22.03.2024; accepted for publication*

Научная статья

УДК 321.015

doi: 10.17223/1998863X/78/18

ЦЕНТРАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В МИРОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: СЛЕД ПАНДЕМИИ

Наталья Владимировна Панкевич

Институт философии и права УрО РАН, Екатеринбург, Россия, n.pankevich@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены пространственные импликации пандемии на архитектуру управления на международном и внутригосударственном уровнях. Предпринят анализ организационных реакций государств, включая Россию, в области территориализации и деволюции полномочий, в том числе чрезвычайного характера, и их нормативного закрепления. Показано, что совокупный эффект этих действий способствует восстановлению государством своей центральности в мировой политической системе.

Ключевые слова: пандемия, национальное государство, суверенитет, деволюция, распределение полномочий

Для цитирования: Панкевич Н.В. Центральность государства в мировом политическом пространстве: след пандемии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 215–226. doi: 10.17223/1998863X/78/18

Original article

THE STATE'S CENTRALITY IN THE GLOBAL POLITICAL SPACE: THE TRACE OF THE PANDEMIC

Natalia V. Pankevich

*Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, Russian Federation*

n.pankevich@yandex.ru

Abstract. The article considers the impact of the coronavirus pandemic on the spatial structure of the global political space. To the date, political theory in this field was dominated by the idea of the nation state gradual demise in favour of international and global regimes. The article provides empirical evidence questioning this thesis at the international and domestic levels. It discovers omnipresent collisions between the demand for a global comprehensive response to the pandemic challenge and the materiality of state-driven practices of spatial control over security competencies, territorialization industries within state domains, territorial control over population, which bring the states back into the centre of the political structure in the international arena. The article further investigates the processes of emergency power-sharing at the sub-national level. It shows that the transfer of powers (devolution) to the regional and municipal level has become a representative global trend within the pandemic. Due to this empowerment regions and municipalities get the possibility to implement both pragmatic and political agendas. Yet the political programmes stay reserved and only in rare cases provide for increasing regional political autonomy within the pandemic. The relevant experience in the Russian Federation is analyzed, it is shown that the regional variation in the response to the crisis did not lead to the politicization of the transfer of powers to the regions. The factors are identified that made it possible to avoid politicization of this process: the lack of regional legitimacy to cope with the pandemic and the lack of popular support,

infrastructural and financial deficits at regional and municipal levels. In this vein, the article proposes that powers be transferred to the subnational level endorsed for the concentration of political leadership at the level of nation states. It posits that the principal organizational trace of the pandemic is the regaining of the nation states' centrality.

Keywords: pandemic, political space, nation state, subsidiarity, distribution of powers

For citation: Pankevich, N.V. (2024) The state's centrality in the global political space: the trace of the pandemic. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 215–226. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/18

Пандемия и иерархии в мировом политическом пространстве

В мае 2023 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении периода пандемии как чрезвычайной ситуации международного значения¹. Глобальные кризисы имеют пространственное измерение [1], затрагивают все уровни мировой политической архитектуры и определяют возможности становления новых властных центров и иерархий.

Цель представленной статьи – рассмотреть пространственные импликации пандемии, оценить качественно ее вектор и вклад в трансформацию структуры управления на международном и внутригосударственном уровнях. В современных условиях данная проблема приобретает особую актуальность: развитие пандемии происходило в специфических условиях, когда накопленная в предыдущие десятилетия инерция стабильно рассматривалась как состояние стадийной утраты национальными государствами значимых частей своего суверенитета и центральности в мировой политической системе. Представление о глубоком кризисе суверенного государства стало одним из наиболее влиятельных рефренов политического анализа последних десятилетий (см. напр.: [2. С. 9; 3. Р. 4; 4. С. 21–22]). Важнейшим индикатором данного тренда выступала реаллокация – прагматическая передача или инициативный перехват институтами вне государства – компетенций, нормативно закрепленных за правительственными аппаратами [5. Р. 207; 6]. В своем предельном развитии данная установка позволяла выдвигать тезис о смене ключевой парадигмы в организации мирового политического пространства [7, 8].

Посткризисная ситуация позволяет по-новому оценить валидность подобного комплекса представлений о роли и месте государства на макроуровне мировой политической структуры. Исследование обращено к анализу реакций на кризис в области распределения и перераспределения властных полномочий на международном и субгосударственном уровнях. Стереотипность, повторяемость и взаимоподобие этих реакций в рамках качественно различных политических режимов и систем государственного устройства в географически отдаленных ареалах позволяют привнести новые данные о тенденциях эволюции институтов, связанных с суверенной государственно-стью в посткризисных условиях. А нормативно-правовое закрепление норм и режимов, сформированных как ответ на кризис, в основном корпусе законодательства свидетельствует о стабильности нового вектора.

Основу исследования составляет сравнительный диахронный анализ изменений в распределении полномочий и компетенций в системе уровней

¹ World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. URL: <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19> (дата обращения 15.11.2023)

международного – государственного – субгосударственного кризисного регулирования в период пандемии. В качестве материалов использованы нормативные акты, стратегические документы, рекомендации профильных и экспертных организаций, дискуссионные материалы СМИ.

Проблематизация центральности государства в период пандемии

Если следовать логике углубления кризиса государства в связи с чрезвычайной ситуацией, то пандемия как угроза, обращенная ко всем участникам международного сообщества, прямо предполагала системное повышение политического статуса и институциональной автономии наднациональных институтов и международных организаций [9], последовательным усилением процессов детерриториализации управления [10]. При этом пространственная турбулентность затрагивала не только вопрос о конкуренции двух крупнейших подходов, по-разному концептуализирующих принципы связности мирового политического пространства – универсально-глобалистского и государствоцентричного. Кризисное перераспределение полномочий на уровне управления «ниже» государства также позволило критиковать позицию о центральности этого института, но уже из иной перспективы. Такой подход предполагает возможность становления принципиально альтернативных государству новых форматов политического управления, когда существенный объем властных полномочий перехватывается суверенизирующимися суб-национальными единицами (см. напр.: [11, 12]), и что именно на локальный уровень необходимо ориентироваться в адаптации системы управления к кризисным явлениям [13]. Примечательно, что в период пандемии между суб- и надгосударственным уровнями возникает коммуникация, способствующая взаимному усилению политического статуса и организационных возможностей минуя государство. В этом отношении показательна позиция ВОЗ, рекомендующая на передачу государственных полномочий, в том числе надзорного характера, на субгосударственный уровень¹.

Практика кризисного реагирования, однако, показала несостоятельность данной интуиции. Динамика пандемийного периода на международном уровне оказалась связана именно с резким повышением значимости собственно государственного начала [14] и практически мгновенно актуализировала способы реагирования, традиционно присущие миру государств с их ориентацией 1) на территориализацию и усиление пограничных режимов и 2) опорой на принудительные ресурсы и методы [15]. Системным преимуществом в реагировании на кризис стала способность государства к авторитарной концентрации организационного ресурса в рамках единого стратегического центра. Ограничение государствами трансграничной мобильности дополнялось усилиями по локализации стратегически важных производств

¹ Всемирная организация здравоохранения. Обновленная стратегия борьбы с COVID-19. 14.04.2020 г. С. 6, 7, 15. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-strategy-update-2020-ru.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 (дата обращения: 15.11.2023)

World Health Organization. Assessment of the Covid-19 Supply Chain System (CSCS) Summary Report. 26/02/2021. P. 12. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/21_02_26-cscs_assessment_summary-written-report-.pdf?sfvrsn=f9223994_7&download=true (дата обращения: 15.11.2023)

(медицинских субстанций, препаратов, оборудования, расходных материалов) и усилению контроля над цепочками производства внутри национальных границ. Усиление армейских структур, пограничных и полицейских служб, органов, уполномоченных в рамках государственной формы на реализацию чрезвычайных функций, стали стандартной стратегией реагирования государств даже в ущерб заявленным ранее стратегиям и ценностям наднационального пространственного и политического единства [16].

Свидетельством актуализации государственного организационного начала стал также обратный трансфер полномочий из наднациональных структур, ярким примером которого на пике пандемии стал конфликт США и ВОЗ, приведший к временному разрыву отношений. Иными словами, вопреки логике дальнейшей утраты государствами центральности, на международном уровне кризис пандемии создал существенные предпосылки для укрепления институтов, связанных с принципом суверенной государственности как центра антикризисного реагирования.

Пандемия и деволюция

Усиление управленческих институтов регионального и местного уровней, которое приобрело глобальный масштаб, стало еще более примечательной чертой пандемийного периода. Дополнительные полномочия передавались в регионы и муниципалитеты стран из разных регионов, характеризующихся отличными друг от друга социально-экономическими условиями, системами здравоохранения и политическими режимами [17]. Важно, что в их числе и те компоненты, которые традиционно входят в состав монополии государства на средства принуждения и конституционно фиксируются за центральным (федеральным, в соответствующих государствах) уровнем управления. В момент пандемии субгосударственные органы во всех частях мира оказались наделены полномочиями ограничивать ключевые права, прежде всего, право на свободу перемещения, и вследствие этого – доступ к рынку труда, образованию, сфере культуры и досуга. На субгосударственный уровень передавалось усмотрение о необходимости установления временных внутригосударственных границ. Здесь же было локализовано право объявления специальных ограничительных режимов (чрезвычайной ситуации, локдауна, карантина, самоизоляции, комендантского часа, введение и отмена масочного режима и др.).

Распространенность такой стратегии позволяет характеризовать данный процесс как системно значимый для мировой политической системы тренд, фиксирующий региональное и местное лидерство в противодействии кризису, защиты местных и региональных сообществ в целом и отдельных, наиболее подверженных риску групп, в их составах. При этом ряд исследований приходит к однозначному выводу о том, что государства, где деволюция приобретает системное качество, способны генерировать более быстрый, эффективный и комплексный ответ на кризисную ситуацию, поскольку создают разветвленную и готовую к реагированию структуру, включающую постоянные ресурсно и нормативно обеспеченные для самостоятельного действия институты [18].

Потенциально в меняющемся политическом ландшафте данный процесс действительно предоставляет новые возможности для силовых размежеваний

между центром и регионами, становления и отвердения новых форматов властной дисперсии. Поэтому для оценки перспектив становления новых форматов властной дисперсии важно оценить распространенность и устойчивость эффектов индивидуализации региональных программ борьбы с эпидемией, когда отдельный регион реализует собственные стратегии в противовес центральным.

Например, в Великобритании длительно устремленная к независимости Шотландия не просто сформировала в целом наиболее жесткий с точки ограничения прав граждан режим, но и в рамках этого режима самостоятельно определяла внешнеполитические компоненты борьбы с распространением коронавируса¹. В частности, регион сам нормировал правила въезда для граждан из различных стран, что в условиях фактического единства территории страны было как минимум нефункционально. Очевидно, подобная позиция могла быть мотивирована исключительно политически, и попытка «вести конституционные игры»² решала не только собственно вопросы реагирования на вызов пандемии, но также преследовала параллельно существующие и не связанные с ней цели суверенизации.

Однако на фоне глобальных процессов подобные явления принадлежат скорее к разряду исключений. Хотя практическая реализация антикризисных полномочий на уровнях «ниже» государства, очевидно, является примером разрыва с нормативом единства государственного правового пространства, в административной прагматике чрезвычайной ситуации, для реализации публично значимых целей такие девиации политически безопасны и в огромном большинстве случаев функциональны. Наиболее распространенной целью становится не достижение собственно политической автономии, сколько прагматика наращивания ресурсной обеспеченности местных сообществ, которые таким образом, в ходе пандемии, переориентируют систему государственных финансов для компенсации несовершенств сложившихся моделей общественного здравоохранения в кризисной ситуации – материального обеспечения больниц и стационаров, оплаты труда медработников, создания новых объектов здравоохранения.

Реализация данной цели определенно не предполагает радикальную трансформацию существующего формата пространственной властной дисперсии. Адаптационные изменения, такие как переориентация налоговой и бюджетной системы на более децентрализованный формат, возможны именно в рамках государственности (см. напр.: [19, 20]). В этом смысле показателен опыт функционирования системы кооперативного федерализма в Германии. Непосредственно накануне пандемии здесь всерьез обсуждалась перспектива централизации системы здравоохранения при сокращении более чем половины больничных учреждений по причине их недостаточной эффективности³. Однако вновь принятая национальная стратегия борьбы с панде-

¹ The Economist. Devolution has become less dysfunctional during the pandemic. 06.06.2020. URL: <https://www.economist.com/britain/2020/06/06/devolution-has-become-less-dysfunctional-during-the-pandemic> (дата обращения: 15.11.2023)

² BBC. Campbell G. Why doesn't Scotland have tougher Covid measures? 16.12.2021. URL: <https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-59673321> (дата обращения: 15.11.2023)

³ Bocken J. Eine bessere Versorgung ist nur mit halb so vielen Kliniken möglich, Bertelsmann Stiftung, 15.07.2019. URL: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juli/eine-bessere-versorgung-ist-nur-mit-halb-so-vielen-kliniken-moeglich/> (дата обращения: 15.11.2023)

мией, напротив, снова опиралась на локализацию финансовых и организационных ресурсов на субгосударственном уровне¹.

Отсутствие регионального оппортунизма в межуровневом взаимодействии является положительным индикатором сохранения центральности управления на уровне государства. В условиях пандемии на первый план выходит процесс деволюции. Этот процесс качественно отличен от регионализации или децентрализации государственного управления, в ходе которого возникают территориальные ответвления центральных и органов институтов, непосредственно им подчиненные. Но также отличен он и от федерализации, при которой субгосударственные уровни приобретают гарантированную институциональную автономию и, как следствие, способность к самостоятельному политическому действию. Таким образом, деволюция реально обеспечивает повышение системного статуса региональных институтов, наделение их полномочиями, которые они реализуют в режимах собственной дискреции. Но принципиально в данном случае и то, что данный процесс не проблематизирует государственный суверенитет и не имеет целью обеспечить собственно политическую автономию субнациональных акторов. Иными словами, качество данного процесса не позволяет говорить о становлении альтернативных государству организационных форм.

Центр и регионы в российском опыте борьбы с пандемией

Деволюция полномочий по кризисному регулированию проявила себя в России, причем во многом в противоположность магистральным направлениям развития федеративной системы страны в ключе централизации. Уже в начале пандемии президент России передал важные полномочия на уровень субъектов Федерации, объяснив это необходимостью учета региональной и местной специфики в территориально протяженной и неравномерно развитой стране².

Последовательное оснащение региональных органов власти правовым инструментом стало важным компонентом антикризисного управления. На уровень исполнительных органов (глав регионов) были переданы и далее продлены полномочия определять состав территорий, на которых будут действовать ограничительные меры, регулировать режим работы предприятий и организаций, устанавливать режим и сроки действия специальных условий мобильности граждан³. В пределах своей территориальной доступности и

¹ Robert Koch Institut. Ergänzung zum Nationalen Pandemieplan – COVID-19 – neuartige Coronaviruserkrankung Berlin: 2020.

URL:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.html
(дата обращения: 15.11.2023)

² РБК. Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия. 02.04.2020. URL: <https://www.rbc.ru/politics/02/04/2020/5e85f0679a7947ff5f78ee35?ysclid=l42b6w9heq> (дата обращения: 15.11.2023)

³ Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45401> (дата обращения: 15.05.2023);

Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. № 316 Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45513> (дата обращения: 15.11.2023)

подведомственности субъекты Федерации могли инициативно выбирать наиболее уместные управленческие стратегии [21. С. 76]. Результатом стало замещение единственного режима реагирования национального уровня более чем восьмью десятками региональных.

Региональный опыт борьбы с пандемией показал достаточно большую вариацию как во временном измерении установления ограничений, так и с точки зрения реального охвата отдельных секторов экономики и сегментов населения. Разнилась и инструментальная составляющая региональных антикризисных программ, различным образом применялись средства технического контроля (например, блокирование проездных документов на общественный транспорт, применение QR-кодирования и др.).

Возможно предположить, что объективная ситуация дала региональным властям шанс на реализацию политических стратегий, связанных с торгом с федеральным центром по поводу дополнительных полномочий и ресурсов, правовое закрепление новых форматов властной дисперсии и т.д. Подобный сценарий не был реализован.

В оценке феномена обращает на себя внимание крайне низкий уровень легитимности и общественной поддержки самостоятельных действий региональных и муниципальных властей, готовности к реализации кооперативных стратегий со стороны населения [22]. Свидетельством тому стал рост петиционной активности граждан, а также подача коллективных исков в судебные инстанции, волна которых затронула все регионы страны¹. Действия региональных регуляторов оценивались как избыточные, за пределами своей компетенции. Происходила широкая апелляция к конституционным нормам о том, что лишь федеральный законодатель уполномочен производить ограничение прав граждан и только на основе федерального закона².

Направленность требований граждан обнажает очевидный дефицит социальной опоры субнациональных образований в качестве потенциально самостоятельных акторов политического поля. Весьма показательно, что в восполнении дефицита легитимности регионам пришлось полагаться именно на федеральный центр. Упомянутые указы неслучайно легитимируют антикризисный мандат регионов в реализации полномочий президента как гаранта прав и свобод человека и гражданина согласно статье 80 Конституции РФ. Обеспечение легитимности действий регионов потребовала поддержки и со стороны Конституционного суда РФ. В своем Постановлении³ Суд усмотрел обоснованность выбора правовых средств и действий региональных властей по ограничению мобильности, в том числе в экстраординарном характере региональных норм, наличии компенсирующих механизмов, установленных на федеральном уровне (введение выходных дней исключало неразрешимую коллизию между требованиями регионального штаба о самоизоляции гражданина и требованиями трудового законодательства), а также в единстве пространства государственной власти РФ (субъектом ограничения прав был

¹ Шмидт А. «Шансов у заявителей нет». Почему в регионах хотят судиться из-за QR-кодов. 13.11.2021. URL: <https://www.gazeta.ru/social/2021/11/12/14197627.shtml?updated> (дата обращения: 15.11.2023).

² Конституция РФ, п. 3. ст. 55.

³ Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 г. № 49-П.

назван не уровень государственной власти, а государство в целом). В совокупности подобная трактовка определяет легитимность чрезвычайных полномочий, переданных региону, в качестве производной от легитимности его как ответвления государства, власть которого имеет целостный, неделимый характер и не предполагает самостоятельной позиции региона в политическом измерении.

Следует обратить внимание и на институциональный контекст передачи полномочий на нижний уровень. Он осуществлялся в рамках единой системы государственной власти и, во-первых, затрагивал преимущественно исполнительную ветвь региональной власти. Чрезвычайные полномочия получали главы регионов. А, во-вторых, региональный компонент политического решения при любых обстоятельствах уравнивался представительством и участием органов собственно федерального уровня в разработке антикризисных мер. Решения региональных властей о введении тех или иных мер были нормативно увязаны и должны были опираться на экспертный опыт руководителей службы санитарно-эпидемиологического надзора, которая институционально и нормативно функционирует как «единая государственная централизованная система»¹.

Нельзя сказать, что подобное положение специфично только для России. Пандемийный опыт других государств свидетельствует о стереотипном характере реагирования центральных властей на кризис. Так, например, в Канаде основной объем выработки региональных мер по купированию кризиса приходился на исполнительные органы системы здравоохранения, но практически не включал органы, осуществляющие законодательные функции.

Важен и тот факт, что пандемия в глобальном измерении сократила ресурсную базу всех субнациональных правительственных институтов (как региональных, так и муниципальных). Особенно это было значимо именно для традиционно более децентрализованных систем, где субнациональные единицы изначально располагали большей бюджетной самостоятельностью. В результате передаваемые полномочия практически нигде в мире не были обеспечены ни финансово, ни организационно за счет собственно местных ресурсов. Именно поэтому и в благополучных, и в полностью зависимых местных сообществах деволюция означала главным образом восполнение выбывающего ресурса и не могла вести к конкуренции субнациональных единиц с государством за примат в политическом пространстве.

Наконец, еще одним вектором в кризисе пандемии стало возрастание объема и значимости действия негосударственных акторов, направленного на сглаживание последствий пандемии, защиту и поддержку наименее защищенных групп. Российский опыт обнаружил высокий потенциал кооперации волонтерского движения, социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей с государственными структурами. Масштабная поддержка государством действия подобных инициатив также создала предпосылки скорее для заполнения государственным контролем данной области общественных отношений, чем для становления внегосударственных центров кризисного регулирования.

¹ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), п. 1 ст. 46.

Заключение

Кризис пандемии стал испытанием на прочность не только для систем национальных здравоохранения и социального обеспечения, но и самого института государства как ключевого центра купирования масштабных угроз.

В предыдущее десятилетие ситуация предполагаемого «упадка» государства позволяла ставить вопрос о возникновении множественности доминирующих нормативных порядков и о постоянном численном росте возможных институциональных и нормативных режимов в рамках этой множественности. Кризис внес в эту динамику новые перспективы, не только не ведущие к ослаблению, но скорее к возможности крупного реванша в центральности институтов национально-государственного характера. На фоне пандемии международное сообщество вновь обратилось к рациональности территориализации общественной жизни и управления в рамках суверенных государственных юрисдикций. Сегодня этот процесс демонстрирует восходящую динамику и результирует в системный кризис уже международных институтов во множестве функциональных областей, включая, но не ограничиваясь здравоохранением.

В свою очередь на субгосударственном уровне вопреки логике возрастания политического веса вместе с ростом номенклатуры полномочий и ресурсной обеспеченности деволюция также вносит вклад не в расшатывание государственного суверенитета, но скорее свидетельствует о более полном освоении и институциональном заполнении государством своего внутреннего пространства. В условиях пандемии субгосударственные уровни управления – регионы и муниципалитеты – реализуют преимущественно прагматические задачи, встраиваясь в стандартные иерархии публичной власти. Инициативные политические стратегии региональных акторов, направленные на суверенизацию, являются скорее исключением из общей логики процесса огосударствления внутриполитического пространства.

В этом случае деволюция полномочий ведет не к децентрализации системы государственного управления, и тем более не к суверенизации субгосударственных институтов. Основным результатом подобной передачи полномочий по инициативе правительственных центров государств становится более разветвленная система государственного управления, плотнее охватывающая внутриполитическое пространство. Исходя из российского опыта, данная техника имеет преимущества адресного и более точного реагирования на местную специфику. Не случайно во время спецоперации новый объем полномочий по защите населения и его отдельных групп был вновь передан именно на региональный уровень¹.

Следует отметить также, что в ходе кризиса пандемии фиксировалась возможность повышения политической значимости негосударственных акторов, занятых в области социальной поддержки населения, взаимопомощи и социально ориентированной деятельности. Но и в этой области возникли зримые предпосылки к колонизации государственными органами данного

¹ Указ Президента РФ от 16.03.2022 г. № 121. О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47651> (дата обращения 15.11.2023)

сектора общественной жизни, его интеграции в общую систему государственного публичного управления.

В свете кризиса пандемии ответ вопрос о том, может ли «государству наследовать какая-либо работающая нормативная или эмпирическая модель» [23. Р. 25–26], снова приобретает выраженную негативную окраску. В результате кризиса институт государственности вновь укрепляет свои позиции как ключевой институт мировой политической системы, восстанавливая свой ресурс территориальной эксклюзивности и внутривластной монополии правительственных центров на нормирование общественной жизни и административный контроль.

Список источников

1. Knoblauch H., Löw M. The Re-Figuration of Spaces and Refigured Modernity – Concept and Diagnosis // *Historical Social Research*. 2020. Vol. 45, № 2. P. 263–292. doi: 10.12759/hsr.45.2020.2.263-292
2. Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М. : Ирисэн, 2006. 544 с.
3. Strange S. The Retreat of the State, The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge University Press, 1996. 218 p.
4. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. М. : Прогресс-Традиция : Территория будущего, 2007. 460 с.
5. Scheuermann W.E. The Center Cannot Hold // *Nomos*. 2009. Vol. 49. P. 205–218.
6. Sovereignty in a Shared Legal Order: Core Values of Regulation and Enforcement / eds. M. Luchtman, M. Scholten. Cambridge ; Antwerp ; Portland : Iteresentia Publishing, 2015, 336 p.
7. Appadurai A. Sovereignty without Territoriality: Notes for a Post-national geography // *The Anthropology of Space and Place: Locating Culture* / eds. S.M. Low, D. Lawrence-Zuniga. Oxford, UK : Blackwell, 2003. P. 337–349.
8. Buxbaum H.L. National Jurisdiction and global Business Networks // *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 2010. 17. P. 165–170.
9. Lall R. Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations // *International Organization*. 2017. Vol. 71, № 2. P. 245–280. doi: 10.1017/S0020818317000066
10. Medeiros E., Ramírez M.G., Ocskay G., Peyrony J. Covidfencing effects on cross-border deterritorialism: the case of Europe // *European Planning Studies*. 2021. Vol. 29, № 5. P. 962–982. doi: 10.1080/09654313.2020.1818185
11. Панкевич Н.В. Местное самоуправление в системе государственной власти // *Политические исследования*. 2016. 2. С. 62–77. doi: 10.17976/jpps/2016.02.06
12. Hennig A. The spatial dimension of coronavirus crisis management and the role of subnational actors in the German–Polish border region // *European Societies*. 2021. Vol. 23 (Supl. 1). P. 859–871. doi: 10.1080/14616696.2020.1846065
13. Туманов А.Д. Анализ факторов формирования современной системы политического управления: глобальный, региональный и локальный уровни // *Управленческое консультирование*. 2021. № 7. С. 107–115. doi: 10.22394/1726-1139-2021-7-107-115
14. Wilson L., Hamwi S., Zanni F., Lomazzi M. Global public health policies: gathering public health associations' perspectives // *Global Health Action*. 2023. Vol. 16, № 1. doi: 10.1080/16549716.2023.2183596
15. Opilowska E. The Covid-19 crisis: the end of a borderless Europe? // *European Societies*. 2021. Vol. 23 (Supl. 1). P. 589–600. doi: 10.1080/14616696.2020.1833065
16. Панкевич Н.В., Руденко В.В. Политические и правовые ценности на уровне Европейского Союза и его стран-участниц: имеет ли пандемия Covid-19 трансформирующий потенциал? // *Антиномии*. 2021. № 3. С. 55–80. doi: 10.17506/26867206_2021_21_3_55
17. Артеев С.П. COVID-субсидиарность как новый политический феномен // *Вестник МГИМО-Университета*. 2022. Vol. 15, № 1. С. 111–125. doi: 10.24833/2071-8160-2022-1-82-111-125
18. Shvetsova O., VanDusky-Allen J., Zhirnov A., Adeel A.B., Catalano M., Catalano O., Giannelli F., Muftuoglu E., Rosenberg D., Sezgin M.H., Zhao T. Federal Institutions and Strategic Policy Responses to COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Political Science*. 2021. doi: 10.3389/fpos.2021.631363

19. Adeel A.B., Catalano M., Catalano O., Gibson G., Muftuoglu E., Riggs T., Sezgin, M.H., Shvetsova O.V., Tahir N., VanDusky-Allen J.A., Zhao T., Zhirnov A. COVID-19 Policy Response and the Rise of the Sub-National Governments // *Canadian Public Policy*. 2020. 46. P. 565–584. doi: 10.3138/cpp.2020-101
20. B  land D., Lecours A., Paquet M., Tombe T. A Critical Juncture in Fiscal Federalism? Canada's Response to COVID-19 // *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*. 2020. Vol. 53, № 2. P. 239–243. <https://doi.org/10.1017/s0008423920000323>
21. Зенин С.С. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов публичной власти в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // *Lex Russica*. 2021. Т. 74, № 7. С. 73–84. doi: 10.17803/1729-5920.2021.176.7.073-084
22. Панкевич Н.В., Руденко В.В. Самоизоляция как правовой режим: опыт России // *Правовый порядок: история, теория, практика*. 2021. № 2. С. 16–23.
23. Z  rn M., Leibfried S. Transformations of the State? Cambridge University Press, 2005. 224 p.

References

1. Knoblauch, H. & L  w, M. (2020) The Re-Figuration of Spaces and Refigured Modernity – Concept and Diagnosis. *Historical Social Research*. 45(2). pp. 263–292. doi: 10.12759/hsr.45.2020.2.263-292
2. Creveld, M. (1999) *The Rise and Decline of the State*. Cambridge University Press.
3. Strange, S. (1996) *The Retreat of the State, The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge University Press.
4. Beck, U. (2002) *Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter: neue weltpolitische   konomie*. Suhrkamp.
5. Scheuermann, W.E. (2009) The Center Cannot Hold. *Nomos*. 49. pp. 205–218.
6. Luchtman, M. & Scholten, M. (eds) (2015) *Sovereignty in a Shared Legal Order: core values of Regulation and Enforcement*. Cambridge-Antwerp-Portland: Iteresentia Publishing.
7. Appadurai, A. (2003) *Sovereignty without Territoriality: Notes for a Post-national Geography*. In: Low, S.M. & Lawrence-Zuniga, D. (eds) *The Anthropology of Space and Place: Locating Culture*. Oxford, UK: Blackwell. pp. 337–349.
8. Buxbaum, H.L. (2010) National Jurisdiction and global Business Networks. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 17. pp. 165–170.
9. Lall, R. (2017) Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations. *International Organization*. 71(2). pp. 245–280. doi: 10.1017/S0020818317000066
10. Medeiros, E., Ramirez, M.G., Ocskay, G. & Peyrony, J. (2021) Covidfencing effects on cross-border deterritorialism: The case of Europe. *European Planning Studies*. 29(5). pp. 962–982. doi: 10.1080/09654313.2020.1818185
11. Pankevich, N. (2015) Local Self-government in a State Authority System. *Polis*. 2. pp. 62–77. (In Russian). doi: <http://dx.doi.org/10.17976/jpps/2016.02.06>
12. Hennig, A. (2021) The spatial dimension of coronavirus crisis management and the role of subnational actors in the German–Polish border region. *European Societies*. 23(sup.1). pp. 859–871. doi: 10.1080/14616696.2020.1846065
13. Tumanov, A.D. (2021) The analysis of factors of formation of the modern system of political governance: Global, regional and local levels. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie*. 7. pp. 107–115. (In Russian). doi: 10.22394/1726-1139-2021-7-107-115
14. Wilson, L., Hamwi, S., Zanni, F. & Lomazzi, M. (2023) Global public health policies: gathering public health associations' perspectives. *Global Health Action*. 16(1). doi: 10.1080/16549716.2023.2183596
15. Op  łowska, E. (2021) The Covid-19 crisis: the end of a borderless Europe? *European Societies*. 23(sup. 1). pp. 589–600. doi: 10.1080/14616696.2020.1833065
16. Pankevich, N.V. & Rudenko, V.V. (2021) Political and legal values of the European Union and its Member States: Does the Covid-19 Pandemic have transformative potential. *Antinomii – Antinomies*. 3. pp. 55–80. (In Russian). doi: 10.17506/26867206_2021_21_3_55
17. Arteev, S.P. (2022) COVID-subsidiarnost' kak novyy politicheskii fenomen [COVID-Subsidiarity as a New Political Phenomenon]. *Vestnik MGIMO-Universiteta*. 15(1). pp. 111–125. doi: 10.24833/2071-8160-2022-1-82-111-125
18. Shvetsova, O., VanDusky-Allen, J., Zhirnov, A., Adeel, A.B., Catalano, M., Catalano, O., Giannelli, F., Muftuoglu, E., Rosenberg, D., Sezgin, M.H. & Zhao, T. (2021) Federal Institutions and

Strategic Policy Responses to COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Political Science*. DOI: 3:631363. doi: 10.3389/fpos.2021.631363

19. Adeel, A.B., Catalano, M., Catalano, O., Gibson, G., Muftuoglu, E., Riggs, T., Sezgin, M.H., Shvetsova, O.V., Tahir, N., VanDusky-Allen, J.A., Zhao, T. & Zhirmov, A. (2020) COVID-19 Policy Response and the Rise of the Sub-National Governments. *Canadian Public Policy*. 46. pp. 565–584. doi: 10.3138/cpp.2020-101

20. Béland, D., Lecours, A., Paquet, M. & Tombe, T.A. (2020) Critical Juncture in Fiscal Federalism? Canada's Response to COVID-19. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*. 53(2). pp. 239–243. doi: <https://doi.org/10.1017/s0008423920000323>

21. Zenin, S.S. (2021) Regulatory and Legal Support for the Activities of Public Authorities in the context of a New Coronavirus Infection (COVID-19) Pandemic. *Lex Russica*. 74(7). pp. 73–84. (In Russian). doi: 10.17803/1729-5920.2021.176.7.073-084

22. Pankevich, N.V. & Rudenko, V.V. (2021) Self-Isolation as a Legal Regime: The Russian Experience. *Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika – Legal Order: History, Theory, Practice*. 2(29). pp. 16–23. (In Russian).

23. Zürn, M. & Leibfried, S. (2005) *Transformations of the State?* Cambridge University Press.

Сведения об авторе:

Панкевич Н.В. – кандидат политических наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург, Россия). E-mail: n.pankevich@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Pankevich N.V. – Cand. Sci. (Political Science), docent; senior research fellow, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: n.pankevich@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.06.2022;

одобрена после рецензирования 22.03.2024; принята к публикации 15.04.2024

The article was submitted 08.06.2022;

approved after reviewing 22.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 327

doi: 10.17223/1998863X/78/19

ЛЕСТНИЦА НУКЛЕАРИЗАЦИИ: ГРАДИЕНТЫ ПОРОГОВОГО СОСТОЯНИЯ

Глеб Вячеславович Торопчин

*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия;
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, glebtoropchin@mail.ru*

Аннотация. Рассматривается концептуализация модели «лестница нуклеаризации», призванной структурировать осмысление поведения «пороговых государств». Эмпирическим материалом для апробации исследования выступает политика игроков Азиатско-Тихоокеанского региона, относящихся к пороговым: Республика Корея, Япония, Австралия и Тайвань. Определено место каждого государства на «лестнице нуклеаризации» в последние десятилетия с учетом концепции предоставления «ядерного зонтика» со стороны ядерных держав и собственных национальных ядерных программ.

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, ядерное нераспространение, пороговые государства, лестница нуклеаризации, ядерная латентность

Для цитирования: Торопчин Г.В. Лестница нуклеаризации: градиенты порогового состояния // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 227–238. doi: 10.17223/1998863X/78/19

Original article

NUCLEARISATION LADDER: THRESHOLD STATE GRADIENTS

Gleb V. Toropchin

*Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation;
University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation, glebtoropchin@mail.ru*

Abstract. The article is dedicated to conceptualising the model of a “nuclearisation ladder” aimed at structuring the understanding of threshold nuclear states’ behaviour. The scheme is based on the idea of the “escalation ladder”, originally suggested by Herman Kahn in the 1960s and developed by a number of authors since then. Notions such as “guarantor” and “beneficiary” are introduced: they describe the relationship between the state that initiates the extended nuclear deterrence system and its allies that capitalise on the positive security guarantees. Among the steps of the “nuclearisation ladder” are guarantor’s verbal interventions, legal confirmation of the positive security guarantees, emergence of additional mechanisms pertaining to extended nuclear deterrence, deployment of guarantor’s nuclear weapons on the beneficiary’s territory, and active development of beneficiary’s own nuclear weapons. Lastly, a nuclear test symbolises the transfer of a threshold nuclear state to the category of de facto nuclear weapons possessors. Of note is the bidirectional nature of the “nuclearisation ladder”. The external track is defined by differing levels of security guarantees on the part of a more powerful ally. At the same time, the internal vector is plotted based on the degree of proximity to obtaining an indigenous nuclear weapon. The author analyses both the cases of gradual militarisation of nuclear programmes and noticeably less conspicuous examples of de-escalation. From a rhetorical standpoint, the movement up and down the ladder is characterised by a transition from discursive practices to performative ones, exemplified by preventive speech acts. The policies of threshold actors in the Asia-Pacific (Republic of Korea, Japan, Australia, and Taiwan) serve as empiric

material for validating the study. The position of each nation on the “nuclearisation ladder” is determined as of recent decades with respect to the concept of a “nuclear umbrella” provided by a nuclear weapons state, as well as considering national nuclear programmes.

Keywords: Asia-Pacific, nuclear non-proliferation, threshold nuclear states, nuclearisation ladder, nuclear latency

For citation: Toropchin, G.V. (2024) Nuclearisation ladder: threshold state gradients. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 227–238. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/19

Введение

Целью статьи является презентация и обоснование концепции «лестница нуклеаризации» с опорой на исследовательскую литературу, посвященную проблемам эскалации международных конфликтов. Фокусом статьи является применение данной концепции для анализа поведения так называемых пороговых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Данная идея основана на логическом развитии уже закрепившегося в политической науке понятия «лестница эскалации» с учетом особенностей политики указанного типа государств в ядерной сфере. Такой способ позволяет учесть гетерогенность смыслового поля, связанного с понятием ядерной латентности. Этот термин закрепился в англоязычном дискурсе для описания состояния пороговых государств. Нуклеаризация, т.е. разработка военных ядерных программ, представляет собой частный случай гонки вооружений. В отличие от некоторых иных типов эскалации, нуклеаризация может происходить на протяжении долгого времени, что позволяет пороговым игрокам принять взвешенные решения ввиду отсутствия цейтнота [1. Р. 10].

В англоязычной литературе понятие «лестница нуклеаризации» не встречается за исключением книги под редакцией Дж. Криге, где под «лестницей» подразумевается последовательное технологическое развитие страны в сфере мирного атома. Однако само определение «лестница нуклеаризации» носит скорее разовый характер и эксплицитно не представлено как оригинальная концепция [2. Р. 348].

Пороговость стран в АТР, в отличие от других регионов, неразрывно связана с бинарной логикой отношений позитивных гарантий безопасности, или так называемый ядерный зонтик¹, предоставляемых США союзникам по региону. Подобная дихотомия обусловила необходимость введения таких ключевых понятий, как «гарант» и «бенефициары», когда «гарант» распространяет защиту посредством своего ядерного оружия, так называемый ядерный зонтик, на страны-союзники («бенефициары»). Появление нового ядерного государства в регионе следует рассматривать как проявление эскалации, что будет критическим для глобального режима ядерного нераспространения событием. Под эскалацией принято понимать «увеличение интенсивности или масштаба конфликта, который пересекает границы, считающиеся в качестве жизненно важных одним или несколькими участниками» [1. Р. 8]. Исследователи также предлагают понятие «эскалационное доминирование», под которым понимают достижение гипотетического превосходства над против-

¹ Позитивные гарантии безопасности представляют собой обязательства ядерных держав по оказанию помощи неядерным государствам, которым угрожают применением ЯО [3].

ником в последующих стадиях эскалации и ухудшение выбора противника [4]. В таких условиях соперники будут стремиться к избеганию наступления этой стадии. Одним из ключевых концептов для теоретического понимания постепенного повышения ставок служит идея «лестницы эскалации». Для прослеживания различных вариантов ее реализации, в том числе в применении к АТР, целесообразно оценить степень изученности темы в следующем разделе.

Обзор литературы

В 1960-е гг. в политической науке шло активное переосмыслением ядерного фактора, и был представлен концепт «лестница эскалации». Под ней подразумевается фиксируемая последовательность действий и событий, ведущих к усугублению конфликта, вплоть до входа его в ядерную фазу. Г. Кан предложил структуру лестницы эскалации, которая содержит 44 ступени [5. Р. 39]. Приблизительно в условной середине лестницы, на 21-м шаге, война переходила в ядерную (см. приложение 1). Предложенная Г. Каном модель вызывает оживленные дискуссии специалистов и сейчас. В статьях зарубежных и российских авторов понятие «лестница эскалации» представлено во множестве интерпретаций и трактовок. Их можно свести к балансированию между бинарностью (дихотомия «война – мир») и бесконечным набором промежуточных состояний. В некоторых работах не столько констатируется наличие различных ступеней, сколько предписывается намеренное их создание в рекомендациях для органов, которые ответственны за принятие решений. Например речь может идти о семиступенчатой модели «лестницы эскалации» [6. Р. 8–11]. В то же время некоторые авторы скептически оценивают модель Г. Кана, в частности за недостаточное внимание к экономическому измерению [6. Р. 8–11]. Стремительное технологическое развитие современных вооружений, включая ядерное оружие (ЯО), также заставляет переосмыслить изначальную концепцию. Ф.С. Каннингем высказывает мнение о том, что ядерные державы в случае эскалации будут изначально использовать конвенциональное оружие для устрашения противника [7].

Предложенная Г. Каном модель описывает линейную эскалацию, которая представляет собой последовательность действий по «повышению ставок». Но помимо такого общего вида были разработаны различные версии лестницы для специальных случаев. Одна из вариаций – динамическая лестница эскалации, подразумевающая добавление или уничтожение ступенек внутри самого процесса [3]. На него влияют четыре переменные: география, технологические возможности, риторика в публичной политике, а также модели поведения [7]. К.В. Богданов предложил понятие «воронка эскалации», которое метафорически описывает постоянное ухудшение ситуации с учетом ядерного фактора, как современный вариант понимания феномена, указывая на отход от линейной трактовки цепи событий [8]. Суть состоит в многомерности рассматриваемой ситуации, при этом на определенных этапах ее развития возникают так называемые червоточины (англ. wormholes), которые и становятся точками резкого (не пошагового) перехода к следующей стадии эскалации. Похожим, но не идентичным понятием может считаться распространенное словосочетание «спираль эскалации» [9]. В других публикациях используется термин «решетка эскалации» [6. Р. 8–11].

Встречаются попытки прикладного применения рассмотренных теоретических выкладок для стран АТР. Х. Курата анализирует возможности КНДР и приходит к выводу о готовности Пхеньяна как к горизонтальной, так и к вертикальной эскалации как способе снижения напряженности. Х. Курата объясняет этот парадокс слабостью Северной Кореи по сравнению с США в конвенциональных и ядерных вооружениях [10. Р. 34–36].

Исследователи моделируют преднамеренное создание лестниц эскалации в региональном масштабе за счет все более тесного сплетения конвенциональных и ядерных вооружений. Среди регионов, где такие «лестницы» могут появиться, С.Дж. Симбала называет Восточную и Южную Азию [11. Р. 141].

Концепция «лестницы эскалации» апробирована на материале Южной Азии. Э. Уитфилд описывает трехступенчатую модель «теракт – конвенциональная атака – ядерный удар» и соответствующую триаду «повод – ответ – финальная стадия». Переход на другую ступеньку «лестницы» может быть вызван внешними событиями, например, терактом, устроенным пакистанскими прокси, т.е. экстремистскими группировками при скрытой поддержке Исламабада [12. Р. 74]. В.Р. Рагхаван рассматривает возможность эскалации «ограниченной войны» между Индией и Пакистаном до полномасштабного ядерного конфликта, что во многом объясняется нарочито размытыми формулировками их доктрин [13. Р. 82].

Концепция «лестницы эскалации» использовалась Ф.С. Каннингем для анализа соперничества США и КНР в регионе, когда морская блокада рассматривалась как один из вариантов действий ядерных держав вокруг Тайваня [7]. С точки зрения Каннингема, морская блокада не вызовет ядерного ответа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в отличие от конвенционального удара США по территории КНР. При этом описанное действие находится на одной из низких ступеней «лестницы эскалации» и, предположительно, несет меньшие эскалационные риски.

В исследовательской литературе пороговые страны редко рассматривались сквозь призму концепции «эскалации». Почти единственным исключением является термин «лестница хеджирования» в книге М. Фитцпатрика, посвященной латентным ядерным державам. Под «хеджированием», либо подстраховкой, он понимает совершенствование технологий двойного назначения, включая средства доставки и ядерное оружие. Фитцпатрик считает важным не допустить продвижения пороговых стран Восточной Азии (Тайвань¹, Япония, Южная Корея) по «лестнице хеджирования» [14. Р. 9–16].

Таким образом, исследователи применяли концепцию «лестницы эскалации» для анализа поведения официальных ядерных держав (ЯОГ)² и de facto ядерных держав региона – Индии и Пакистана. В то же время недостаточно изученным видится анализ поведения стран, имеющих технологические возможности для обретения ЯО, но не принявших пока такое решение. Речь идет

¹ Для удобства обозначения в данной работе Тайвань также именуется «пороговой страной», несмотря на неоднозначный характер его статуса.

² Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 г., ЯОГ принято считать государства, которые успели провести ядерное испытание до 1 января 1967 г. К ЯОГ относятся РФ, США, Франция, Великобритания и КНР.

о пороговых (или латентных) ядерных стран Ближнего Востока и АТР, и это позволяет проверить гипотезу «лестницы нуклеаризации».

Концепция «лестница нуклеаризации»

В настоящем исследовании предлагается модель, описывающая характерную для политики пороговых игроков цепь принятия решений. Ее можно терминологически обозначить как «лестницу нуклеаризации». Она представляет собой теоретически абстрагированную и иерархически структурированную линейную последовательность, верифицированную на исторических и современных примерах. Впрочем, указанные характеристики отнюдь не исключают возможности перехода государства в качественно другое состояние, минуя один или сразу несколько этапов. Лестница при этом объединяет собой внешнюю и внутреннюю «дорожки» (рис. 1), т.е. учитываются как действия со стороны предоставляющего «ядерный зонтик» гаранта, так и собственные усилия по обеспечению суверенитета. Большинство ступеней можно проиллюстрировать примерами, характерными для АТР.

Гарантии безопасности извне (США)	DE FACTO ЯДЕРНЫЕ ДЕРЖАВЫ	Близость к обретению собственного ЯО
	Получение ЯО	
	Активная разработка собственного ЯО	
	Размещение ЯО гаранта	
	Добавочные механизмы расширенного ядерного сдерживания	
	Юридическое закрепление расширенного ядерного сдерживания	
	Вербальные интервенции гаранта	
	НЯОГ в ДОПОРОГОВОМ СОСТОЯНИИ	

Рис. 1. Модель «лестницы нуклеаризации»

Первый уровень лестницы представляет собой *вербальные интервенции* со стороны гаранта, подтверждающие готовность защищать бенефициара в случае ядерной атаки либо же нападения с применением конвенционального оружия. На практике речь идет о Тайване, который президент США Дж. Байден неоднократно обещал защищать в случае атаки, несмотря на отсутствие официального признания Вашингтоном в качестве государства и – тем более – юридически оформленных гарантий безопасности [15. Р. 64–65].

На втором этапе происходит *юридическое закрепление расширенного ядерного сдерживания*. В современной терминологии все чаще употребляется понятие «интегрированное ядерное сдерживание»¹, причем, не исключающее и «ядерного зонтика». На данный момент государством макрорегиона, в отношении которого действует такая система, является Япония. Она применима и к Южной Корее с Австралией, однако последние имеют и дополнительные гарантии от США (см. ниже), что позволяет вынести их на более высокие ступени.

¹ Интегрированное ядерное сдерживание подразумевает сочетание позитивных гарантий безопасности и комплекса иных средств сдерживания (конвенциональных вооружений, экономических мер и пр.).

Третий уровень также включает в себя позитивные гарантии безопасности, но дополняется и отдельными, *добавочными механизмами*, призванными укрепить достоверность такого вида сдерживания. Для Австралии это договор о безопасности с США и Великобританией (АЮКИОС, с англ. AUKUS)¹, для Республики Корея действует Вашингтонская декларация². В первом случае предполагается постепенная передача Австралийскому Союзу технологий ядерных силовых установок для субмарин, во втором случае – разрешение на заход американских ПЛАРБ (атомных подводных лодок с баллистическими ракетами) в порты Республики Корея. Симптоматично, что переход на данную стадию состоялся лишь в 2020-е гг., при встраивании США своих союзников в морскую составляющую своей ядерной триады (пусть и скорее опосредованное в случае Канберры).

Гипотетически следующим уровнем может быть *размещение ЯО США* в государствах региона. Исторические прецеденты этому в АТР есть. Например, размещение американских ядерных боеголовок в азиатских странах в эпоху холодной войны, включая Республику Корея, острова Рюкю (ныне территория Японии) и Филиппины [16. Р. 38–63].

На следующей стадии может произойти реализация принципа *совместного управления ЯО* по образцу действий НАТО в пяти европейских странах (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция). Вариативность состоит в комбинировании различных вариантов уровня доступа к средствам доставки и самому ЯО и иерархия принятия решений.

Далее может следовать *активная фаза разработки собственной военной ядерной программы* пороговым игроком и непосредственный выход в период латентности (время, необходимое пороговой стране для получения ЯО), длящийся до обретения ядерных взрывных устройств (ЯВУ), которые можно разместить на носители. Данный этап можно разделить на подуровни в зависимости от наличия у страны средств доставки, от одного компонента до полноценной триады (т.е. наземные, подводные и воздушные средства доставки). На нижнем уровне вне самой «лестницы эскалации» находятся субпороговые игроки, а следующий, более высокий уровень, представлен de facto ядерными державами.

Обсуждение: характеристики и модальности

В целом возможно предвидеть большое число промежуточных шагов со стороны как гаранта безопасности, который будет стремиться доказать достоверность интегрированного ядерного сдерживания, так и самой пороговой страны, стремящейся к субъектности на международной арене. Постепенное использование таких минимальных одномоментных изменений (см. рис. 1) вписывается в рамки известной политической стратегии «отрезания по кусочкам» (англ. *salami slicing*). Пороговые страны могут прибегать к манипулятивному воздействию на гаранта с целью получить дополнительные практические гарантии безопасности, а не только документальные или устные гарантии. Бенефициару порой выгодно эксплуатировать уязвимости гаранта,

¹ AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) – трёхстороннее соглашение в области безопасности, о котором лидеры Австралии, Великобритании и США объявили 15 сентября 2021 г.

² О подписании Вашингтонской декларации заявили президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль 26 апреля 2023 г.

предоставляющего «ядерный зонтик», для улучшения своего положения и ситуативного изменения status quo в свою пользу.

Намерения пороговых стран, повышающих ставки на лестнице нуклеаризации, могут быть двоякими. С одной стороны, это односторонняя эскалация с расчетом на улучшение положения в отсутствие негативной реакции со стороны потенциальных противников. С другой стороны, пороговые страны стремятся спровоцировать гаранта на уступки в предоставлении более выгодных условий в обмен на отказ от нуклеаризации. Гарант может применять меры вознаграждения, чтобы снизить мотивацию бенефициара к эскалации. Соответственно, осознанный, добровольный отказ от перехода на следующую ступень (тем более через несколько ступеней) при наличии стимулов представляет собой проявление стратегического воздержания со стороны бенефициаров.

Дробление лестницы обусловлено тем, что сумма малых шагов приводит к принципиальному решению о нуклеаризации. Т. Шеллинг сравнивал переход к ядерному конфликту со скользким склоном, нежели с крутым обрывом [17]. Такой отход от бинарности близок и концепции «лестницы нуклеаризации», учитывая градиентный характер описываемых процессов. Впрочем, расстояние между ступенями также не представляется равномерным, и вероятность перехода к одному из последующих шагов может быть ниже или выше в сравнении с предыдущим. При дальнейшем членении становится очевидным, что собственные возможности приближают страну к нуклеаризации больше, нежели в случае с импортом технологий, ввиду большей независимости от действий гаранта либо другого поставщика.

Для «лестницы» характерна векторная направленность, при этом движение по ней, как правило, происходит от дискурсивных практик к перформативным, материализующимся в действии. Иногда переход на следующую ступень предваряют собой превентивные речевые акты. К таковым относится, в частности, высказывание Юн Сок Ёля в январе 2023 г., позволившее добиться заходов американских подлодок в южнокорейские порты по Вашингтонской декларации в апреле 2023 г. [18].

Впрочем, векторы могут иметь двунаправленную природу, как и в случае с лестницей эскалации [3]. Стремление к максимизации безопасности приводит к тому, что с большей вероятностью игроки предпочтут двигаться вверх, а не вниз. Однако примечательно, что движение возможно и в обратном направлении. Так, пришла к полному отказ от ЯО уже после достижения верхнего уровня ЮАР.

Таким образом, «спуск» по «лестнице нуклеаризации» возможен не только в теоретических построениях, но и на практике. Вывод США нестратегического ЯО из азиатских стран после окончания холодной войны ознаменовал ядерную деэскалацию и движение нескольких государств региона вниз на несколько ступенек по предложенной лестнице. Республика Корея продолжала довольствоваться позитивными гарантиями безопасности со стороны Вашингтона, а Филиппины спустились по этой лестнице в самый низ, если не вышли из нее полностью. Важно, что сдвиг произошел по инициативе гаранта, а не бенефициара.

Вероятность эскалации гораздо выше, что подтверждается конкретными случаями. Можно отметить неоднократное возвращение страны на одну и ту же ступень. Например, практика захода американских ПЛАРБ в порты Рес-

публики Корея существовала во время холодной войны в случае с Новой Зеландией, до запрета подобных действий Веллингтоном в середине 1980-х гг. [19]. Все это позволяет предположить, что в разных геополитических условиях как гаранты, так и бенефициары могут влиять на направление движения по лестнице.

При ином взгляде на конструкцию она напоминает две параллельные прямые, но с пересечениями, как в неевклидовой геометрии. Первый «трек», внешний, при этом показывает разные уровни гарантий безопасности, второй, внутренний, демонстрирует степень близости к обретению собственного ЯО. В то же время стоит оговориться, что эти линии представляются настолько взаимосвязанными, что целесообразно объединить их в одной модели. То есть нуклеаризация пороговых стран не просто сводится к сумме политической воли их самих и гаранта, но представляет собой синергетический эффект и проявление свойства системы – эмерджентность.

На первой «дорожке» обращает на себя внимание неодинаковая трактовка оборонных договоров США с союзниками по региону. Так, двусторонние договоры в области безопасности с Японией и Республикой Корея трактуются однозначно как основание для предоставления «ядерного зонтика», в то время как в отношении АНЗЮС возникают сомнения (см., напр.: [20. Р. 235]). В случае с Филиппинами оборонительный договор 1951 г. [21] стандартно принято трактовать как отсутствие позитивных гарантий безопасности в ядерной сфере, несмотря на исторический опыт размещения тактического ядерного оружия.

Что касается второго «трека», несмотря на выход на первый план лишь на конечном из этапов, латентность подспудно проявляется на всем протяжении лестницы, поступательно проявляясь все четче с движением вперед.

При отдельном рассмотрении целесообразным было бы и выделение индивидуальных траекторий конкретных пороговых игроков. В частности, гипотетическое провозглашение Тайванем независимости представляет собой уникальную для этого актора ступень на лестнице эскалации, так как остальные пороговые игроки являются полноправными членами международного сообщества. Так, вслед за объявлением о постепенном предоставлении Австралии подводных лодок с ядерными силовыми установками (ЯСУ) в рамках АЮКЮС об аналогичных возможностях задумалась Республика Корея, активизировались дискуссии на эту же тему и в Японии.

Заключение

Таким образом, «лестница нуклеаризации» представляет собой градуированную шкалу для обозначения стадий пороговости соответствующих стран. Как и другие модели, данная модель является умозрительной абстракцией с неизбежным упрощением. Суть предлагаемого концепта и модели содержит морфологическую схожесть с «лестницей эскалации» в классическом и расширенном вариантах. Впрочем, приходится также признать, что не всегда линейная последовательность действий будет иметь место в реальности. Например, непреднамеренные действия или непредугаданная интерпретация могут превратить лестницу в лифт или конвейер (метафоры, описывающие неподконтрольность ситуации). При этом если говорить о конкретных «кейсах», все игроки, приводимые в примерах, находятся на разных ступенях «лестницы».

При этом предлагаемая исследовательская рамка не ограничена региональным масштабом и может быть применена к другим частям мирового пространства для проведения соответствующего анализа. Модель можно апробировать для анализа ситуации в других странах и регионах. В первую очередь, это регион Ближнего Востока с учетом актуальности ядерной программы Ирана. Также в будущем возможно дополнить схему отдельными промежуточными шагами для большего приближения к реальной ситуации и повышения практической применимости.

Предлагаемая концепция содержит дискуссионные моменты, к которым можно отнести проблему нуклеаризации на условном третьем этапе, сравнивая южнокорейский сценарий с заходом в порты и австралийский с собственными АПЛ с ядерными силовыми установками. Можно предположить, что более вероятным вариантом будет второй благодаря наличию элемента собственного контроля и относительно меньшей зависимости от гаранта, по крайней мере, на финальных этапах.

Значение разработанной концепции состоит в том, что она позволяет зафиксировать особенности принятия решений пороговыми игроками в ядерной сфере. Показано, что решение о нуклеаризации не принимается одномоментно, ему предшествует целый ряд промежуточных шагов. Кроме того, модель «лестницы нуклеаризации» явственно свидетельствует о влиянии гаранта безопасности на самопозиционирование бенефициара в сфере безопасности.

Приложение 1. Модель «лестницы эскалации» Г. Кана (авторский перевод по [22])

	[Последствия]
Всеобщая война с вовлечением гражданского населения	44. Бездумная война
	43. Иные виды контролируемой всеобщей войны
	42. Разрушительные удары по гражданскому населению
	41. Нарастающие обезоруживающие удары
	40. Эквивалентный ответный залп
	39. Ограниченная война против городов
Всеобщая война	[порог: «удары по городам»]
	38. Неограниченный контрсиловой удар
	37. Прицельный контрсиловой удар
	36. Ограниченный обезоруживающий удар
	35. Ограниченная война против военного потенциала
	34. Ограниченная контрсиловая война
	33. Ограниченная война против инфраструктуры
Показательные удары	32. Официальное объявление «всеобщей» войны
	[порог: «всеобщая война»]
	31. Взаимные контрмеры
	30. Полная эвакуация: около 95% населения
	29. Демонстративные удары по населению
	28. Демонстративные удары по частной собственности
Специфический кризис	27. Демонстративные удары по военной инфраструктуре
	26. Показательная атака на тылы противника
	[порог: «катака тылов противника невозможна»]
	25. Эвакуация: около 70% населения
	24. Необычные, провокационные, существенные контрмеры
Интенсивный кризис	23. Локальные ядерные удары по военным целям
	22. Объявление локальной ядерной войны
	21. Локальная ядерная война: демонстративная акция
	[порог: «нельзя применять ядерное оружие»]
	20. «Мирное» всеобщее эмбарго/блокада

	19. «Оправданный» контрсилевой удар
	18. Демонстрация силы
	17. Ограниченная эвакуация: около 20% населения
	16. Ядерные ультиматумы
	15. Преддверие ядерной войны
	14. Объявление обычной конвенциональной войны
	13. Крупномасштабная комплексная эскалация
	12. Крупномасштабная конвенциональная война (боевые действия)
	11. Состояние полной готовности
	10. Провокационный разрыв дипотношений
Традиционный кризис	[порог: «ядерная война немыслима»]
	9. Серьезные военные столкновения
	8. Ощутимые акты насилия
	7. Законные притеснения
	6. Значительная мобилизация
	5. Демонстрация силы
	4. Укрепление позиций: конфронтация волеизъявлений
Докризисное маневрирование	[порог: «нельзя раскачивать лодку»]
	3. Публичные и формальные заявления
	2. Политические, экономические и дипломатические действия
	1. Ощутимый кризис
	[Разногласия: холодная война]

Список источников

1. *Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century* / F.E. Morgan, K.P. Muelle, E.S. Medeiros, K.L. Pollpeter [et al.] // RAND, 2008. Chapter 2. The Nature of Escalation. P. 7–46.
2. *How Knowledge Moves: Writing the Transnational History of Science and Technology* / ed. by J. Krige. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2019. 444 p.
3. Сидорова Е.А. Гарантии безопасности государствам, не обладающим ядерным оружием // Современное право. 2010. № 6. С. 123–125.
4. Lo J., Ng K.J., Lo H. Reconstructing the Ladder: Towards a More Considered Model of Escalation // Strategy Bridge. 2022. URL: <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2022/9/1/reconstructing-the-ladder-towards-a-more-considered-model-of-escalation> (access date: 25.02.2024).
5. Kahn H. On Escalation: Metaphors and Scenarios. New York : Frederick A. Praeger, 1965. 308 p.
6. Rosenberg E., Tama J. Strengthening the Economic Arsenal. Center for a New American Security, 2019. 17 p.
7. Cunningham F.S. The Maritime Rung on the Escalation Ladder: Naval Blockades in a US-China Conflict // Security Studies, 2020. Vol. 29, № 4. P. 730–768. doi: 10.1080/09636412.2020.1811462
8. Богданов К.В. Сдерживание в эпоху малых форм // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21, № 3. С. 42–52. doi: 10.31278/1810-6439-2023-21-3-42-52
9. Kydd A. Game Theory and the Spiral Model // World Politics. Apr. 1997. Vol. 49, № 3. P. 371–400.
10. Kurata H. North Korea's Nuclear Weapon Capabilities: The Emerging Escalation Ladder // CSCAP Regional Security Outlook 2017 / ed. by R. Huysken, E. Larsen, R. Smith, A. Milne [et al.]. CSCAP, 2017. P. 34–36.
11. Cimbala S.J. Nuclear Proliferation in the Twenty-First Century: Realism, Rationality, or Uncertainty? // Strategic Studies Quarterly. Spring 2017. Vol. 11, № 1. P. 129–146.
12. Whitfield E. From Terrorism to Nuclear War: The Escalation Ladder in South Asia // Project on Nuclear Issues: A Collection of Papers from the 2015 Conference Series / ed. by S. Minot, J. Anderson, D. McDonald, N. Giacometti [et al.]. CSIS, 2016. P. 70–83.
13. Raghavan V.R. Limited War and Nuclear Escalation in South Asia // The Nonproliferation Review. 2001. Vol. 8, № 3. P. 82–98. doi: 10.1080/10736700108436865.
14. Fitzpatrick M. Asia's Latent Nuclear Powers: Japan, South Korea and Taiwan // Adelphi series. 2015. Vol. 55, Iss. 455. 176 p.
15. Taylor B. Enhancing Taiwan's Security and Reducing the Possibility of Conflict // Asia-Pacific Regional Security Assessment 2022. – International Institute for Strategic Studies. London : Routledge, 2022. P. 58–79.

16. Roehrig T. Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella // Contemporary Asia and the World. Columbia University Press, 2017. doi: 10.7312/roeh15798
17. Tunander O. The Logic of Deterrence // Journal of Peace Research. 1989. Vol. 26, № 4. P. 353–365. doi: 10.1177/0022343389026004003
18. Chung S.-Y. Washington Declaration: Evolution of the Extended Deterrence // Korea Institute for National Unification. URL: <https://repo.kinu.or.kr/bitstream/2015.oak/14342/1/CO23-16%28e%29.pdf> (access date: 12.03.2024).
19. Reitzig A. In Defiance of Nuclear Deterrence: Anti-Nuclear New Zealand after Two Decades // Medicine, Conflict and Survival, 2006. Vol. 22, № 2. P. 132–144. doi: 10.1080/13623690600621112
20. Behm A. Extended Deterrence and Extended Nuclear Deterrence in a Pandemic World // WMD in Asia-Pacific / ed. by P. Hayes, T. Kulkarni, Chung-in Moon, Sh. Shetty. Seoul, South Korea : Asia-Pacific Leadership Network for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament, 2022.
21. Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines; August 30, 1951 // Yale Law School. Lillian Goldman Law Library. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/phil001.asp (access date: 12.03.2024).
22. Rummel R.J. Comparative Dynamics Of International Conflict // Understanding Conflict and War: Vol. 4. War, Power and Peace. URL: <https://www.hawaii.edu/powerkills/WPP.CHAP13.HTM>. (access date: 12.03.2024).

References

1. Morgan, F.E., Muelle, K.P., Medeiros, E.S., Pollpeter, K.L. et al. (2008) *Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century*. RAND. pp. 7–46.
2. Krige, J. (ed.) (2019) *How Knowledge Moves: Writing the Transnational History of Science and Technology*. Chicago; London: The University of Chicago Press.
3. Lo, J., Ng, K.J. & Lo, H. (2022) *Reconstructing the Ladder: Towards a More Considered Model of Escalation*. [Online] Available from: <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2022/9/1/reconstructing-the-ladder-towards-a-more-considered-model-of-escalation> (Accessed: 25th February 2024).
4. Sidorova, E.A. (2010) Garantii bezopasnosti gosudarstvam, ne obladayushchim yadernym oruzhiem [Security guarantees for states that do not possess nuclear weapons]. *Sovremennoe pravo*. 6. pp. 123–125.
5. Kahn, H. (1965) *On Escalation: Metaphors and Scenarios*. New York: Frederick A. Praeger.
6. Rosenberg, E. & Tama, J. (2019) *Strengthening the Economic Arsenal*. Center for a New American Security.
7. Cunningham, F.S. (2020) The Maritime Rung on the Escalation Ladder: Naval Blockades in a US-China Conflict. *Security Studies*. 29(4). pp. 730–768. doi: 10.1080/09636412.2020.1811462
8. Bogdanov, K.V. (2023) Sderzhivanie v epokhu mal'nykh form [Containment in the era of small forms]. *Rossiya v global'noy politike*. 21(3). pp. 42–52. doi: 10.31278/1810-6439-2023-21-3-42-52
9. Kydd, A. (1997) Game Theory and the Spiral Model. *World Politics*. 49(3). pp. 371–400.
10. Kurata, H. (2017) North Korea's Nuclear Weapon Capabilities: The Emerging Escalation Ladder. In: Huiskens, R., Larsen, E., Smith, R., Milne, A. et al. (eds) *CSCAP Regional Security Outlook 2017*. CSCAP. pp. 34–36.
11. Cimbala, S.J. (2017) Nuclear Proliferation in the Twenty-First Century: Realism, Rationality, or Uncertainty? *Strategic Studies Quarterly*. 11(1). pp. 129–146.
12. Whitfield, E. (2016) From Terrorism to Nuclear War: The Escalation Ladder in South Asia. In: Minot, S., Anderson, J., McDonald, D., Giacometti, N. et al. (eds) *Project on Nuclear Issues: A Collection of Papers from the 2015 Conference Series*. CSIS. pp. 70–83.
13. Raghavan, V.R. (2001) Limited War and Nuclear Escalation in South Asia. *The Nonproliferation Review*. 8(3). pp. 82–98. doi: 10.1080/10736700108436865
14. Fitzpatrick, M. (2015) *Asia's Latent Nuclear Powers: Japan, South Korea and Taiwan*. Routledge.
15. Taylor, B. (2022) Enhancing Taiwan's Security and Reducing the Possibility of Conflict. In: *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2022*. International Institute for Strategic Studies. London: Routledge. pp. 58–79.
16. Roehrig, T. (2017) *Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella*. Columbia University Press. doi: 10.7312/roeh15798
17. Tunander, O. (1989) The Logic of Deterrence. *Journal of Peace Research*. 26(4). pp. 353–365. doi: 10.1177/0022343389026004003
18. Chung, S.-Y. (2015) *Washington Declaration: Evolution of the Extended Deterrence*. [Online] Available from: <https://repo.kinu.or.kr/bitstream/2015.oak/14342/1/CO23-16%28e%29.pdf> (Accessed: 12th March 2024).

19. Reitzig, A. (2006) In Defiance of Nuclear Deterrence: Anti-Nuclear New Zealand after Two Decades. *Medicine, Conflict and Survival*. 22(2). pp. 132–144. doi: 10.1080/13623690600621112
20. Behm, A. (2022) Extended Deterrence and Extended Nuclear Deterrence in a Pandemic World. In: Hayes, P., Kulkarni, T., Chung-in Moon & Shetty, Sh. (eds) *WMD in Asia-Pacific*. Seoul, South Korea: Asia-Pacific Leadership Network for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament.
21. USA. (1951) *Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines; August 30, 1951*. Yale Law School. Lillian Goldman Law Library. [Online] Available from: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/phil001.asp (Accessed: 12th March 2024).
22. Rummel, R.J. (n.d.) Comparative Dynamics of International Conflict. In: *Understanding Conflict and War*. Vol. 4. [Online] Available from: <https://www.hawaii.edu/powerkills/WPP.CHAP13.HTM>. (Accessed: 12th March 2024).

Сведения об авторе:

Торопчин Г.В. – кандидат исторических наук, доцент Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия); доцент Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: glebtoropchin@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Toropchin G.V. – Cand. Sci. (History), associate professor, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation); associate professor, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: glebtoropchin@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 12.03.2024;
одобрена после рецензирования 27.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 12.03.2024;
approved after reviewing 27.03.2024; accepted for publication 15.04.2024*

Научная статья

УДК 378

doi: 10.17223/1998863X/78/20

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ В 2022–2023 гг.

Анастасия Михайловна Погорельская¹, Николай Петрович Погодаев²

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *pogorelskaya@mail.tsu.ru*

² *nik-pogodaev@yandex.ru*

Аннотация. В период независимости Таджикистан выстраивает национальную систему высшего образования, но ее модернизации препятствуют особенности развития страны. Учитывая ограниченные результаты реформирования высшего образования в Таджикистане, оценены перспективы его образовательного сотрудничества с Россией и экспорта российских услуг в области высшего образования в Таджикистан в текущей международной обстановке.

Ключевые слова: высшее образование, Таджикистан, модернизация, экспорт, международное сотрудничество

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10036, <https://rscf.ru/project/23-78-10036/>

Для цитирования: Погорельская А.М., Погодаев Н.П. Модернизация высшего образования в Таджикистане и особенности образовательного сотрудничества с Россией в 2022–2023 гг. // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 239–248. doi: 10.17223/1998863X/78/20

Original article

MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN TAJIKISTAN AND THE FEATURES OF EDUCATIONAL COOPERATION WITH RUSSIA IN 2022–2023

Anastasia M. Pogorelskaya¹, Nikolay P. Pogodaev²

^{1, 2} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *pogorelskaya@mail.tsu.ru*

² *nik-pogodaev@yandex.ru*

Abstract. The research questions that the authors of the article focused on are the following: What are the resources and barriers to modernizing the higher education system in Tajikistan? What determines educational cooperation between Tajikistan and Russia? What are the prospects for expanding the export of Russian services in the field of higher education to Tajikistan in the current international political crisis that started in 2022–2023? The study is based on an analysis of works by foreign and Russian authors about the peculiarities of the development of higher education systems in the countries of Central Asia and Tajikistan in particular. Since the period 2022–2023 is little reflected in the research literature, the authors relied on available statistical data from national departments of

Tajikistan and international organizations (UNESCO and the World Bank), as well as news reports about events in bilateral relations between Russia and Tajikistan. As a result of the study, the following conclusions were made. Barriers to the modernization of the higher education system in Tajikistan are both objective (demographic pressure, high levels of poverty and corruption, low government spending on education) and subjective (declarative planning, choice in favor of an extensive path of development for the higher education system, risk avoidance by managers) factors. Resources for modernization are education in the Russian language, which allows borrowing Russian practices, international development assistance, and educational cooperation with Russia. The latter is developing despite the deteriorating international situation. In 2022–2023, new Russian schools were opened in Tajikistan and new agreements were signed. However, enrollment in Russian universities from Tajikistan fell. And although the authors suggest that this is rather a short-term phenomenon, it is recommended to continue efforts to spread the Russian language in Tajikistan and build mutually beneficial cooperation between Russian schools in Tajikistan and Russian universities.

Keywords: higher education, Tajikistan, modernization, export, international cooperation

Acknowledgement: The research was supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-78-10036, <https://rscf.ru/en/project/23-78-10036/>

For citation: Pogorelskaya, A.M. & Pogodaev, N.P. (2024) Modernization of the higher education system in Tajikistan and the features of educational cooperation with Russia in 2022–2023. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 239–248. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/20

Актуальность исследования системы высшего образования Таджикистана обусловлена тем, что на постсоветском пространстве это государство остается одним из немногих, образовательное сотрудничество которого с Россией расширяется. От того, насколько долгосрочен данный тренд, зависят перспективы экспорта российских услуг в области высшего образования в эту страну.

Исследовательские вопросы, на которых сфокусировались авторы статьи, следующие: Каковы ресурсы и барьеры на пути модернизации системы высшего образования Таджикистана? Чем обусловлено образовательное сотрудничество Таджикистана с Россией? Каковы перспективы для расширения экспорта российских услуг в области высшего образования в Таджикистан в сложившихся в 2022–2023 гг. международных условиях?

Исследование строится на анализе работ зарубежных и российских авторов, посвященных особенностям развития систем высшего образования стран Центральной Азии в целом и Таджикистана в частности. Поскольку период 2022–2023 гг. пока мало отражен в научной литературе, авторы полагались на доступные статистические данные национальных ведомств Таджикистана и международных организаций (ЮНЕСКО и Всемирного банка), а также новостные сообщения о событиях в двусторонних отношениях России и Таджикистана.

Барьеры и ресурсы модернизации высшего образования: кейс Таджикистана

Страны Центральной Азии с 1990-х гг. стремились выстраивать национальные системы высшего образования, призванные готовить лояльных граждан, говорящих на государственном языке, и одновременно специалистов, востребованных в национальной экономике. Вдобавок новая международная ситуация, в которой оказались эти страны, требовала их встраивания в

глобальные тренды: массовизации при сокращении государственных расходов на высшее образование, развития академической мобильности, внедрения международных образовательных стандартов и повышения качества высшего образования для того, чтобы достойно конкурировать за лучший человеческий капитал [1].

Степень, в которой странам региона удалось это сделать, разнится. Казахстан и Кыргызстан относительно быстро стали ориентироваться на западные стандарты, хотя первый официально вошел в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) и заявил о желании стать региональным образовательным хабом, составляя конкуренцию России [2], а второй успешно привлекает иностранных студентов, оставаясь за пределами ЕПВО. В Узбекистане до 2016 г. доступность высшего образования сокращалась, но с приходом к власти нового президента высшее образование вступило на путь ускоренной модернизации и интернационализации [3]. Туркменистан остался закрытой страной и внедряет точечные изменения в систему высшего образования, жестко контролируемые на высшем уровне, опасаясь оттока молодежи за рубеж [4]. Система высшего образования Таджикистана стагнирует и не отвечает ни международным стандартам качества [5. С. 130], ни потребностям национального рынка труда [6. С. 105; 7].

Общими проблемами для модернизации систем высшего образования стран Центральной Азии стали сохраняющееся демографическое давление на нее, высокий уровень бедности, нехватка государственных ресурсов на полномасштабную модернизацию системы высшего образования, высокий уровень коррупции и падение квалификации профессорско-преподавательского состава в 1990-х гг.

Таджикистан продолжает с ними сталкиваться: рост населения с началом третьего тысячелетия по большей части обгоняет другие страны региона [8], а уровень затрат на высшее образование сопоставим с ними в относительных цифрах (табл. 1). Вдобавок таджикские вузы зависят от платы за обучение на фоне низкой заработной платы преподавателей. Это отчасти побуждает к коррупции в сфере высшего образования [9].

Таблица 1. Государственные затраты на высшее образование в странах Центральной Азии, % ВВП [10]

Страна	2012 г.	2015 г.	2017 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Казахстан	...	0,43	0,29	0,31	...	...	...
Кыргызстан	0,89	...	0,18	...	0,16	0,99	0,12
Таджикистан	0,45	0,49	...	...	...	...	...
Туркменистан	0,28	...	...	0,37	0,42	...	...
Узбекистан	...	...	0,23	0,24	0,28	0,43	0,67

Противоречивое воздействие на систему высшего образования оказывает частая ротация руководства профильного министерства и университетов. С одной стороны, за этим можно усмотреть поиск наиболее эффективных менеджеров высшего звена для данной сферы, с другой – это препятствует долгосрочному планированию и реализации управленцами, не уверенными в своем будущем, намеченных планов.

При декларировании целей развития в стратегических документах: перехода к Болонским стандартам [11] и развития «экономики знаний» [12. С. 56], на деле происходит скорее мимикрия под международные практики.

В последние годы стала очевидна экстенсивность выбранного пути развития системы высшего образования: при росте количества вузов, студентов, преподавателей и даже доли преподавателей с научными степенями (табл. 2), сохраняется нехватка государственного финансирования, низкое материально-техническое обеспечение вузов, а также низкое качество обучения. Модель развития университетов Таджикистана представляет собой превышение вложений в основной капитал – здания и сооружения – над вложениями в новое оборудование и человеческий капитал – подготовку квалифицированных преподавателей. Тем не менее государство не стремится привлекать иностранных преподавателей, предполагая, что уровень подготовки преподавательского корпуса может повыситься в будущем за счет возвращения тех граждан Таджикистана, которые выехали в свое время за рубеж и смогли повысить там квалификацию.

Таблица 2. Количественные показатели системы высшего образования Таджикистана
[13. С. 100; 14. С. 123, 212]

Показатель	Учебный год		
	1989/90	2015/16	2022/23
Количество вузов	10	38	46
Количество студентов	65 586	178 109	220 287
Количество бюджетных мест	65 586	67 072	56 500
Количество штатных преподавателей	3 845*	8 707	10 048
Количество преподавателей со степенью кандидата или доктора наук	2 095	2 798	3 723

* указаны как научно-педагогические работники

Стране, отказавшейся в силу культурных паттернов от второго демографического перехода и сохраняющей высокую рождаемость, приходится решать проблему «молодежного пузыря» за счет расширения системы высшего образования, предотвращая массовый выход молодежи, окончившей среднюю школу, на рынок труда, где она не может найти достаточного количества рабочих мест. Это создает трудности конвертации большого числа людей с дипломами в человеческий капитал.

Однако в последние несколько лет таджикские вузы недобирают абитуриентов, что вызвано разрывом между декларативными заявлениями о важности высшего образования как социального лифта для молодежи [15] и реалиями высшего образования, в том числе несоответствием цены качеству образования [5] и несовпадения подготовки в вузах запросам национального рынка труда [6, 7]. Свою роль сыграл новый закон «О воинской обязанности и военной службе» 2021 г., по которому окончание вуза не освобождает от службы в армии. В этой ситуации происходит распад норм, а в результате возникает напряжение, преодолеть которое выпускники пытаются путем изгнания [16].

Однако у системы высшего образования Таджикистана существуют ресурсы для модернизации, хотя они и ограничены. Например, в Конституции страны 1999 г. русский язык был назван «языком межнационального общения» [17]. Однако в законе «О государственном языке Республики Таджикистан» 2009 г. он не упоминается ни разу. В системе образования изучение государственного языка – таджикского – является обязательным, кроме того, также «языком науки является государственный язык», хотя «в научных исследованиях могут

использоваться и другие языки», а также «создаются условия для изучения арабского письма и издания литературы на этом письме» [18].

Таблица 3. Распределение студентов в вузах Таджикистана по языку обучения [14. С. 196]

Учебный год	Количество студентов	Язык			
		Таджикский	Русский	Узбекский	Английский
2013/14	157 791	126 168	30 504	779	340
2015/16	178 109	147 455	29 025	248	1 381
2022/23	220 287	178 254	38 824	299	2 640

Тем не менее русский язык пока остается востребованным в системе образования, в том числе высшего (табл. 3). Благодаря этому в стране уже долгое время работают три филиала российских университетов (МГУ, МИСиС и МЭИ) и один совместный вуз – Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). Сотрудничество с Россией в сфере высшего образования, таким образом, тоже может выступать ресурсом модернизации, поскольку вносит элемент конкуренции с местными вузами, но важнее – иностранные практики и стандарты.

Ресурсом модернизации системы высшего образования могла бы стать международная помощь развитию. Например, в рамках проекта Всемирного банка «Развитие высшего образования» в 2016–2021 гг. было выделено 15 млн долл. [14. С. 234] Проект ЮНЕСКО и Европейского союза «Компетентностно-ориентированное STEM образование с использованием ИКТ в Таджикистане на 2022–2026 годы» разработан для реализации Национальной стратегии развития Таджикистана. Европейский союз в 2023 г. запустил программу помощи реформированию системы технического и профессионального образования. В январе 2024 г. Таджикистан получил первый транш в 4 млн евро, а до 2026 г. планируется выделить еще 29,8 млн евро [19]. Формально речь идет не только о финансовой, но и технической помощи. Правда, возможности доноров по стимулированию получателя к должной реализации поставленных целей ограничены.

Образовательное сотрудничество с Россией и экспорт российских услуг в области высшего образования в 2022–2023 гг.

Широкое использование русского языка в системе высшего образования было бы невозможным без его изучения в школе. В сентябре 2022 г. в Таджикистане открылись пять новых школ с обучением на русском языке, строительство которых было оговорено в межправительственном соглашении между Россией и Таджикистаном 2019 г. Всего в стране действуют 60 школ с обучением только на русском, еще в 178 школах работают русские классы, благодаря чему около 120 тыс. школьников обучаются на русском языке [20]. В 2024 г. при российской поддержке планируется начать строительство образовательного центра для одаренных детей в Душанбе [21]. С 2017 г. на Таджикистан распространяется действие проекта «Российский учитель за рубежом», в рамках которого в 2022/23 учебном году в таджикистанские школы приехали 74 российских учителя, преподающих русский язык и другие предметы [22].

Студенты из Таджикистана могут на конкурсной основе претендовать на обучение в российских вузах бесплатно: за счет российского бюджета (стол-

бец «бюджет» в таблицах далее) или по квоте, выделяемой ежегодно Правительством РФ (столбец «квота»). Набор студентов из Таджикистана в российские вузы рос с 2013 г. вплоть до 2022 г. Студенты из Таджикистана обучаются в основном на программах бакалавриата и за счет российской стороны (на бюджете или по квоте) (табл. 4).

Количество студентов из Таджикистана, поступивших в российские вузы в 2022 г., было на 38% больше, чем годом ранее. Прирост фиксировался на всех программах: бакалавриата (+42%), специалитета (+44%) и в меньшей степени – магистратуры (+17%). Вырос набор студентов, желающих обучаться на платной основе: +42% в бакалавриате, +50% в специалитете и только +1% в магистратуре.

Таблица 4. Прием в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры граждан Таджикистана, 2021–2023 гг. [23]

Программа	2021 г.				2022 г.				2023 г.			
	Всего	Бюджет	Платно	Квота	Всего	Бюджет	Платно	Квота	Всего	Бюджет	Платно	Квота
Бакалавриат	5 768	4 058	1 271	439	8 163	5 743	1 799	621	6 646	4 071	1 926	649
Специалитет	1 352	337	845	170	1 943	499	1 264	180	1 801	434	1 206	161
Магистратура	1 509	985	400	124	1 764	1 169	403	192	1 120	527	345	248
Всего	8 629	5 380	2 516	733	11 870	7 411	3 466	993	9 567	5 032	3 477	1 058

Однако изменения в международной обстановке 2022–2023 гг. отразились на поступлении граждан Таджикистана в российские вузы. В частности, их прием сократился почти на 20%: в большей степени он упал на программах магистратуры (–37%) и бакалавриата (–19%), чем специалитета (–7%). Однако при этом количество студентов бакалавриата, поступивших на платной основе, даже увеличилось (+7%).

Данные по другим странам, принимающим студентов из Таджикистана, пока доступны в отрывочной форме, поэтому выводы о том, коснулось ли сокращение образовательной миграции из Таджикистана только России или других стран тоже, пока делать рано. Формальный рост числа мест в таджикских вузах при сокращении количества бюджетных мест и не самом оптимальном соотношении цены и качества высшего образования вряд ли способны прекратить выезд студентов за рубеж. Россия пока лидирует по количеству принимаемых студентов из Таджикистана. За ней с большим отрывом следовали Кыргызстан (1 595 студентов из Таджикистана в 2022 г.), Турция (626 студентов в 2021 г.), Казахстан (613 студентов в 2020 г.), Белоруссия (232 студента в 2022 г.), США (202 студента в 2021 г.) [24].

Всего по всем формам обучения и на трех уровнях – бакалавриата, специалитета и магистратуры – в российских вузах учатся 28,7 тыс. граждан Таджикистана. Большинство из них учатся по очной форме (83,6%) и в государственных вузах (87,6%) (табл. 5).

По сведениям Министерства науки и высшего образования России, самыми популярными специальностями среди студентов из Таджикистана являются экономика, менеджмент, международные отношения, программная инженерия, лечебное дело [25]. Поскольку большинство из них приезжает непосредственно в Россию, можно предположить, что, успешно адаптировавшись, часть остается в дальнейшем для трудоустройства.

Таблица 5. Контингент студентов из Таджикистана в вузах России в 2023/24 учебном году [23]

Программа	Всего	Бюджет	Платно	Квота
Бакалавриат				
очная форма	15 977	12 106	2 208	1 663
очно-заочная форма	2 408	128	2 280	0
заочная форма	1 479	279	1 200	0
государственные вузы	16 850	12 503	2 692	1 655
частные вузы	3 014	10	2 996	8
Специалитет				
очная форма	5 856	1 250	3 926	680
очно-заочная форма	70	3	67	0
заочная форма	177	19	158	0
государственные вузы	5 726	1 272	3 774	680
частные вузы	377	0	377	0
Магистратура				
очная форма	2 190	1 501	265	424
очно-заочная форма	260	36	211	13
заочная форма	311	82	229	0
государственные вузы	2 601	1 619	548	434
частные вузы	160	0	157	3
Всего				
очная форма	24 023	14 857	6 399	2 767
очно-заочная форма	2 738	167	2 558	13
заочная форма	1 967	380	1 587	0
государственные вузы	25 177	15 394	7 014	2 769
частные вузы	3 551	10	3 530	11
ИТОГО	28 728	15 404	10 544	2 780

О намерениях продолжения сотрудничества между странами в сфере высшего образования свидетельствуют последние документы. Так, в марте 2023 г. в ходе визита в Таджикистан премьер-министра России М.В. Мишустина было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки и соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий, которое вступило в силу в октябре 2023 г.

В силу заинтересованности сторон, образовательное сотрудничество между Россией и Таджикистаном продолжится в текущей международной обстановке. Поскольку коренных сдвигов в сторону улучшения состояния системы высшего образования Таджикистана в ближайшее время не предвидится, образовательная миграция в Россию из Таджикистана продолжится. Учитывая, что Россия пока принимает несопоставимо большее, чем другие страны, количество студентов из Таджикистана, скорее всего, спад в их наборе в 2023 г. носил краткосрочный характер.

Тем не менее профильным российским ведомствам стоит продолжать работу по поддержке и распространению в Таджикистане русского языка. Российским вузам стоит активизировать сотрудничество со школами Таджикистана, особенно теми, где обучение проходит на русском языке, чтобы вести профориентационную деятельность, а также повышать качество набираемых абитуриентов. Взаимодействие с вузами Таджикистана может выстраиваться в формате совместных образовательных программ по схеме 2 + 2 в бакалавриате и 1 + 1 в магистратуре. Кроме того, при надлежащей поддержке федерального центра, российские вузы могут оказывать техническую и методическую поддержку профильным факультетам и кафедрам в партнерских вузах Таджикистана.

Список источников

1. Альтбах Ф. Глобальные перспективы высшего образования. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 548 с.
2. Погорельская А.М., Троцкий Е.Ф., Пакулин В.С. Интернационализация системы высшего образования в Казахстане (2022–2023 гг.): преемственность курса или смена ориентиров? // Высшее образование в России. 2024. Т. 33, № 1. С. 68–86. doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-68-86
3. Троцкий Е.Ф., Юн С.М. Узбекистан: новый этап интернационализации высшего образования // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 10. С. 157–168. doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-157-168
4. Погорельская А.М. Эволюция системы высшего образования в Туркменистане на фоне современных образовательных трендов // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 5. С. 150–160. doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-5-150-160
5. Бозичаева В.О. Модернизационные процессы системы высшего образования в Республике Таджикистан // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана. 2021. № 2. С. 127–131.
6. Кодиров Ш.Ш. Особенности формирования образовательного потенциала Республики Таджикистан в годы независимости // Экономика Таджикистана. 2019. № 3. С. 102–106.
7. Jonbekova D. University Graduates' Skills Mismatches in Central Asia: Employers' Perspectives From Post-Soviet Tajikistan. *European Education*. 2015. Vol. 47, № 2. P. 169–184. doi: 10.1080/10564934.2015.1033315
8. *Population growth (annual %)* // World Bank, 2022. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2022&start=1992&view=chart>
9. Мирошников С.Н. Проблемы становления и реформирования системы образования в Республике Таджикистан в 2000–2020 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 465. С. 116–123. doi: 10.17223/15617793/465/16
10. *Government expenditure on tertiary education as a percentage of GDP* // UNESCO UIS, 2022. URL: <http://data.uis.unesco.org/#>
11. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года. URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/781> (дата обращения: 10.01.2024).
12. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. URL: [http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus\(FILEminimizer\).pdf](http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf) (дата обращения: 10.01.2024).
13. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1989 года (статистический сборник). Душанбе: ИРФОН, 1991.
14. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан на 2022–2023 учебный год. Душанбе, 2023. Ч. 2.
15. Важные цитаты из Послания Эмомали Рахмона в сфере образования // Российско-Таджикский (Славянский) университет, 29.12.2023. URL: https://rtsu.tj/news/?ELEMENT_CODE=1413
16. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М., 1992.
17. Конституция Республики Таджикистан (в редакции референдума от 26.09.1999 г., от 22.06.2003 г., от 22.05.2016 г.) // Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. URL: <https://www.mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya>
18. Закон Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» от 5 октября 2009 г. № 553. URL: https://www.andoz.tj/docs/zakoni/1_%E2%84%9613_state-language-RT_ru.pdf
19. EU extends a first tranche of €4 million to Tajikistan to help accelerating priority reform actions // Asia-Plus, 09.02.2024. URL: <https://asiaplus.tj.info/en/news/tajikistan/economic/20240209/eu-extends-a-first-tranche-of-4-million-to-tajikistan-to-help-accelerating-priority-reform-actions>
20. Межгосударственные отношения России и Таджикистана // РИА Новости, 13.10.2023. URL: <https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html>
21. Стало известно, кого примет центр для одаренных детей в Душанбе // Sputnik Таджикистан, 18.07.2023. URL: <https://tj.sputniknews.ru/20230718/shkola-sirius-dushanbe-1058326078.html>
22. К предстоящему официальному визиту Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в Таджикистан. Сообщение для СМИ // МИД России, 05.06.2023. URL: <https://www.mid.ru/ru/maps/tj/1874047/>
23. Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Минобрнауки России, 2023. URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/>

24. *Inbound internationally mobile students by country of origin* // UNESCO UIS, 2023. URL: <http://data.uis.unesco.org/>

25. Россия и Таджикистан договорились активизировать сотрудничество в сфере высшего образования // Минобрнауки России, 09.11.2022. URL: <https://clck.ru/38jD3w>

References

1. Altbakh, F. (2018) *Global'nye perspektivy vysshego obrazovaniya* [Global Perspectives of Higher Education]. Moscow: HSE.
2. Pogorelskaya, A.M., Troitskiy, E.F. & Pakulin, V.S. (2024) Higher Education Internationalisation in Kazakhstan (2022-2023): Course Continuity or Change in the Focus? *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 33(1). pp. 68–86. doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-68-86
3. Troitskiy, E.F. & Yun, S.M. (2021) Uzbekistan: New Milestones of Higher Education Internationalization. *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 30(10). pp. 157–168. doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-157-168
4. Pogorelskaya, A.M. (2021) The Development of Higher Education System in Turkmenistan: Current Social, Economic, and Political Changes. *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 30(5). pp. 150–160. (In Russian). doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-5-150-160
5. Bozichaeva, V.O. (2021) Modernizatsionnye protsessy sistemy vysshego obrazovaniya v Respublike Tadjikistan [Modernization processes of the higher education system in the Republic of Tajikistan]. *Izvestiya Instituta filosofii, politologii i prava im. A. Bakhovaddinova Natsional'noy akademii nauk Tadjikistana*. 2. pp.127–131.
6. Kodirov, Sh.Sh. (2019) Osobennosti formirovaniya obrazovatel'nogo potentsiala Respubliki Tadjikistan v gody nezavisimosti [The formation of the educational potential of the Republic of Tajikistan during the years of independence]. *Ekonomika Tadjikistana*. 3. pp. 102–106.
7. Jonbekova, D. (2015) University Graduates' Skills Mismatches in Central Asia: Employers' Perspectives From Post-Soviet Tajikistan. *European Education*. 47(2). pp. 169–184. doi: 10.1080/10564934.2015.1033315
8. World Bank. (2022) *Population growth (annual %)*. [Online] Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2022&start=1992&view=chart>
9. Miroshnikov, S.N. (2020) Problems of formation and reform of the education system in the Republic of Tajikistan in 2000–2020. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – tomsk State University Journal*. 465. pp. 116–123. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/465/16
10. UNESCO UIS. (2022) *Government expenditure on tertiary education as a percentage of GDP*. [Online] Available from: <http://data.uis.unesco.org/#>
11. The Republic of Tajikistan. (n.d.) *Natsional'naya strategiya razvitiya obrazovaniya Respubliki Tadjikistan do 2020 goda* [National strategy for the development of education of the Republic of Tajikistan until 2020]. [Online] Available from: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/781> (Accessed: 10th January 2024).
12. The Republic of Tajikistan. (n.d.) *Natsional'naya strategiya razvitiya Respubliki Tadjikistan na period do 2030 goda* [National development strategy of the Republic of Tajikistan for the period until 2030]. [Online] Available from: [http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus\(FILEminimizer\).pdf](http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf) (Accessed: 10th January 2024).
13. The Republic of Tajikistan. (1991) *Narodnoe khozyaystvo Tadjikskoy SSR v 1989 goda (statisticheskii sbornik)* [National economy of the Tajik SSR in 1989 (statistics)]. Dushanbe: IRFON.
14. The Republic of Tajikistan. (2023) *Statisticheskii sbornik sfery obrazovaniya Respubliki Tadjikistan na 2022–2023 uchebnyy god* [Statistical collection of the education sector of the Republic of Tajikistan for the 2022–2023 academic year]. Vol. 2. Dushanbe: [s.n.].
15. Russian-Tajik (Slavic) University. (2023) *Vazhnye tsitaty iz Poslaniya Emomali Rakhmona v sfere obrazovaniya* [Important quotes from the Message of Emomali Rahmon in the field of education]. 29th December. [Online] Available from: https://rtsu.tj/news/?ELEMENT_CODE=1413
16. Merton, R.K. (1992) *Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya struktura* [Social Theory and Social Structure]. Moscow: [s.n.].
17. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. (n.d.) *Konstitutsiya Respubliki Tadjikistan. (v redatsii referendum ot 26.09.1999 g., ot 22.06.2003 g., ot 22.05.2016 g.)* [Constitution of the Republic of Tajikistan (as amended by the referendum dated September 26, 1999, June 22, 2003, May 22, 2016)]. [Online] Available from: <https://www.mfa.tj/ru/main/tadjikistan/konstitutsiya>
18. The Republic of Tajikistan. (2009) *Zakon Respubliki Tadjikistan "O gosudarstvenno yazyke Respubliki Tadjikistan"* ot 5 oktyabrya 2009 g. № 553 [Law No. 553 of the Republic of Tajikistan "On the state language of the Republic of Tajikistan" dated October 5, 2009]. [Online] Available from: https://www.andoz.tj/docs/zakoni/l_%E2%84%9613_state-language-RT_ru.pdf

19. *Asia-Plus*. (2024) EU extends a first tranche of €4 million to Tajikistan to help accelerating priority reform actions. 9th February. [Online] Available from: <https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20240209/eu-extends-a-first-tranche-of-4-million-to-tajikistan-to-help-accelerating-priority-reform-actions>

20. *RIA Novosti*. (2023) Mezhgosudarstvennye otnosheniya Rossii i Tadjikistana [Interstate relations between Russia and Tajikistan]. 13th October 2023. [Online] Available from: <https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html>

21. *Sputnik Tadjikistan*. (2023) Stalo izvestno, kogo primet tsentr dlya odarennykh detey v Dushanbe [It became known who will be accepted by the center for gifted children in Dushanbe]. 18th July. [Online] Available from: <https://tj.sputniknews.ru/20230718/shkola-sirius-dushanbe-1058326078.html>

22. Russian Ministry of Foreign Affairs. (2023) *K predstoyashchemu ofitsial'nomu vizitu Ministra inostrannykh del Rossii S.V. Lavrova v Tadjikistan. Soobshchenie dlya SMI* [For the upcoming official visit of the Minister of Foreign Affairs of Russia S.V. Lavrov to Tajikistan. Message for the media]. 5th June. [Online] Available from: <https://www.mid.ru/ru/maps/tj/1874047/>

23. Ministry of Education and Science of Russia. (2023) *Forma № VPO-1 "Svedeniya ob organizatsii, osushchestvlyayushchey obrazovatel'nyu deyatelnost' po obrazovatel'nyim programmam vysshego obrazovaniya – programmam bakalavriata, programmam spetsialiteta, programmam magistratury"* [Form No. VPO-1 "Information about the organization carrying out educational activities in educational programs of higher education – undergraduate programs, specialty programs, master's programs"]. [Online] Available from: <https://www.minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/>

24. UNESCO UIS. (2023) *Inbound internationally mobile students by country of origin*. [Online] Available from: <http://data.uis.unesco.org/>

25. Ministry of Education and Science of Russia. (2022) *Rossiya i Tadjikistan dogovorilis' aktivizirovat' sotrudnichestvo v sfere vysshego obrazovaniya* [Russia and Tajikistan agreed to intensify cooperation in the field of higher education]. 9th November. [Online] Available from: <https://clck.ru/38jD3w>

Сведения об авторах:

Погорельская А.М. – кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: pogorelskaya@mail.tsu.ru

Погодаев Н.П. – кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nik-pogodaev@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

A.M. Pogorelskaya, Cand. Sci. (History), associate professor at the Department of World Politics, Faculty of Historical and Political Sciences, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: pogorelskaya@mail.tsu.ru

Pogodaev N.P. – Cand. Sci. (History), associate professor at the Department of Social Work, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nik-pogodaev@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.02.2024;
одобрена после рецензирования 27.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 14.02.2024;
approved after reviewing 27.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научная статья

УДК 159.9

doi: 10.17223/1998863X/78/21

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН

Вера Александровна Федотова

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Пермь, Российская Федерация, vera_goldyreva@mail.ru, VAFedotova@hse.ru*

Аннотация. Представлены результаты исследования, нацеленного на определение степени влияния политических установок на формирование гражданской идентичности россиян. Выявлено, что наиболее сильное влияние на формирование гражданской идентичности оказывают доверие к президенту, правительству Российской Федерации и российской армии. В целом показатели политического доверия оказывают заметно более выраженное влияние на гражданскую идентичность россиян, чем готовность принимать участие в различных формах политической активности.

Ключевые слова: гражданская идентичность, патриотизм, национализм, доверие к власти, политическая активность

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-01552 «Социокультурные факторы формирования гражданской и этнической идентичности россиян: межпоколенные, гендерные и региональные различия».

Для цитирования: Федотова В.А. Влияние политических установок на формирование гражданской идентичности россиян // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 78. С. 249–259. doi: 10.17223/1998863X/78/21

Original article

THE INFLUENCE OF POLITICAL ATTITUDES ON THE FORMATION OF THE CIVIC IDENTITY OF RUSSIANS

Vera A. Fedotova

*Higher School of Economics, Perm, Russian Federation,
vera_goldyreva@mail.ru, VAFedotova@hse.ru*

Abstract. The article presents the results of a study aimed at determining the degree of influence of political attitudes on the formation of a positive civic identity of Russians. Trust in government and political activity are considered as political predictors of identity. The study was conducted with the participation of 1014 ethnic Russians, among whom there were 527 female respondents and 487 male respondents; the average age of the study sample was 41. The empirical study used the methodology from the International Social Survey Program to measure civic identity; scales of political trust and willingness to participate in political activities. It was found that Russians who participated in the study have a high level of trust in the president and the Russian army. The judicial system and political parties inspire less trust among citizens. It was revealed that the strongest influence on the formation of a positive civic identity is exerted by trust in the president, the government of the Russian Federation, and the Russian army. In general, indicators of political trust have a noticeably

more pronounced impact on the formation of a positive civic identity of Russians than the willingness to take part in various political activities.

Keywords: civic identity, patriotism, nationalism, trust in government, political activity

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-28-01552.

For citation: Fedotova, V.A. (2024) The influence of political attitudes on the formation of the civic identity of russians. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 78. pp. 249–259. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/78/21

Введение

Проблема становления гражданской идентичности находится в поле интересов социологов, психологов, политологов и политических деятелей. В науке изучению гражданской идентичности посвящены как работы зарубежных авторов Дж. Тернер, Г. Тэджфел, С. Московичи и других, так и отечественных ученых Ю.А. Левада, О.В. Попова, Н.Л. Балич, Т.В. Водолажская и др. Необходимо отметить, что проблема изучения гражданской идентичности усложняется разнообразием терминов, отражающих национальное самосознание. Наряду с гражданской идентичностью употребляются термины «национальная идентичность» и «общегражданская государственность».

Гражданская идентичность определяется как результат осознания себя членом гражданской общности в процессе усвоения ценностей, норм, ролей и качеств, типичных для той общности, к которой принадлежит индивид [1. С. 28]. А.Г. Асмолов определяет гражданскую идентичность как осознание принадлежности к обществу граждан конкретного государства на общекультурной основе. По мнению автора, данный вид идентичности имеет личностную окраску и детерминирует отношение к природному и социальному миру [2. С. 80]. Гражданская идентичность индивида определяется в большей степени именно ценностным отношением относительно этой принадлежности.

Патриотизм, заключающийся в признании определенной гражданской общности в качестве значимой ценности, выступает фундаментальным механизмом идентификации. Под патриотизмом во все времена подразумевались чувства граждан к своему Отечеству [3]. В классической интерпретации патриотизм – это объединяющая национальная идея [4. С. 1635]. Патриотизм как национальная идея выступает источником исторической памяти всего русского народа, фундаментальной основой исторического величия России и главным фактором в воспитании и социализации человека, любящего свою Родину и ценящего её богатое этническое многообразие. Как отмечают ученые, всплеск патриотизма в обществе произошел во время двух значимых событий для россиян: во время Олимпийских игр в Сочи и в связи с присоединением Крыма. Согласно данным опроса, проведенным «Левада-центра»*, у большинства опрошенных россиян (88% респондентов) эти события вызвали положительные эмоции [4. С. 1634].

Патриотизму часто противопоставляют национализм в том аспекте, что под национализмом понимается позитивная оценка своей страны как превос-

* Решением Минюста РФ от 05.09.2016 Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

ходящей другие страны [5. Р. 271]. Патриотизм же трактуется как позитивная оценка своей причастности к ингруппе вне сравнения своей страны с другими [6. Р. 290]. Гражданская идентичность, выраженная в двух измерениях – национализме и патриотизме, может выступать предметом исследования [7]. В нашей работе гражданская идентичность также будет проявляться через национализм и патриотизм респондентов.

Вопрос детерминант формирования гражданской идентичности остается открытым и представляет собой обширное поле для исследования. Учеными предпринимались попытки описать факторы, влияющие на формирование идентичности. Например, были выделены исторические, политические, социальные, ситуативные и культурные [8. С. 349]. При этом политические факторы отражают угрозу потери территориальной целостности, политические кризисы и кризисы власти. Политический фактор связан с ощущением того, что государство является институтом, который может предоставить социальную защищенность своим гражданам. Джон Берри с коллегами, изучая представителей 26 групп мигрантов 13 стран, определил, что формирование идентичности происходит в процессе социализации под влиянием различных факторов социокультурного контекста. Данные факторы он обозначил как культурный, исторический, политический и экономический [9. Р. 665].

Имеются исследования, утверждающие, что роль государства в определении направления развития общества, наличие традиций и доверия между социальными группами, участие граждан в политической активности, механизмы разрешения различных социальных конфликтов оказывают влияние на процесс становления гражданской идентичности [10. С. 90]. В современной науке наблюдается ряд работ, нацеленных на изучение роли политического фактора в формировании гражданской идентичности россиян. Например, И.Н. Ефреминой было проведено исследование взаимосвязи политических событий и изменений в структуре гражданской идентичности [11]. Перед ученой стояла цель выявить изменения в структуре гражданской идентичности в связи с присоединением Крыма к России и санкциями США и Европы. Исследование было реализовано в два этапа: в октябре 2013 г. была проведена первичная диагностика идентичности, в мае 2014 г. – повторная. При проведении повторной диагностики возросло число тех, кто ощущает себя россиянином, и количество тех, кто испытывает позитивные чувства от ощущения принадлежности к своему народу и своему государству. Большинство опрошенных воспринимают присоединение Крыма к России и вводимые санкции как свидетельство того, что Россия «поднимается с колен» [11. С. 55–56].

В научной работе, нацеленной на изучение социокультурных факторов формирования гражданской и этнической идентичности россиян, авторы пришли к выводу, что не могут дать однозначного ответа в отношении влияния политического фактора на идентичность. Политический фактор измерялся с помощью вопросов из ВЦИОМ «Как вы считаете, вхождение Крыма в состав РФ принесло России больше пользы или вреда» и «Как, по Вашему мнению, санкции западных стран отразились на России» [12. С. 5]. Ученые, которые занимаются вопросами гражданской идентичности, сходятся во мнении, что конструирование общероссийской гражданской идентичности

должно быть контролируемым, целенаправленным и осуществляться благодаря политическим лидерам [13. С. 106–159]. В ряде других научных работ была установлена связь между доверием к власти, политической активностью и этнической идентичностью как второй составляющей социальной идентичности. Итак, в ходе одного из исследований удалось установить, что этническая идентичность связана с общим уровнем доверия к власти, но не связана с политической активностью [14. С. 21]. В данной научной работе в качестве респондентов выступили россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Также в одном из зарубежных исследований было выявлено, что доверие к власти (губернатору и правительству) не связано с этнической принадлежностью личности. Однако доверие к президенту и национальному собранию частично детерминруется этнической идентичностью [15. Р. 25–26]. Несмотря на то, что в двух вышеуказанных работах описана этническая идентичность, мы предполагаем, что также наблюдается связь между доверием к власти, политической активностью и гражданской идентичностью как еще одной составляющей социальной идентичности личности. Т.В. Бугайчук, рассматривая социально-политические механизмы становления гражданской идентичности молодого поколения россиян, отмечает, что базовым методом формирования гражданской идентичности выступает целостная феноменологическая система и эффективные социально-политические механизмы. К данным механизмам автор относит систему ценностей личности, политическую систему в области развития нации и гражданского общества, создание системы политизации молодого поколения и т.д. [16. С. 10–12].

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы определить, какое влияние оказывают политические факторы на формирование гражданской идентичности современных россиян. В качестве политических предикторов выступают политическое доверие и политическая активность. Дадим краткое представление об основных понятиях. Политическое доверие отражает степень доверия, которое граждане испытывают к политическим институтам, включая парламенты, президента, суды, политические партии и полицию. Политологи обычно рассматривают доверие и уверенность как синонимы, определяя политическое доверие как доверие граждан к политическим институтам [16. С. 6]. Политическое поведение, в свою очередь, может принимать различные формы: от участия в выборах до уличной активности. Исследователи классифицируют подобную активность по трем основным критериям: индивидуальное или коллективное, институализированное или неинституализированное, нормативное или ненормативное поведение [17. С. 100].

Методы

Выборка

Исследование проведено с участием 1 014 респондентов, среди которых было 527 респондентов женского пола и 487 – мужского. Средний возраст исследуемой выборки составил 41 год (минимум – 19 лет; максимум – 83 года).

Сбор эмпирических данных проводился в ходе анонимного онлайн-опроса на платформе *anketolog.ru* в период с февраля по май 2023 г., часть данных была собрана сотрудниками маркетингового агентства «Русопрос» в рамках договора об оказании услуг в мае–июне 2023 г., жители Перми и

Пермского края проходили опрос в Google Формах и на платформе Sippoll.ru.

Основная доля респондентов имеют высшее образование, окончили аспирантуру или же имеют ученую степень (65,3%). Самая малочисленная категория респондентов имеют неполное среднее образование или ниже (0,5%). Большинство респондентов отметили, что работают (78,7%). Также 8,2% респондентов совмещают учебу и работу, а еще 1,1% отмечают, что совмещают учебу и подработку. Среди населенных пунктов наиболее многочисленными оказались респонденты из Нижнего Новгорода (19,2%). Несколько меньше респондентов проживают в Санкт-Петербурге (16,8%), Ростове-на-Дону (14,2%), а также в Ленинградской области (13,2%) и Московской области (12,9%). Меньше всех оказалась категория респондентов, проживающих в Москве (8,8%), Перми (7,9%) и Пермском крае (7,0%, в том числе в сельской местности – 3,8%).

Методики

В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики:

1. Гражданская идентичность измерялась с помощью методики из International Social Survey Programme, в адаптации на русский язык Л.К. Григорян. Методика включает шкалы патриотизма и национализма.

2. Политический фактор измерялся с помощью:

а) шкалы политического доверия [18], включающей в себя шесть политических институтов: армию, судебную систему, политические партии, правительство, парламент и президента. Респонденту необходимо было отметить, насколько они доверяют каждому институту по 5-балльной шкале, где 1 – «совсем не доверяю» до 5 – «полностью доверяю»;

б) шкалы «готовности участвовать в политической активности» [19–21]. Респондентам необходимо было отметить, насколько они готовы участвовать в формах политической активности по 5-балльной шкале. Опросник включал в себя шесть форм политических действий: голосование на выборах; подписание коллективных обращений, писем или петиций; личное обращение к региональному политику; личное обращение к президенту; участие в работе политических партий; участие в уличных акциях.

Статистический анализ выполнен в программе SPSS 26. Соответствие распределения количественных переменных нормальному закону оценивалось с использованием *W*-критерия Шапиро–Уилка. Для оценки зависимости количественной переменной от одного или нескольких факторов, а также для сравнительной оценки их влияния выполнен однофакторный и многофакторный линейный регрессионный анализ. Информативность модели представлена в виде скорректированного коэффициента детерминации. Количественные переменные в таблицах сравнительного анализа представлены в виде медианы (Median) и межквартильного интервала (IQR – Interquartile Range).

Результаты

Результаты анкетирования по вопросам выраженности гражданской идентичности представлены в табл. 1.

У опрошенных россиян гражданская идентичность выражена больше в форме национализма ($M = 4,03$, $SD = 0,99$). Полученные результаты позволяют говорить о том, что респонденты склонны возвышать свою страну в сравнении с другими странами.

Таблица 1. Выраженность гражданской идентичности россиян

Показатель	Mean $\pm$ SD	Median (IQR)	Min; Max
Национализм	$4,03 \pm 0,99$	4,5 (3,5–5)	1; 5
Патриотизм	$3,09 \pm 0,7$	3,2 (2,7–3,7)	1; 4
Гражданская идентичность	$3,56 \pm 0,78$	3,8 (3–4,2)	1; 4,5

В табл. 2 представлены ответы респондентов на вопросы относительно их политических установок. Результаты получены при обработке данных опросников, направленных на измерение доверия к институтам власти и политической активности.

Таблица 2. Доверие к институтам власти и политическая активность россиян

Показатель	Mean $\pm$ SD	Median (IQR)	Min; Max
<i>Доверие к институтам власти</i>			
Армия	$3,52 \pm 1,34$	4 (3–5)	1; 5
Судебная система	$3,01 \pm 1,28$	3 (2–4)	1; 5
Политические партии	$2,91 \pm 1,29$	3 (2–4)	1; 5
Правительство	$3,32 \pm 1,32$	4 (2–4)	1; 5
Президент	$3,65 \pm 1,41$	4 (3–5)	1; 5
<i>Готовность участвовать в формах политической активности</i>			
Голосование на выборах	$3,96 \pm 1,26$	4 (4–5)	1; 5
Подписание коллективных обращений, писем или петиций	$3,36 \pm 1,18$	4 (3–4)	1; 5
Личное обращение к региональному политику (письмо, выступление в СМИ, личная встреча)	$3,03 \pm 1,27$	3 (2–4)	1; 5
Личное обращение к президенту (письмо, выступление в СМИ)	$3,04 \pm 1,29$	3 (2–4)	1; 5
Участие в работе политических партий	$2,77 \pm 1,31$	3 (2–4)	1; 5
Участие в уличных акциях (демонстрациях, пикетах, маршах, митингах)	$2,32 \pm 1,24$	2 (1–3)	1; 5
Политическое доверие	$3,28 \pm 1,17$	3,6 (2,6–4,2)	1; 5
Политическая активность	$3,08 \pm 0,95$	3,2 (2,5–3,7)	1; 5

Выявлено, что общий уровень политического доверия выше среднего уровня ($M = 3,28$, $SD = 1,17$). Респонденты в большей степени доверяют президенту РФ ($M = 3,65$, $SD = 1,41$) и российской армии ($M = 3,52$, $SD = 1,34$), однако в меньшей степени – судебной системе ($M = 3,01$, $SD = 1,28$) и политическим партиям ($M = 2,91$, $SD = 1,29$).

Говоря о политической активности необходимо отметить, что опрошенные респонденты в большей степени готовы голосовать на выборах ($M = 3,96$, $SD = 1,96$) и подписывать коллективные обращения и петиции ($M = 3,36$, $SD = 1,18$), чем принимать участие в работе политических партий ($M = 2,77$, $SD = 1,31$) или в уличных акциях, демонстрациях и митингах ($M = 2,32$, $SD = 1,24$).

В ходе исследования был также проведен анализ зависимости гражданской идентичности и ее компонентов (национализма и патриотизма) от политических установок. Для оценки зависимости количественной переменной от

одного или нескольких факторов, а также для сравнительной оценки их влияния выполнен однофакторный линейный регрессионный анализ. Пороговый уровень статистической значимости принят для $p < 0,05$. Результаты анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты однофакторного регрессионного анализа влияния компонентов политического фактора на гражданскую идентичность и ее компоненты

№	Регрессор	Гражданская идентичность	Национализм	Патриотизм
Доверие к институтам власти				
1	Армия	$B = 0,397 \pm 0,013$ $p < 0,001$	$B = 0,417 \pm 0,019$ $p < 0,001$	$B = 0,377 \pm 0,011$ $p < 0,001$
2	Судебная система	$B = 0,319 \pm 0,016$ $p < 0,001$	$B = 0,309 \pm 0,022$ $p < 0,001$	$B = 0,329 \pm 0,014$ $p < 0,001$
3	Политические партии	$B = 0,337 \pm 0,016$ $p < 0,001$	$B = 0,322 \pm 0,022$ $p < 0,001$	$B = 0,352 \pm 0,013$ $p < 0,001$
4	Правительство	$B = 0,363 \pm 0,015$ $p < 0,001$	$B = 0,365 \pm 0,021$ $p < 0,001$	$B = 0,36 \pm 0,012$ $p < 0,001$
5	Президент	$B = 0,386 \pm 0,012$ $p < 0,001$	$B = 0,41 \pm 0,018$ $p < 0,001$	$B = 0,361 \pm 0,011$ $p < 0,001$
Готовность участвовать в формах политической активности				
6	Голосование на выборах	$B = 0,212 \pm 0,018$ $p < 0,001$	$B = 0,235 \pm 0,023$ $p < 0,001$	$B = 0,189 \pm 0,016$ $p < 0,001$
7	Подписание коллективных обращений, писем или петиций	$B = 0,135 \pm 0,02$ $p < 0,001$	$B = 0,137 \pm 0,026$ $p < 0,001$	$B = 0,134 \pm 0,018$ $p < 0,001$
8	Личное обращение к региональному политику (письмо, выступление в СМИ, личная встреча)	$B = 0,163 \pm 0,019$ $p < 0,001$	$B = 0,176 \pm 0,024$ $p < 0,001$	$B = 0,151 \pm 0,017$ $p < 0,001$
9	Личное обращение к президенту (письмо, выступление в СМИ)	$B = 0,183 \pm 0,018$ $p < 0,001$	$B = 0,195 \pm 0,023$ $p < 0,001$	$B = 0,172 \pm 0,016$ $p < 0,001$
10	Участие в работе политических партий	$B = 0,212 \pm 0,018$ $p < 0,001$	$B = 0,203 \pm 0,023$ $p < 0,001$	$B = 0,221 \pm 0,015$ $p < 0,001$
11	Участие в уличных акциях (демонстрациях, пикетах, маршах, митингах)	$B = 0,046 \pm 0,02$ $p = 0,02$	$B = 0,042 \pm 0,025$ $p = 0,094$	$B = 0,05 \pm 0,018$ $p = 0,005$
12	Политическое доверие	$B = 0,467 \pm 0,015$ $p < 0,001$	$B = 0,474 \pm 0,022$ $p < 0,001$	$B = 0,46 \pm 0,012$ $p < 0,001$
13	Политическая активность	$B = 0,281 \pm 0,024$ $p < 0,001$	$B = 0,292 \pm 0,031$ $p < 0,001$	$B = 0,271 \pm 0,022$ $p < 0,001$

Установлено, что вопросы, относящиеся к политическому доверию, показывают сопоставимое положительное влияние как на гражданскую идентичность, так и на национализм и патриотизм в отдельности. В то же время вопросы, отражающие готовность к политической активности, в целом оказывают несколько большее влияние на гражданскую идентичность и национализм и несколько меньшее влияние на патриотизм. Однако коэффициенты регрессии можно также считать сопоставимыми.

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом гражданская идентичность опрошенных россиян выражена больше в форме национализма, соответственно, они считают, что Россия лучше большинства других стран и они испытывают чувство гордости за то, что являются россиянами. При этом они гордятся достижениями в спорте, научными и техническими успехами,

достижениями в области искусства и литературы нашей страны, а также ее историей.

Россияне, участвовавшие в исследовании, испытывают высокий уровень доверия к президенту и российской армии. В то же время судебная система и политические партии вызывают меньшую степень доверия. В ранее проведенных исследованиях было установлено, что доверие к институту исполнительной власти находится на высоком уровне. Респондентами в этом случае выступили 1 600 россиян старше 18 лет из 46 субъектов страны, и более половины из них декларируют доверие к президенту, правительству и главам регионов. Вместе с тем наблюдается низкий уровень доверия к институтам законодательной власти. Кроме этого, авторами отмечено, что президент России пользуется наибольшим доверием в сравнении со всеми другими институтами власти [22. С. 56]. В более современных работах отмечена та же тенденция. Как отмечает научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Д.Ф. Терин, политическая система российского общества в целом довольно далека от идеала, институты характеризуются низким уровнем доверия, однако институт Президента России выделяется среди них заметно более высокой степенью доверия [23. С. 104]. Рядом ученых было отмечено, что пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на рост уровня доверия к власти. Данный факт они связывают с переносом ответственности за противостояние коронавирусу на уровень субъектов Российской Федерации в период пандемии [24. С. 69].

На последнем этапе исследования было выявлено, что в целом доверие к институтам власти положительно влияет на гражданскую идентичность, оказывает позитивное воздействие как на патриотизм, так и на национализм. Готовность к политической активности оказывает чуть большее влияние на национализм, чем на патриотизм. Другими словами, политическая активность российских респондентов в большей степени связана с позитивной оценкой своей страны, как превосходящей другие страны по тем или иным показателям. В ходе научной работы было также определено, что наиболее сильное влияние на формирование гражданской идентичности оказывают доверие к президенту и правительству РФ, а также к российской армии. Такая форма политической активности, как голосование на выборах, оказывает положительное воздействие на становление гражданской идентичности россиян.

И, наконец, установлено, что в целом показатели политического доверия оказывают заметно более выраженное влияние на формирование позитивной гражданской идентичности россиян, чем готовность принимать участие в различных формах политической активности.

Заключение

Отношение к своей гражданской принадлежности выступает важным компонентом сознания личности, от которого в значительной степени зависит деятельность, общение, поведение и взаимодействие как конкретных людей, так и социальных общностей. Полученные нами результаты вносят вклад в проблему формирования гражданской идентичности россиян и расширяют знания относительно роли политических установок в данном процессе. Ре-

результаты настоящего исследования могут быть использованы при подготовке рекомендаций по формированию национальной и миграционной политики Российской Федерации. Используемая методология может быть применена в дальнейшем при реализации исследования идентичности россиян и других факторов, влияющих на их формирование.

Список источников

1. Дьякова В.В. Гражданская идентичность современного российского поколения X (на примере Астраханской области) // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2016. № 3 (37). С. 28–31.
2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 65–85.
3. Горшков М.К. Российская идентичность в контексте западноевропейской культуры // Власть. 2013. № 1 (21). С. 9–14.
4. Абдулкадыров Ю.Н. Патриотизм как идейная основа формирования российской гражданской нации // Манускрипт. 2021. № 8. С. 1632–1636.
5. Kosterman R., Feshbach S. Toward measure of patriotic and nationalistic attitudes // Political Psychology. 1989. № 2 (10). С. 257–274.
6. Blank T., Schmidt P. National identity in a united Germany: nationalism or patriotism? An empirical test with representative data // Political Psychology. 2003. Vol. 24. P. 259–288.
7. Григорян Л.К. Патриотизм и национализм в России: механизмы влияния на экономическую самостоятельность // Культурно-историческая психология. 2013. № 3. С. 22–31.
8. Гаглоева А.Б. Факторы формирования гражданской и этнической идентичностей // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66. С. 348–351.
9. Berry J.W. Research on multiculturalism in Canada // International Journal of Intercultural Relations. 2013. Vol. 37 (6). P. 663–675.
10. Шакурова М.В. Формирование российской гражданской идентичности личности: проблема педагога // Педагогика. 2013. № 3. С. 83–91.
11. Ефремина И.Н. Исследование взаимосвязи политических событий и изменений в структуре гражданской и этнической идентичности // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. № 23 (21). С. 54–58.
12. Дробовцева М.В., Котова М.В. Взаимосвязь гражданской и этнической идентичности россиян: факторы социокультурного контекста // Психологические исследования. 2016. № 9 (47). С. 1–27.
13. Поцелуев С.П. Символические средства политической идентичности. К анализу постсоветских случаев. Трансформация идентификационных структур в современной России / под ред. Т.Г. Стефаненко. М., 2001.
14. Федотова В.А. Доверие к власти и политическая активность российской молодежи: роль этнической самоидентификации // Общественные науки и современность. 2022. № 2. С. 126–136.
15. Brigevech A., Oritsejafor E. Ethnic versus national identity and satisfaction with democracy: The decline of the ethnic cleavage in Nigeria // Regional and Federal Studies. 2022. Vol. 31. doi: 10.1080/13597566.2022.2128339
16. Бугайчук Т.В. Социально-политические механизмы становления гражданской идентичности молодого поколения россиян // Социально-политические исследования. 2021. № 2 (11). С. 5–17.
17. Федотова В. А. Ценности как предиктор политического доверия и готовности к политическому поведению у российской молодежи. Вестник Кемеровского государственного университета. 2022. Т. 24, № 1. С. 99–105. doi: 10.21603/2078-8975-2022-24-1-99-105
18. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальные верования, политическое доверие и готовность к политическому поведению: сравнение России и Украины // Социальная психология и общество. 2020. № 2 (11). С. 74–92.
19. Pattyn S., Van Hiel A., Dhont K., Onraet E. Stripping the political cynic: A psychological exploration of the concept of political cynicism // European Journal of Personality. 2020. Vol. 26. P. 566–579.
20. Van Assche J., Dhont K., Van Hiel A., Roets A. Ethnic diversity and support for populist parties. The “right” road through political cynicism and lack of trust // Social Psychology. 2018. Vol. 49. P. 182–189.

21. Van Assche J., Van Hiel A., Dhont K., Roets A. Broadening the individual differences lens on party support and voting behavior: Cynicism and prejudice as relevant attitudes referring to modern day political alignments // *European Journal of Social Psychology*. 2019. Vol. 49. P. 190–199.
22. Киселев О.В. Доверие к политическим институтам в России: опыт социологического мониторинга // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2014. № 6 (124). P. 51–64.
23. Терин Д.Ф. Конструкция политического доверия в России: эффективность и справедливость политических институтов // *Социологический журнал*. 2018. № 2 (24). С. 90–109.
24. Фадеева Е.В., Великая Н.М., Белова Н.И. Социальное самочувствие россиян в период распространения коронавирусной инфекции // *Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение»*. 2021. № 2. С. 58–71.

References

1. Dyakova, V.V. (2016) Civil identity of modern Russian generation X (a case study of Astrakhan region). *Vektor nauki Tol'yatinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 3(37). pp. 28–31. (In Russian).
2. Asmolov, A.G. (2008) Strategiya sotsiokul'turnoi modernizatsii obrazovaniya: na puti k preodoleniyu krizisa identichnosti i postroeniyu grazhdanskogo obshchestva [Strategy for sociocultural modernization of education: on the way to overcoming the identity crisis and building a civil society]. *Voprosy obrazovaniya*. 1. pp. 65–85.
3. Gorshkov, M.K. (2013) Rossiyskaya identichnost' v kontekste zapadnoevropeyskoy kul'tury [Russian identity in the context of Western European culture]. *Vlast' – Power*. 1(21). pp. 9–14. (In Russian)
4. Abdulkadyrov, Yu.N. (2021) Patriotism as the ideological basis for the formation of the Russian civil nation. *Manuskript – Manuscript*. 8. pp. 1632–1636. (In Russian)
5. Kosterman, R. & Feshbach, S. (1989) Toward measure of patriotic and nationalistic attitudes. *Political Psychology*. 2(10). pp. 257–274.
6. Blank, T. & Schmidt, P. (2003) National identity in a united Germany: nationalism or patriotism? An empirical test with representative data. *Political Psychology*. 24. pp. 259–288.
7. Grigoryan, L.K. (2012) Patriotizm i natsionalizm v Rossii: mekhanizmy vliyaniya na ekonomicheskuyu samostoyatel'nost' [Patriotism and nationalism in Russia: mechanisms of influence on economic independence]. *Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya*. 3. pp. 22–31.
8. Gagloeva, A.B. (2020) Faktory formirovaniya grazhdanskoy i etnicheskoy identichnostey [Factors in the formation of civil and ethnic identities]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya*. 66. pp. 348–351.
9. Berry, J.W. (2013) Research on multiculturalism in Canada. *International Journal of Intercultural Relations*. 6(37). pp. 663–675.
10. Shakurova, M.V. (2013) Formirovanie rossiyskoy grazhdanskoy identichnosti lichnosti: problema pedagoga [The formation of Russian civil identity: The problem of a teacher]. *Pedagogika – Pedagog*. 3. pp. 83–91.
11. Efremkina, I.N. (2015) Issledovanie vzaimosvyazi politicheskikh sobytiy i izmeneniy v strukture grazhdanskoy i etnicheskoy identichnosti [The study of the relationship between political events and changes in the structure of civil and ethnic identity]. *XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plus*. 23(21). pp. 54–58.
12. Drobvtseva, M.V. & Kotova, M.V. (2016) Vzaimosvyaz' grazhdanskoy i etnicheskoy identichnosti rossiyan: faktory sotsiokul'turnogo konteksta [The relationship between civil and ethnic identity of Russians: factors of sociocultural context]. *Psikhologicheskie issledovaniya*. 9(47). pp. 1–27.
13. Potseluev, S.P. (2001) Simvolicheskie sredstva politicheskoi identichnosti. K analizu postsovetских sluchaev [Symbolic means of political identity. Toward the analysis of post-Soviet cases]. In: Stefanenko, T.G. (ed.) *Transformatsiya identifikatsionnykh struktur v sovremennoy Rossii* [Transformation of identification structures in modern Russia]. Moscow: Moskovskiy obshchestvennyy nauchnyy fond.
14. Fedotova, V.A. (2022) Doverie k vlasti i politicheskaya aktivnost' rossiiskoi molodezhi: rol' etnicheskoi samoidentifikatsii [Trust in authorities and political activity of Russian youth: The role of ethnic self-identification]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 2. pp. 126–136.
15. Brigeovich, A. & Oritsejafor, E. (2022) Ethnic versus national identity and satisfaction with democracy: The decline of the ethnic cleavage in Nigeria. *Regional and Federal Studie*. 31. doi: 10.1080/13597566.2022.2128339

16. Bugaichuk, T.V. (2021) Sotsial'no-politicheskie mekhanizmy stanovleniya grazhdanskoj iden-tichnosti molodogo pokoleniya rossiyan [Socio-political mechanisms of formation of civil identity of the young generation of Russians]. *Sotsial'no-politicheskie issledovaniya*. 2(11). pp. 5–17.
17. Fedotova, V.A. (2022) Tsennosti kak prediktor politicheskogo doveriya i gotovnosti k politicheskomu povedeniyu u rossiyskoy molodezhi [Values as a predictor of political trust and readiness for political behavior among Russian youth]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 1. pp. 99–105.
18. Gulevich, O.A. & Sarieva, I.R. (2020) Sotsial'nye verovaniya, politicheskoe doverie i gotovnost' k politicheskomu povedeniyu: sravnenie Rossii i Ukrainy [Social beliefs, political trust and readiness for political behavior: A comparison of Russia and Ukraine]. *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo*. 2(11). pp. 74–92.
19. Pattyn, S., Van Hiel, A., Dhont, K. & Onraet, E. (2020) Stripping the political cynic: A psychological exploration of the concept of political cynicism. *European Journal of Personality*. 26. pp. 566–579.
20. Van Assche, J., Dhont, K., Van Hiel, A. & Roets, A. (2018) Ethnic diversity and support for populist parties. The “right” road through political cynicism and lack of trust. *Social Psychology*. 49. pp. 182–189.
21. Van Assche, J., Van Hiel, A., Dhont, K. & Roets, A. (2019) Broadening the individual differences lens on party support and voting behavior: Cynicism and prejudice as relevant attitudes referring to modern day political alignments. *European Journal of Social Psychology*. 49. pp. 190–199.
22. Kiselev, O.V. (2014) Doverie k politicheskim institutam v Rossii: opyt sotsiologicheskogo monitoringa [Trust in political institutions in Russia: experience of sociological monitoring]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. 6(24). pp. 51–64.
23. Terin, D.F. (2018) Konstruktsiya politicheskogo doveriya v Rossii: effektivnost' i spravedlivost' politicheskikh institutov [The construction of political trust in Russia: the effectiveness and fairness of political institutions]. *Sotsiologicheskii zhurnal – Sociological Journal*. 2(24). pp. 90–109.
24. Fadeeva, E.V., Velikaya, N.M. & Belova, N.I. (2021) Sotsial'noe samochuvstvie rossiyan v period rasprostraneniya koronavirusnoy infektsii [Social well-being of Russians during the spread of coronavirus infection]. *Vestnik RGGU. Seriya “Filosofiya. Sotsiologiya. Iskustvovedenie.”* 2. pp. 58–71.

Сведения об авторе:

Федотова В.А. – младший научный сотрудник, старший преподаватель департамента менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Пермь, Россия). E-mail: VAFedotova@hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Fedotova V.A. – junior research fellow, senior lecturer at the Department of Management, National Research University Higher School of Economics (Perm, Russian Federation). E-mail: VAFedotova@hse.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 12.09.2023;
одобрена после рецензирования 28.03.2024; принята к публикации 15.04.2024
The article was submitted 12.09.2023;
approved after reviewing 28.03.2024; accepted for publication 15.04.2024

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2024. № 78

Редакторы: *Ю.П. Готфрид, А.А. Цыганкова*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 16.05.2024 г. Дата выхода в свет 24.05.2024 г.

Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 16,25; усл. печ. л. 21,13; уч.-изд. 22,3.

Тираж 50 экз. Заказ № 5912. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru